ВОСПОМИНАНИЯ
О
Д. Н. НАРКИС-СЕБРИНЕ

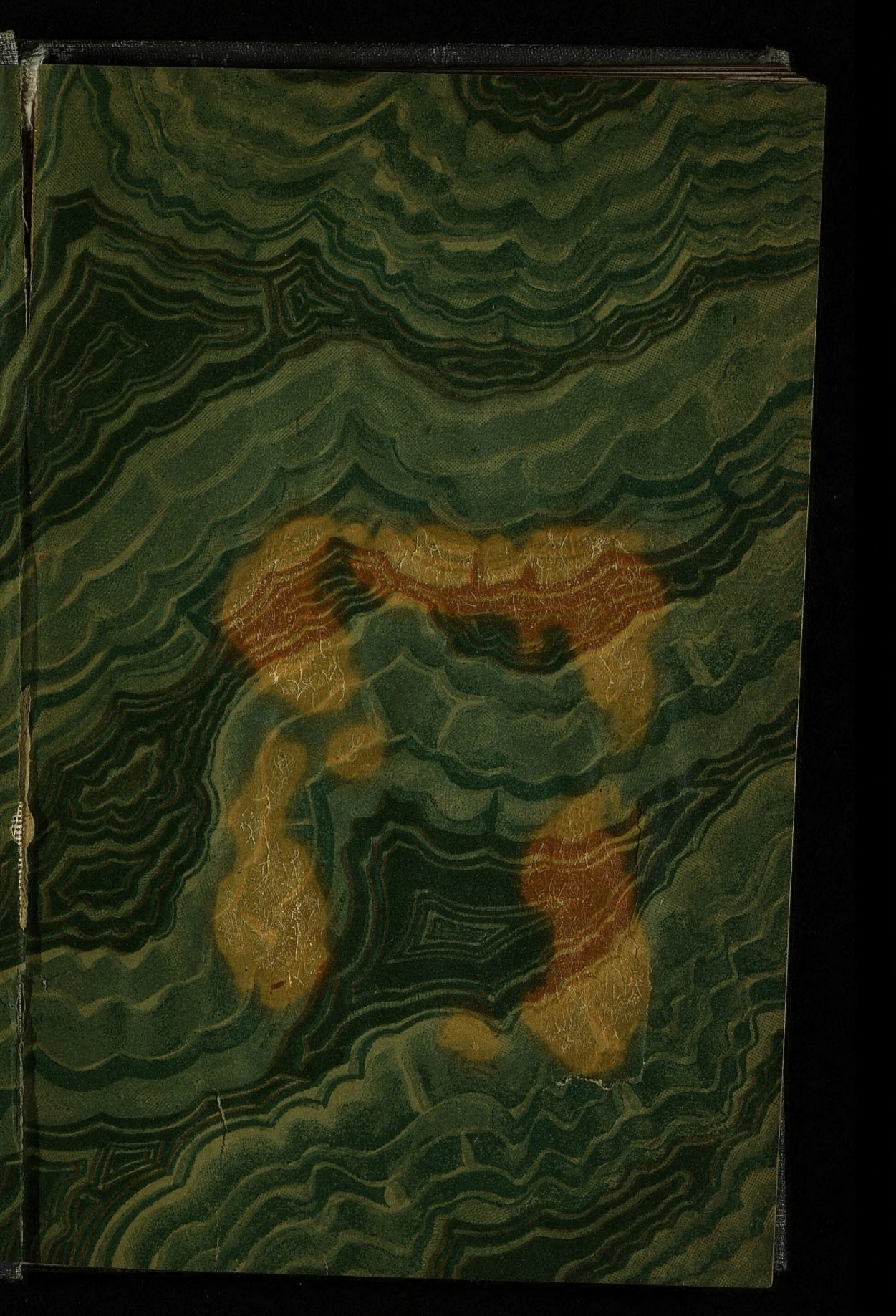
1936

ОГИЗ — СВЕРДЛОВСК
ГИЗ ПРИУРАЛЬЯ

7/III-62 Шокшко
19/V 61 Ростовцев

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. предыд. выдач _____



1458
23/K 115

ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ МАМИН-СИБИРЯК
1852—1912

8(с17)
В77

ВОСПОМИНАНИЯ
о
Д. Н. МАМИНЕ-СИБИРЯКЕ

Составила З. А. ЕРОШКИНА

26065

2007

Научно-Краеведческая Библиотека Свердловского Облмузея Уральского Университета
Инв. № 2877
«19»

НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАМУЗЕЯ

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСК — 1936

8(С17)
В-774

Воспоминания современников о Д. Н. Мамине-Сибиряке, частью собранные из разных малодоступных широкому читателю изданий, частью написанные специально для настоящего сборника; воспоминания рисуют на общественно-историческом фоне эпохи личность писателя, его литературные, общественные и бытовые отношения в разные периоды жизни.

[2007]

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

> Написать его биографию было бы делом его друзей, но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны.
>
> (*Пушкин о Грибоедове*)

В отношении Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, нашего писателя-уральца, мы были ленивы и нелюбопытны недопустимо долгое время. Только сейчас мы начинаем понимать и ценить его так, как давно понял и оценил Ленин,—как художника большой социальной значимости.

В связи с организацией в Свердловске Литературного музея, крупнейшим объектом работы которого должно быть изучение Мамина-Сибиряка — его литературного наследства, его жизни и работы,— возникла мысль собрать воспоминания тех, к сожалению уже очень немногих его современников, которые его знали сохранили о нем живую память.

Эти воспоминания составляют ядро настоящего сборника.

Но несмотря на всю ценность этих, можно сказать, последних воспоминаний о Мамине-Сибиряке, они являются в большей своей части чрезвычайно эпизодичными, рисующими только отдельные моменты, и, следовательно, не позволяют видеть Мамина-Сибиряка, как бы того хотелось, во весь рост.

Поэтому оказалось не только уместным, но решительно необходимым включить в сборник, кроме этих, новых, воспоминаний, также и те, которые были написаны ранее, тем более, что разбросанные по старым, давно забытым газетам журналам, книгам и сборникам, они давно ушли из поля зрения современного широкого читателя.

Нельзя сказать, что этих воспоминаний о Мамине-Сибиряке много, что они богаты и разнообразны по содержанию. Большинство из них является некрологами—статьями, заметками, появившимися только лишь в связи со смертью Мамина Сибиряка и предшествовавшим ей за несколько дней печальным его юбилеем — почти единственными моментами, когда на долю Мамина, слишком поздно и обидно для него, выпало внимание.

Чрезвычайно сложным вопросом при составлении сборника был вопрос о распределении собранного мемуарного материала.

Принятое деление на два периода — „Мамин-Сибиряк на Урале“ и „Мамин-Сибиряк в Петербурге“ — подсказал сам материал. Вызванное этим разделение некоторых статей на две части было сделано без каких-либо существенных изменений и тем более упущений.

Внутри каждого периода материал расположен хронологически, насколько это оказалось возможным при суммарности и многопредметности некоторых воспоминаний.

Не менее сложной была задача избежать в сборнике повторений, ненужных, подчас скучных подробностей и вместе с тем донести до читателя материал именно в том виде, в каком он был, исключить необходимость обращения к первоисточникам, тем более, что некоторые из последних стали уже библиографической редкостью.

В силу сказанного сокращение статей производилось лишь в очень немногих случаях, и каждый из них оговорен в конце статьи.

Вполне допуская, что настоящий сборник не вобрал в себя весь мемуарный материал о Мамине-Сибиряке, составитель заранее приносит благодарность за все указания в этом отношении, а также и за указания на возможно допущенные ошибки и неточности.

В конце сборника Литературный музей, если можно так сказать, раскрывает свой маминский фонд, делает краткое сообщение о том, что у него имеется из материалов Мамина-Сибиряка. Фонд этот, как можно видеть, хотя и медленно, но увеличивается.

В заключение считаю нужным принести благодарность всем авторам, принявшим участие в настоящем сборнике.

З. ЕРОШКИНА

Свердловск, 15 мая 1936 г.

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК О СЕБЕ САМОМ[1]

Дмитрий Наркисович Мамин родился в 1852 г. в Висимо-Шайтанском заводе, Верхотурского уезда, Пермской губернии, где его отец служил священником. До четырнадцати лет он оставался дома, где тихо и мирно катилась скромная трудовая жизнь небогатого заводского попа. Это был худенький и болезненный мальчик, развивавшийся под влиянием чтения книг прежде своих лет. У отца Д. Н. была своя небольшая библиотека из лучших авторов, а потом всевозможные книги доставались от заводских служащих. По вечерам в скромном поповском домике происходило чтение вслух,— это был отдых после дневных трудов. Любимой книгой, которую мать Д. Н. сама читала десятилетнему сыну, были „Детские годы Багрова внука“ С. Аксакова, потом следовали путешествия, сочинения Гоголя, Некрасова, Тургенева, Гончарова и т. д. Для себя большие читали „Современник“ и Добролюбова, и Д. Н. еще детским ухом прислушивался в далеком медвежьем углу к отзвукам и отголоскам великого движения конца 50-х и начала 60-х годов. Вообще вся обстановка жизни скромной поповской семьи носила не совсем заурядный характер и дала уму и характеру Д. Н. ту закалку, которая дается только у своего очага любящими руками.

С четырнадцати лет началась самостоятельная жизнь. Отцу и матери хотелось отдать детей в гимназию, но не было средств; приходилось обратиться к alma mater — бурсе. „Ты теперь, братец, отрезанный ломоть“,— говорил на прощанье отец, благословляя на тяжелый подвиг бурсацкой науки. В духовном училище и в семинарии Д. Н. пробыл шесть лет, а потом поступил в петербургскую медицинскую академию, где слушал лекции четыре года, и по болезни вынужден был перейти в университет на юридический факультет. В университете пришлось пробыть всего один год, потому что смерть отца заставила работать для семьи, оставшейся без всяких средств. В 1877 г. Д. Н. вернулся

---

1. А. Пругавин в конце 80-х годов, состоя секретарем Общества любителей российской словесности, обратился к более или менее молодым писателям того времени, жившим в Москве, с просьбой доставить ему сведения о себе как биографического, так и библиографического характера, написанные в третьем лице. Предполагавшееся издание полученных А. Пругавиным материалов не состоялось. Позднее А. Пругавин опубликовал в журнале „Педагогический листок“ (№ 8, 1913 г.) сведения, полученные им от Д. Н. Мамина-Сибиряка, которые и приводятся здесь без всяких изменений.

на Урал, где и остался „неокончившим студентом“. В течение четырех лет он существовал частными уроками в г. Екатеринбурге, а с 1882 г. исключительно отдался литературе, продолжая жить там же и приезжая в столицу только на время.

Писательством Д. Н. начал заниматься довольно рано и в семинарии был одним из первых по части семинарских сочинений. В Петербурге, когда пришлось перейти на „свой хлеб“, он три последних года перебивался работой в газетах и мелких журналах — был репортером, печатал мелкие рассказы и повести. В это время писались рассказы и повести для „толстых“ журналов, но они возвращались „за неудобностью“. Такие неудачи, однако, не мешали начинающему автору высиживать большой роман — „Приваловские миллионы“, который с небольшими перерывами писался около десяти лет.

Особенно важное значение в жизни Д. Н. имел тот четырехлетний период времени, который служил переходом от университета к специально литературной деятельности. Все это время Д. Н. провел на Урале, где теперь перед его глазами выступила с особенной рельефностью бойкая и оригинальная жизнь этого края. Впечатления раннего детства, встречи и столкновения во время каникул, знакомство по охоте, затем путешествия вверх и вниз по реке Чусовой, странствования по приискам и заводам — все это теперь дополнялось новыми наблюдениями, знакомствами и личным опытом. Нужно было долго пожить вдали от родины и потолкаться среди разного чужого люда, чтобы окончательно выяснить себе то, чем отличалась жизнь уральского населения. За внешними формами выступило глубокое внутреннее содержание, обусловливавшееся историей Урала, его разнообразными этнографическими элементами и особенно богатыми экономическими условиями.

Первый рассказ Д. Н., напечатанный в „толстом“ журнале под псевдонимом Д. Сибиряк, появился в марте 1882 г. („В камнях“, журн. „Дело“), когда автору было уже 30 лет. Затем быстро последовал целый ряд рассказов, очерков, повестей и романов. Такое обилие напечатанных статей объясняется, во-первых, тем, что они писались в течение десятилетнего периода, во-вторых, необыкновенным богатством материалов, которые давала жизнь Урала, и, в-третьих, необходимостью осветить сейчас же некоторые „злобы дня“ и свои уральские проклятые вопросы. Темы бытовые и психологические поэтому перемешивались со статьями публицистического характера и этнографическими очерками. Работа многих лет печаталась рядом с произведением нескольких дней.

Из напечатанных статей Д. Н. мы можем указать на романы: „Приваловские миллионы“ („Дело“, 1883 г.), „Горное гнездо“ („Отечественные записки“, 1884 г.), „Жилка“ („Вестник Европы“, 1884 г.) и „На улице“ („Русская мысль“, 1886 г.), а потом на повести и очерки с психологическими темами: „В худых душах“ („Вестник Европы“, 1882 г., декабрь), „Переводчица на приисках“ (там же, 1883 г., апрель), „На шихане“ (там же, 1884 г.), „Авва“ („Дело“, 1884 г.), „Башка“ („Русская мысль“, 1884 г.), „Родительская кровь“ („Вестник Европы“, 1885 г.), „Гроза“ („Наблюдатель“, 1885 г.) и „Поправка д-ра Осокина“ („Русская мысль“, 1885 г.).

Остальные рассказы удобнее разделить по содержанию: „В камнях“ („Дело“, 1882 г.) и „Бойцах“ („Отеч. зап.“, 1883 г.) описывается сплав

по реке Чусовой, в „Золотухе“ („Отеч. зап.“, 1883 г.), „Золотая ночь“ („Наблюдатель“, 1884 г.) и „Осип Иванович“ („Русская мысль“, 1885 г.)— приисковая жизнь, в „Летных“ („Наблюдатель“, 1886 г.)— сибирские беглые, в „На рубеже Азии“ („Устои“, 1882 г.), „Все мы хлеб едим“ („Дело“, 1882 г.) и „Максим Бенелявдов“ („Дело“ 1883 г.)— быт уральского духовенства, в „Последней весточке“ (Приложения к „Неделе“, 1885 г.)— старообрядцы и в „Из уральской старины“ („Русская мысль“, 1885 г.)— помещичий быт.

Кроме этого, Д. Н. в 1881—1882 гг. напечатал в „Русских ведомостях“ целый ряд фельетонов „От Урала до Москвы“, а с 1884 г. в „Новостях“ печатаются его „Письма с Урала“. Мелкие статьи и рассказы печатались и печатаются в различных столичных и провинциальных изданиях, как „Волжский вестник“, „Екатеринбургская неделя“, „Развлечение“, „Саратовский листок“, „Саратовский дневник“.

В течение четырех лет, 1882—1886 гг., Д. Сибиряком напечатано очень много — и необходимо разобраться в этом материале, который может затруднить читателя по своему разнообразию. Сначала мы скажем несколько слов о романах. Первым по времени явились „Приваловские миллионы“, над которыми автор с небольшими перерывами работал около десяти лет, и по разным обстоятельствам, о которых здесь распространяться не место, все-таки не „доработал“ темы. Как все первые произведения начинающих авторов, тема этого романа была задумана очень широко и, собственно, в настоящем своем виде „Приваловские миллионы“ представляют только последний, заключительный, роман из тех трех, которыми автор предполагал в исторической последовательности очертить преемственное развитие типов уральских заводчиков. В первом романе выступал основатель и родоначальник всей фамилии Тит Привалов, один из тех удивительных типов „первых заводчиков“, коих создал XVIII век на Урале: ум, железная воля, самодурство, жестокость, дикое великодушие,— одним словом, добро и зло в этих людях перемешалось самым удивительным образом. Этот первый роман должен был закончиться пугачевщиной, которая захватила уральские заводы. Во втором романе, действие которого относится к сороковым годам настоящего столетия, фигурируют выродившиеся наследники; это время беспримерной по своей чудовищности роскоши, мотовства и всяческого безобразия, не сдерживаемых ничем. В этих рамках должен был выступить разгар крепостного режима, как он вылился специально на Урале. В третьем романе, который напечатан,— „Приваловские миллионы“, выведен последний из Приваловых, человек, который несет в своей крови тяжелое наследство и который под влиянием образования постоянно борется с унаследованными пороками. В общем, он повторяет „раздвоенных“ русских людей, у которых хорошие намерения и заветные мечты постоянно идут в разрез с практикой. Таким образом эта приваловская эпопея должна была захватить собой полный цикл развития приваловского типа и, конечно, голая тема еще не дает того, что должно было вылиться в формах, красках и действии.

Роман „Горное гнездо“ служит в настоящем своем виде только введением к другому роману, действие которого должно было разыграться в столице. Но последнему намерению не суждено было осуществиться, так как журнал, где напечатано было „Горное гнездо“, прекратил свое существование, а печатать продолжение в другом журнале автор нашел

неудобным. Таким образом появляется роман „На улице“, где автор сделал непростительную ошибку; в этом последнем перемешались две темы: с одной стороны, перед читателем проходят лица из „Горного гнезда“, а с другой — представители „улицы“. Первая тема осталась недоконченной, вторая — только затронута. Третий роман — „Жилка“ является бытовой картиной из жизни далекого уральского захолустья, где случайное, дикое богатство погубило не одну хорошую семью, крепкую старинными устоями. Наконец, последний роман „На улице“ рисует нравы и типы того исключительного мирка, который расположился лагерем во всех больших столицах, — здесь свои нормы жизни, своя уличная логика и свои типы. По нашему мнению, здесь автор только затронул тему.

Кроме упомянутых романов, Д. Сибиряком написан целый ряд мелких очерков и рассказов, из которых можем указать только на имеющие психологическую подкладку — „В худых душах“, „На шихане“, „Родительская кровь“, „Поправка д-ра Осокина“ и т. д. Остальные рассказы носят или этнографический характер, или принимают вид мелких фотографий. Местные интересы здесь выступают с особенной ясностью, и поэтому такие рассказы можно отнести к еще нарождающемуся отделу беллетристики, именно — областному.

Д. СИБИРЯК

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК
НА УРАЛЕ

Б. Д. УДИНЦЕВ

УРАЛЬСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА[1]

Мамин родился в маленьком Висимо-Шайтанском заводе, Верхотурского уезда, Пермской губернии. Завод этот был построен в средине XVIII века (1730 г.) и принадлежал Демидовым. Редкая дворянская семья могла бы стать лучшим символом дворянского, крепостнического государства. Простой тульский кузнец конца XVII века положил начало целой династии, минимум в семь поколений, с последышами которых и встретился Мамин.

Фамилия Демидовых часто встречается на страницах маминских произведений. В 1863 г., когда юному писателю было только 11 лет, Павел Демидов приезжал в свои владения. В 1884 г. эта поездка, в качестве материала для целого обвинительного акта, появится в „Отечественных записках" на страницах „Горного гнезда".

Мамин родился в семье бедного заводского священника на Урале, вторым ребенком. Семья Маминых выделялась на общем фоне провинциального болотца.

Отец Дмитрия Наркисовича был не совсем обычным, заурядным попом: образованный, честный, прямой и простой по характеру (как и по образу жизни), он был близок к заводскому крепостному населению, за что пользовался его уважением и любовью, что было редкостью. Так как заводский священник получал небольшое жалованье, то это освобождало его от печальной необходимости брать за требы и как бы попрошайничать у прихожан. Несмотря на то, что в районе жили старообрядцы, с которыми православному священнику полагалось вести борьбу, он сумел установить добрые отношения и с этой группой, гонимой в религиозном отношении. Он как бы чувствовал в старообрядчестве протест низов и отголоски крупных социальных движений. Оказывая медицинскую помощь, за-

---

[1] Настоящая статья является частью большой, почти законченной, работы — „Биография Д. Н. Мамина-Сибиряка". Автор, тот самый „Боря" — студент-племянник, о котором нередко упоминается в письмах Д. Н., больше чем кто-либо поработал над собранием материалов о Мамине, переданных им в настоящее время в Государственный литературный музей в Москве.

Издание биографии Д. Н. Мамина-Сибиряка, так же как и полной его библиографии, является дальнейшей задачей Свердловского литературного музея в плане его научно-исследовательской работы.

нимаясь в школе, Наркис Матвеевич, сколько мог, приносил несомненную пользу окружающему населению.

Мать Д. Н., которой в момент рождения сына был 21 год, была женщина далеко не заурядная, отличавшаяся, может быть, даже большими способностями, чем Наркис Матвеевич.

Жили Мамины в так называемом „господском" (т. е. принадлежащем заводу) доме. Жалованье шло из конторы — 142 руб. в год, дьякон получал 71 руб., а дьячок 57 руб. Кружечные сборы были ничтожны. В год рождения сына Наркису Матвеевичу было 25 лет. До Висима он служил только четыре года в Верхотурском уезде. Новый приход, в котором Мамины оказались с мая 1852 г., имел всего 236 дворов. Большая часть населения были крепостные.

Маленький завод находился в 550 верстах от Перми, в 250 верстах от Екатеринбурга (ныне Свердловска) и в 40 верстах от Тагила. Железных дорог, конечно, не было. Расположенный на горах, он имеет целых три речки — Утку, Висим и Шайтанку. Вид на них с гор чрезвычайно красивый. Климат Висима очень холодный, так как селение находится на самом Уральском хребте. Висим колонизован беглыми крестьянами и „пригнанными" сюда туляками и черниговцами. Труд на заводе всегда был очень тяжел, и положение „мастеровых" не многим отличалось от каторжного.

В этой-то обстановке и пришлось жить и работать отцу Мамина. На Наркиса Матвеевича свалилось сразу много всяких обязанностей — требы, ведение всякой отчетности (метрики, исповедальные книги, клировые и т. д.) и школа. Появились и хозяйственные заботы (огород, сад), так как на заводское жалованье существовать было трудно. Семья была дружная и удачная. Единственно, что несколько осложняло отношения, это нелады между собой двух старших (дедовских) семей, которые тяжелее всего ложились на мать Дмитрия Наркисовича.

Почти с самых первых дней рождения сына Анна Семеновна ведет дневник, в который заносит впечатления юной матери. В 1856 г. в ряду других появляется тревожная запись о том, что с маленьким Митей был „родимчик" (судороги и припадки). В этом дневнике мы находим и тревоги матери за судьбу сына, и размышления об его характере, и пометки о том, что прочитано[1].

Позже в своих воспоминаниях Д. Н. часто возвращается к ранним годам счастливого детства, вспоминает как нередко отец носил его на руках и подолгу что-нибудь рассказывал. Ребенок „засыпал на сильных руках", переживая это как большую радость. Естественно, что первые наблюдения ограничивались висимской комнатой, двором, садиком и огородом. После 6 лет происходит уже расширение горизонта, а с 9—10 лет начинается заводская школа с товарищами и ворвавшейся в обиход новой жизнью. Первые увлечения вызывает природа. Мальчик увлекается рыбной ловлей „мережкой" в горных речках, подолгу сидит „на шихане" и мечтательно любуется далекими очертаниями гор. Он уже скоро узнает, что „с одной стороны окна старого деревянного дома выходили в Европу, а с другой — в Азию. На востоке горы были выше и красивее, но я любил больше запад".

---

[1] Дневник Анны Семеновны сохранился лишь в отрывках (50—60 годы), хранящихся в Государственном литературном музее в Москве.

На двенадцатом году жизни мальчика постигает удар грома. Отец готовит его в высшее отделение екатеринбургского духовного училища, с тем, чтобы через два года перевести в семинарию. Вместе с старшим братом Мамин попадает в училище. Нервный организм ребенка не выдерживает, в ужасных слезах он рассказывает отцу про все кошмары бурсы, и тот решается увезти Митю домой. Целых два года он проводит дома в Висиме.

Это были удивительные годы. Именно в этот период кончилось раннее детство. Мамин вспоминает, как в один прекрасный момент для него потеряли всякий смысл детские игры и занятия. Природа и книги составили главный смысл жизни. Его навсегда очаровали горы. Вместе с дьячком Матвеичем, о котором Д. Н. с любовью пишет в воспоминаниях „Из далекого прошлого", он любуется „зеленым морем родных гор", не зная высшей радости, чем прогулки в них. „В горы от вас удалюся" вспоминается из Гейне. После рыбной ловли новое увлечение — охота на косачей и тетерь, рябчиков, белок, оленей. Рассказ „Емеля-охотник" написан под впечатлением этих детских охотничьих скитаний. В 1890 г. Д. Н. был в последний раз в Висиме, объехал верхом родные горы и еще раз вспоминал своего „Виргилия", научившего его любить природу. Во время своих странствований по Висимским горам Д. Н. попутно знакомился и с богатствами мертвой природы края. Особенно его поражали рассказы о платине, тех таинственных переворотах в судьбе отдельных людей, которые бывали связаны с ее нахождением, превращая бедняков в богачей, порождая „дикое счастье".

Живя на границе двух миров, Мамин растет также на рубеже двух исторических эпох. Уходит в прошлое старая феодальная культура, ее сменяет культура буржуазная.

В доме старого горнощитского дедушки только и бывали богослужебные книги. В библиотеке Наркиса Матвеевича стоят уже классики — Карамзин, Пушкин, Гоголь, Некрасов, Кольцов. „Чтение началось прямо с классиков", — вспоминает Мамин. Они проглатываются в возрасте 10—12 лет. Любопытно, что „классики были на время забыты", когда юному читателю случайно попали детские книги, главным образом путешествия. В возрасте 13—15 лет один из школьных товарищей знакомит Митю с библиотекой отца. В ней имеются „страшные" романы — „Черный ящик", „Таинственный монах", „Шапка юродивого". Исключительное впечатление производит „Юрий Милославский" Загоскина[1]. Одолев библиотеку „страшных" романов, Мамин набрасывается на библиотеку фельдшера, приехавшего из Петербурга. Марлинский и Лажечников целиком и полностью захватывают Д. Н. Кавказские повести Бестужева-Марлинского поразили мальчика. „Мы просто бредили Амалат-Беком".

Таким образом годы жизни в отцовском доме дали ему некоторое знакомство с классической литературой, романтиками, детскими писателями и малохудожественной литературой приключенческо бульварного типа. Книжная культура эпохи прошла пред ребенком, показывая себя со всех сторон. Не надо забывать, что сравнительное обилие книг в Висиме было вызвано тем, что запреты, тяготевшие над издательствами,

---

[1] См. дальше статью П. А. Елпидина.

в начале 60-х годов были смягчены, что именно в этот период для нового слоя покупателей книги появились недорогие, доступные издания.

Данная отцом передышка быстро закончилась. Нужно было ехать в школу. Наркис Матвеевич принадлежал уже к тому слою духовенства, который приобщился к светской культуре, и мечтал отдать сыновей в светскую школу, в гимназию. Горнощитский дед Семен Степанович настаивал на традиционном воспитании внуков. Вопрос решила нужда. Одна плата за правоучение для двоих составляла тридцать рублей в год. Пришлось отказаться от светской школы.

ШКОЛА

Зубрежка и жестокость царили в Екатеринбургском духовном училище. Мамин попал на ученическую квартиру. От пяти до восьми вечера от „зубренья вслух" она напоминала своим шумом мельницу. „И это неизменно изо дня в день, точно пускали в ход какую-то очень сложную машину". В результате у учащихся получалось „тихое ритмическое помешательство". Это был идеальный способ забивать голову и отуплять мозг.

Второй характерной чертой школы была жестокость и грубость. За курение исключали, за полученную двойку по катехизису и латинскому языку — пороли. Учителя, как правило, были скучны и бездарны. Кажется только один „грек" умел оживлять „даже такой сухой предмет, как греческий язык". Скучные люди в то же время были и жестоки.

Социальное неравенство школа чувствовала очень тонко и выявляла его по-бурсацки грубо. Наиболее пролетаризированным элементом были бездомные сироты-бурсаки. Квартирные ученики, связанные с деревней и родителями, пусть бедняками, казались уже имущей прослойкой. Бурсаки ненавидели „квартирных", завидовали им и жестоко избивали. Они же культивировали „право сильного", практиковали захват чужих вещей и варварски устанавливали всевозможные повинности. Мамин передает, как однажды избивали двух „чистеньких, вежливых поповичей". Их били до бесчувствия, „стараясь не попасть в нос, чтобы не пошла кровь" и т. д.

Внешняя хроника жизни духовного училища была исключительно небогата. Раз в году весной была торжественная „рекреация" с прогулкой за город. Ну, и, конечно, неизменным событием являлись каникулярные поездки домой. В письмах Мамин описывает одну из таких поездок на лошадях из Екатеринбурга в Висим Верхотурским трактом, глухими лесными озерами, по самым непроходимым лесным дебрям.

СЕМИНАРИЯ

Следующим этапом была семинария, специальное учебное заведение, дававшее среднее образование. Высшее образование получалось в духовной академии.

Дмитрий Наркисович приехал в Пермь для поступления в семинарию осенью 1868 г. Он был принят „в числе первых" и провел здесь время до 1872 г.

Сначала приходилось жить на средства родителей, но вскоре он стал репетиторствовать, стараясь перейти на самостоятельный бюджет. Учась

Д. Н. Мамин-Сибиряк с отцом (1868 г.)

НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
СВЕРДЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО
МУЗЕЯ

во втором классе (1869 г.), Д. Н. однажды пишет: „Двадцать рублей истрачено за два месяца на своих хлебах. В месяц выходит пять рублей, а то и более". Во втором полугодии того же класса Мамин в письме к отцу подводит итог: „Всего денег я издержал в этот год — 107 руб. серебром. Я беру почти половину всех Ваших доходов" (май 1870 г.). При таком бюджете сшить традиционный „сюртук" или брюки составляло уже проблему, а отсюда, и горькое признание: „Днем и выйти куда-нибудь нехорошо". А когда самостоятельные заработки увеличились, то появилась и новая потребность — книги, которые на нищенский бюджет ложились исключительно тяжело. К расходам, связанным с ученьем в Перми, относились и поездки. Ехали нередко водой, но бывали и неожиданности. Так, осенью 1869 г. братья Мамины добрались по Чусовой на барке лишь до Чусовских Городков, а дальше должны были ехать на лошадях, затратив вдвоем 4 р. 50 к. Это было уже „нечто"! По приезде же в семинарию пришлось заботиться о выписке книг для ученья и тратить и без того скудные средства на взносы в библиотеки (сразу две — семинарскую и частную). Проскакивают время от времени расходы на театр, а с 1870 г., когда начинаются приватные занятия по химии, пришлось расходоваться на опыты и даже аппараты. Все эти траты в нищенском семинарском бюджете были очень значительны и нашли отражение в переписке.

Тем не менее разночинская энергия была исключительной. „Скот только отступает перед стеной, а человек — если ему надо за стену — должен расшибить ее... хотя бы лбом", писал еще до Мамина Помяловский. Мамин повторил афоризм Помяловского в жизни. Один из товарищей по семинарии вспоминает: „Д. Н. отличался завидным прилежанием. Был трудолюбив, усидчив и старателен". Сам Д. Н. пишет отцу об „удивительной охоте к занятиям" (1869 г.). Уже 17 лет, во втором классе семинарии, Д. Н. решает для себя — уйти из духовного сословия и попасть в высшую светскую школу. Как все разночинцы, Мамин начинает „расшибать стену... лбом" с энтузиазмом, совершенно исключительным. В четвертом классе семинарии Д. Н. в одном из писем отцу жалуется на свою малоподготовленность и заканчивает так: „У нас есть надежда и безграничная почти смелость, есть энергия". Вот что окрыляло людей молодого еще класса, шедшего завоевывать себе место под солнцем.

Практически это выражалось в массе занятий по самообразованию. Благодаря тяжелым жизненным условиям, несмотря на суровую учебу, у семинаристов вырабатывались исключительное упорство, уменье работать, самообладание и строгое отношение к себе. В этом отношении они, до известной степени, представляли контраст все более разлагающемуся молодому поколению бар.

Пермь в 60-х годах, когда там жил Мамин, начинала быстро расти; одна за другой стали появляться фабрики и заводы, быстро стал развиваться водный транспорт, так как железная дорога Пермь — Екатеринбург была открыта только с осени 1878 г.

В сфере чисто культурной передовой промышленный капитал, как и везде, косвенно стал поощрять рост интеллигенции, оппозиционно настроенной по отношению к крепостническому режиму. В самой семинарии появились „крамольные" преподаватели, зараза быстро перебросилась и на учащихся. В 60-х годах пермская семинария была настроена до-

вольно бунтарски. В ней работала постоянно действующая подпольная библиотека с журналами и книгами по политическим, экономическим вопросам и точным наукам.

Именно в Перми Мамин впервые познакомился с новой интеллигенцией, с материализмом, с основами мелкобуржуазного народнического социализма и определенно стал на сторону тех, кто вплотную подошел к разрешению по-новому социальных вопросов. Через два года после поступления в семинарию Д. Н. уже жалуется отцу: „Что я приобрел за эти годы? Святые отцы в семинарии выкапывают всякую мертвечину, рухлядь, никуда негодную, т. е. классиков. Классики, психология, философия и прочая дребедень умного человека с ума сведут“ (1869 г.). Перед началом занятий в третьем классе Д. Н. пишет отцу, что он готов „хуже кончить семинарию“, „меньше заниматься священным писанием и греческим“, но зато заниматься естествознанием, историей общества. Отец еще колеблется, но сын атакует мертвый, оторванный от жизни классицизм во-всю. „Изучение мертвечины — язва нашего общества. Знание классиков и подобной чепухи не нужно“ (1870 г.). Доказывать тут, действительно, было излишне. Вопрос о классицизме был решен бесповоротно, и не только о классицизме. Классицизм вызвал бурю негодований молодых разночинцев потому, что за ним они чувствовали интерес феодальных кругов к идеализируемому аристократией рабовладельческому обществу. Молодая буржуазия и буржуазно-собственническое трудовое крестьянство гораздо больше интересовались артелями, кооперациями, травосеянием, плужками, земскими складами, банками (см. Ленин „От народничества к марксизму“, сб. Партиздата „О народничестве“, стр. 94). Как раз в 1870 г. открылись земские учреждения в Пермской губернии, стала развертываться сеть ссудосберегательных товариществ, в 1871—1872 гг. на Урале появились отделения коммерческих банков, вовлекавшие в круг своей деятельности хлебные районы Камы и Урала. Новая жизнь начинала бить ключом, а великовозрастным юношам приходилось сидеть в обстановке средневековья. Семинария не могла уже вызвать никакого интереса к „духовным“ предметам, а в светских предметах она давала одну схоластику. „Если бы я слушал своих учителей, то не только знания, а и здравый бы рассудок совсем потерял“, пишет Д. Н. в 1871 г.

Новые идеи были принесены новыми людьми, бросившими их в подготовленную почву. На практике недалеко от Висима нередко работали студенты. Мамин вспоминает: „Мы нашли здесь и новую книгу, и микроскоп, и новые разговоры“. (Рассказ „Первые студенты“). „Студенты посвятили нас в новую веру“. „Это была наивная и счастливая вера в ту науку, которая должна была объяснить все и всему научить“. Такие слова употребляются при сильных переживаниях, они знаменуют духовный переворот. Куда он был направлен? „Зачитываясь книгами по естествознанию, я жил в каком-то совершенно фантастическом мире“ („Первые студенты“). На ряду с Шлейденом, Молешоттом, Либихом, Бюхнером, Мамин знакомится с Боклем, Прудоном, Добролюбовым, Писаревым. Преподаватель математики возбуждает в Д. Н. интерес к химии, вместе с товарищем он подбирает химическую библиотечку, производит опыты. В письмах к отцу постоянно сообщается о внимательном изучении естествознания. Об этих своих занятиях по самообразованию Мамин пишет: „Приобретение знаний есть та стихия, в которой жить

не тяжело. Труд сознательный — приятен, он гордость нынешнего поколения, то-есть реалистов" (1870 г.). Нужно было еще добавить „мыслящих", и вот позднее в письме о Петровской сельскохозяйственной академии Мамин пишет: „Мыслящие люди ценят ее". Слово, таким образом, произнесено — „мыслящие реалисты".

Если внимательно изучить письма Мамина за этот период, то станет совершенно ясно, что он в разных контекстах повторяет все одни и те же мысли, составлявшие символ веры „мыслящих реалистов". Направление было дано, нужно было выполнить заветы учителей, которыми для данного времени являлись такие передовые мыслящие реалисты, как Писарев, Шелгунов и др.

Перед Маминым стал вопрос о высшем образовании. Нужно было готовить себя к практической жизни, „вырывать плевелы семинарской схоластики", „выковывать новое миросозерцание". Мамин останавливается в конце концов на трех учебных заведениях — медико-хирургической академии, технологическом институте или Петровской сельскохозяйственной академии. Установка была сделана. Интересовал основной вопрос — но как же учиться, на какие средства? Годовое жалование отца оставалось в том же размере — 142 р. 86 к. В 1863 г. появился знаменитый роман Чернышевского „Что делать?" Идеи его были разнесены по всей России в кругах молодежи. И вот в 1870 г. семинарист Серебренников сообщает Д. Н., что восемь пермских семинаристов, поступивших в университет, образовали производственную артель. Они сняли за 54 руб. в месяц целый дом и открыли переплетную мастерскую. Зарабатывали мало (20—30 коп. в день), но все же радовались возможности жить в Петербурге. Надо было вырваться из семинарии и потому всякие проекты нравились и занимали своею новизною.

ВУЗЫ

В 1872 г., вместе с девятью своими одноклассниками, Д. Н. выходит из четвертого класса семинарии. В начале сентября он уже в Петербурге. На родину идут восторженные письма о значении столиц. Отсюда можно „далеко видеть", „почувствовать Запад", „узнать родину" (сентябрь 1872 г.). „Наши учителя в Европе, — пишет Мамин. — В столице можно знакомиться с непропущенными правительством идеями", здесь можно установить для себя „все, что нужно известному классу общества". Любопытно, что такие нотки проскальзывают в обыкновенных, житейских письмах домой. В Петербурге „все заняты делом", здесь „можно учиться", это „лучшее место для занятий".

Мамин провел в Петербурге пять лет (1872—1877 гг.). Это было исключительное пятилетие в развертывании революционного движения. Только что закончилась двухмесячная трагедия Парижской коммуны (1871 г.). С Запада шли зажигающие проповеди Бакунина и Лаврова. Начиная с 1870 г. в России не прекращается рабочее стачечное движение. Среди университетской молодежи расширяется и крепнет так называемое „хождение в народ".

Кружки для самообразования уже перестают удовлетворять, и начинается новая волна в истории движения. В том же 1872—1873 г., что и Мамин, приезжает в Петербург, например, Кибальчич. Он поступает в медико-хирургическую академию, но уже в 1875 г. арестуется за рас-

пространение брошюр „преступного содержания“. Хождение в народ заканчивается массовым разгромом. Один за другим проходят процессы „193-х“ и „50-ти“ и, в конце концов, начинает назревать настроение террористической борьбы. Одной из ярких вспышек революционной борьбы является демонстрация 1876 г. у Казанского собора. Русские революционеры народнического лагеря пробовали в эти годы свои силы и все больше „левели“, но и правительство в это же время подготовляло международную авантюру и готовилось к войне с Турцией, вспыхнувшей в 1877 г. Таков был фон.

Но если одна часть молодежи стремилась к общественным подвигам самоотверженния, то у другой проявлялся мелкобуржуазный инстинкт самосохранения. Общественная борьба, если не отталкивала, то оставляла равнодушной. Интересовали какие-то другие ценности. Мамин, в частности, в открытой общественной борьбе ни в какой мере не участвует. Через газеты, в которых он начал работать, он подходит к художественному творчеству, которое его начинает увлекать, отвлекая от интересов чисто политической борьбы. Такая раздвоенность вообще была характерна для народничества.

Основным, что опять определяло жизнь Мамина в это время, как-то резко и тяжело определяло, была — нищета. Из дома уже почти ничего не посылали и нужно было искать заработка. Подвернулся репортаж, „профессия, которая не накормит, но и с голоду не даст подохнуть“, как выражается маминский двойник — Пепко, герой его романа. „Хожу много, волка ноги кормят и иногда пот прошибает“, жалуется он отцу. Заработок колебался от 10 до 30 руб. в месяц. В одном из писем 1875 г. Мамин пишет, что „репортерствует“ меньше. „Ученые общества ничего не делают. Отбивают у меня хлеб. За октябрь получил всего 10 р. 38 к.“. В одном из писем 1884 г. Д. Н. говорил, что он „голодал целых десять лет“ и теперь (в 1884 г.) рад заработку. Та же цифра четко повторяется в „Чертах из жизни Пепко“: „Средним числом мне пришлось прожить впроголодь около десяти лет“. А отсюда шли многие „качества“. В борьбе за жизнь и кусок хлеба Мамин насмотрелся „всякого“. Здесь начал вырабатываться у него тот скептический фатализм, который бывает связан с своего рода деклассированностью. Правящие классы разлагались, трудовое крестьянство довольно быстро становилось „буржуазно-собственнической“ группировкой, пролетариата народничество еще не замечало. И Мамин как-то растерялся. Он пошел по роковой дорожке, сгубившей не одного русского разночинца. Начал пить, — от нужды, от разочарования, от слабости характера, от тоски по Уралу. Выпивка, голод, и в перспективе замаячил туберкулез.

Что касается вузов, то в первый год своей петербургской жизни Мамину не удалось поступить ни в одно учебное заведение. Только в 1873/74 г. Д. Н. принимают на ветеринарное отделение медико-хирургической академии. На этом отделении Мамин провел два года, затем перешел в университет, побывав там сразу на двух факультетах — юридическом и естественном. В 1877—1878 гг. Мамин в Петербург, повидимому, не приезжал, или, если приезжал, то не надолго.

В начале работы Мамин как будто интересуется своей ветеринарией. Он пишет матери: „Техник помогает капиталисту, врач — богатому, а ветеринар кому?“ И далее следует чисто народническая апология ветеринарии. Однако... ветеринарное отделение было брошено. Была сде-

Д. Н. Мамин-Сибиряк студент с матерью (1882 г.

лана попытка перейти на медицинское отделение. Она не удалась и, повидимому, по причинам, лежащим в самом Д. Н. В 1875 г. Мамин пишет: „Советами и рецептами общественных язв не вылечить. Бедным врач помогать не в силах. На своих рецептах он должен прописывать — денег, хлеба, одежды, воздуха, отдыха". Здесь налицо чисто общественный, социальный подход к медицине. В том же 1875 г. горькое признание: „Я не имею особого призвания быть медиком или ветеринаром". Видимо, естественные и медицинские науки перестали интересовать будущего писателя и он пережил реакцию на свои юношеские увлечения ими. В 1876 г. Мамин перебирается на первый курс юридического факультета. Будучи в самых близких отношениях с своей семьей, он пишет: „Отдав дань злобе дня, я обращаюсь к университету. Только злоба дня нашего времени гонит юношество в специальные учебные заведения" (1876 г.). Через шесть лет, убеждая своего младшего брата учиться на филологическом, Мамин пишет еще более резко: „Я слишком дорого заплатил за скромное желание сделаться непременно мыслящим реалистом, пока не убедился, что все это фанаберия, мечты и, главное,— мода" (1882). Как видно, понадобилось всего четыре года, чтобы отказаться уже от очень многого. На юридическом Мамина интересует „изучение политической экономии и целой группы политических и социальных наук". Но, видимо, и это было не так глубоко. Главное лежало в другом. Появилась огромная жажда художественного творчества, и стремление это искало выхода.

ТВОРЧЕСТВО

Интерес к творчеству вызвали люди. В качестве репортера Мамин видел их много, и притом самых разнообразных.

Приехав в поисках „великой" науки, Мамин по заседаниям ученых обществ и своим наблюдениям в вузах быстро разобрался в господствующем типе ученого. Он пришел к крайне скептическим выводам. Ученые это не больше, чем „черви, подтачивающие гнилую колоду родной науки" („Пепко"). Эта „гнилая" колода была, по словам Мамина, средоточием „массы ненужной лжи и дрянных ненужных слов". „Репортерство открывало мне изнанку русской науки и тех лилипутов, которые присосались к ней с незапамятных времен". Эти жестокие строки Мамин писал позднее, в 1892 г.

Вот что он пишет своему отцу в 1875 г.:

„Жизнь столиц держится на таких основаниях, о которых остается пожалеть. Издали городская толпа интересна, но вмешиваться в нее не стоит. Единственный двигатель здесь — деньги, деньги и деньги... Волки в овечьей шкуре и хитрые, как змеи, наводняющие нашу землю — они жители теперешних городов, сделавшихся каждый в своем роде Вавилоном". Пусть это отдает семинарской риторикой, но это очень характерно. Товарищи, богема, были не лучше... Вспомним „Пепко"... Полупьяные журналисты и репортеры, мелкобуржуазное студенчество, частые выпивки и хроническое недоедание — давали безотрадный фон. „Города — мираж" — утверждает Д. Н. в 1876 г. Чувствуешь, как он начинает задыхаться. „Хорошо писать заграничному автору, когда там жизнь бьет ключом. А у нас... собственно и жизни нет. Здесь можно только задыхаться, и ни одна здоровая мысль не пробьется в эту прокля-

тую дыру" („Пепко"). Такое настроение определяется у Мамина к 1876 г. Он хочет его как-то выразить, и это является первым стимулом к художественному творчеству. Бедного разночинца затирает жизнь, и он начинает брюзжать. Он начинает даже вспоминать старые, давно слышанные им мотивы: „Русские угодники... тоже ушли от окружавшего их свинства и мучительным подвигом достигли желаемого просветления, т. е. настоящего, того, для чего только и стоит жить. И мне надоело жить, и я тоже мучительно ищу подвига". Некоторый поворот вправо, характерный для неустойчивого мелкобуржуазного интеллигента, налицо. Как раз в эти годы нарастает волна стачечного движения, начинают вскоре же возникать революционные организации, а здесь, как видим, другой путь. Кратковременный нигилизм кончился. Началось „отрезвление", и рассказать обо всем этом у Мамина стало потребностью.

Его интересуют теперь проблемы семьи, родины, истории. Любопытно, что и раньше, в пору своего кратковременного нигилизма, Мамин никогда не рвал с семьей. В этом смысле конфликта „отцы и дети" он не знал. Скорее наоборот, он всегда мучительно ощущал связь с семьей. Вспомним его исключительно дружескую, теплую переписку с отцом в семинарский период. „Эти думы тревожили меня. Я должен был к кому-нибудь обратиться, но к кому — как не к Вам?" — пишет он отцу (1870 г.). Лучшие отношения с отцом продолжаются у Д. Н. до самой смерти того, совершенно так же, как с матерью и сестрой. В декабре 1876 г. в связи с одинокими каникулами Д. Н. пишет: „Я часто вспоминаю Висим, засыпанный теперь по самые крыши снегом, и жалею, что не придется еще пожить в нем[1]. Часто уношусь мечтами в далекий, глухой уголок, самый дорогой для меня по воспоминаниям. Когда бывает трудно, когда хочется отдохнуть от ежедневных дрязг, особенно вечером, когда на столе ворчит самовар, я витаю мыслью среди моих старых знакомых, среди знакомых мест, среди патриархальной жизни". „Письма с родины" в конвертах домашней работы, и потому запечатанные сургучной печатью, фигурируют и в „Пепко". И Мамина интересует не только семья, родители, братья, сестра. Он чувствует себя связанным с „родом" — дедами, прадедами. Он собирает о них сведения, интересуется „генеалогией". Он с каким-то испугом следит за тем, как быстротекущая жизнь смывает следы прошлого. Отсюда интерес к истории области, края, семьи. Он просит отца „припомнить, порассказать и прочитать побольше о Висиме, в частности о раскольниках, о Демидовых, Ермаке, Пугачеве". Его интересуют „факты встречи малороссов с раскольниками, первые шаги их взаимной жизни на Урале" (1875 г.). Таким образом за 9 и 15 лет до написания романов „Горное гнездо" и „Три конца" намечается их краткая программа.

Интерес к прошлому соединяется с горячей любовью к уральской природе. Эта природа войдет потом неизменным элементом в художественное творчество Мамина.

Начиная с семинарских лет, Мамин как-то особенно чуток к уральской природе. Он несколько раз за эти годы „плывет" по Чусовой и много рассказывает про эту красивейшую из горных рек. Рассказы попадают и в переписку, являясь интереснейшим материалом к созданию „Бойцов". В эти же годы Мамин знакомится с Камой, изучает окрест-

[1] Семья Маминых переезжала в Н.-Салду.

ности Перми. Вечным маяком, привлекающим внимание, является Висим. В 1869 г., например, Мамин пишет домой: „Я завидую даже этой бумаге, потому что она идет в Висим". В Петербурге маминская „тоска по родине" разыгрывается во-всю. В 1875 г. он жалуется: „В городе пыль... Ягоды и прочая снедь, я думаю, уже поспели в Висиме. Напишите, кто и куда нынче ходит в горы". „На будущий год уж непременно в Висим". И когда Пепко провел „два ужасных лета в Петербурге", автор, знающий своего героя, разразился филиппикой: „Проклятые деньги. Они отнимают у нас даже родное небо, родное солнце, все хорошее и самое дорогое". Уральскую природу пришлось заменять „парками и островами". Лето 1874 и 1875 гг. Мамин проводит в Парголове. И интересно, как творчество вырастает у него на почве восприятия природы. „Как хорошо было ранним утром в парке, где так и обдавало застоявшимся смолистым ароматом... Я по целым часам бродил совершенно один и на свободе обдумывал свой бесконечный роман" („Пепко"). В письме домой Мамин сообщает: „В полуверсте от дачи громадный парк. Лес отличный, не хуже Висимского". Что могло быть выше такой оценки?!

Мы уже охарактеризовали любовь к прошлому у Мамина. В настоящем его интересовал конкретный, живой человек, не „homo economicus" буржуазных экономистов, а радующийся, страдающий представитель определенного класса, определенной эпохи. Поскольку театр дает наиболее широкую панораму человеческих отношений, он еще с семинарских лет занимается театром. И в первом и во втором классе семинарии он тратит свои гроши на театральные билеты, стремится участвовать в литературных вечерах. В Петербурге Мамин следит за театром и слушает, например, знаменитую Патти „зайцем" — с потолка Мариинского театра. Разночинцы и в этом обнаруживают свою настойчивость.

В эти же годы увлечения искусством появляется и проблема женщины. Мамин очень много рассказывает, как переживал разночинец этот вопрос. „Мысль о женщинах неотступно преследовала его",— рассказывает Мамин про Пепко. Тут было все — и падения, и подъемы... Одно только ясно — в этот период Мамину не удалось создать семью. Нахватавшись впечатлений от жизни богемы, Мамин в письме 1876 г. замечает: „Я завидую тихому семейному счастью моего приятеля". Но как фактор искусства любовь уже была оценена Маминым. „Только любовь заставляет поэта писать стихи, живописца — картину" („Пепко").

Циник-репортер Пепко смотрит на свое творчество достаточно пошло. „Секрет всякого писания — нужно считать себя умнее всех" („Пепко"). Мамин выдвигает другие принципы: „Высокая нравственная чистота" необходима писателю для того, чтобы „чувство могло развиться в полную величину" („Пепко"). „Душевным тоном среднего человека нельзя писать."

Любовь к искусству и занятиям литературой у Мамина проявилась еще в семинарии. Преподаватель словесности И. Е. Соколов обратил первый внимание на способности Д. Н. и сказал: „Вы должны заниматься литературой". Одноклассники Д. Н. вспоминают, что его семинарские сочинения были „отличны". „Нигилистическое" отношение к искусству несколько задержало развитие этого интереса, но не надолго. Занятия „литературной поденщиной" стали наводить на мысль о более серьезных занятиях литературой. Как раз в 70-е годы Золя

дает свою Ругон-Маккаровскую эпопею, повидимому сильно повлиявшую на творческое воображение Д. Н. И вот с терпением, напоминавшим „великого механика“ от литературы, Мамин пишет свое первое произведение. Рукопись этого большого романа была, в конце концов, „отшвырнута в угол“, а потом „автор окончательно... махнул рукой на литературу...“ Однако в мае 1875 г. Мамин сообщает домой: „Перед пасхой в виде сюрприза получил 30 рублей за небольшой рассказ. После пасхи мне отпечатали еще три небольших рассказика. Эти рассказики, по словам Мамина, брались „на затычки“. В ночь под новый год Мамин резюмирует: „В 1875 г. положено начало. Я попытал счастья по части беллетристики, рассказов, и могу сказать, что на моей стороне такой выигрыш, какого я не ожидал“.

В 1876 г. Мамин дебютировал своим первым романом „В водовороте страстей“. Он острил, что он должен был получить „по десять рублей за каждого убитого человека“, но в результате за роман не заплатили, хотя и напечатали. Пришлось обращаться в суд, после которого Мамин получил только 50 руб. вместо причитавшихся 400 руб. В „Пепко“ в связи с этим Мамин выводит яркую фигуру мелкого издателя-хищника, который выпускает „издания для народа“ и отчаянно эксплоатирует литературную молодежь. Эта фигура — прообраз целого ряда издательских деятелей нашего дореволюционного прошлого.

Несмотря на некоторые литературные „успехи“, Петербург перестал удовлетворять Мамина, можно сказать, разочаровал. В большую литературу его еще „не пускали“. Он рассказывает как „сам Щедрин“ отверг его повесть. После этого было „еще 8 лет неудач“. И литература, и наука влекли уже меньше, чем раньше. Материальное положение было затруднительное. Общественный „фон“ не радовал. А в довершение всего он заболевает. В 1876 г. Мамин долго болеет на почве нервных волнений, частых выпивок и голодания. Появляется туберкулез. Эта болезнь „явилась роковой гранью“. Семья Д. Н., убедившись, что у Мамина с Петербургом что-то не выходит, стала оказывать на него известное давление в смысле переезда на Урал. Как раз в 1876 г. Наркис Матвеевич переезжает из Висима в Салду. Дмитрия Наркисовича этот переезд взволновал и ему захотелось посмотреть, как семья будет жить в новом месте. Старший брат Д. Н. в эти годы заболевает хроническими „запоями“[1], младший брат и сестра начинают учиться. С лета 1873 г. вплоть до 1877 г. Мамин не выезжал из Петербурга.

СНОВА НА УРАЛЕ

В 1877 г. Мамин приезжает в Н.-Салду, куда его отец был переведен год назад. Приход был большой и более трудный, и семья часто вспоминала спокойный Висим. Приехав в Салду, Мамин целыми днями пропадает в лесу. Болезнь его, видимо, была настолько серьезной, что осенью 1877 г. вопрос о переезде в Петербург и не поднимался. Он,

[1] Болезнь эта сделала Николая Наркисовича на всю жизнь совершенно неработоспособным. Он жил на средства братьев и сестры. Знавшие его (В. М. Гейнрих, А. А. Мурза) отмечают его умение живо и интересно рассказывать, проявлявшееся в немногие минуты „нормального“ состояния.

Младший брат Владимир Наркисович по окончании образования в Москве был присяжным поверенным в Екатеринбурге. Отношения его с Д. Н. не были близкими.

как лесной зверь, отлеживается от нанесенных ему в городе ран, вдали от людей и шума.

1878 г. был годом, полным важных событий. Закончилась Турецкая война, организовалось общество „Земля и воля“, создается „Северный союз русских рабочих“.

В январе этого года умирает Наркис Матвеевич. Д. Н. приходится решать вопрос — как жить дальше. Есть предположение — поступить учителем в духовное училище в Салде или там же в заводскую контору. Но, наконец, решают переезжать в Екатеринбург. В марте 1878 г. Мамин уезжает в Екатеринбург и становится там домашним учителем. Так как движение на Уральской железной дороге, только что строившейся, еще не было открыто, то переезд семьи встретил большие трудности. Тем не менее, Мамины переезжают в Екатеринбург.

Вскоре же после смерти отца Д. Н. женится первым браком на М. Я. Алексеевой. Знакомство начинается в Салде. М. Я.— замужняя женщина, у нее дети. Мамин участвует в любительских спектаклях, встречается с М. Я. в нескольких знакомых домах и, в конце концов, увлекается умной женщиной. Брак этот продолжался 13 лет. В начале он вызывал большие разногласия в семье. Мать Д. Н. очень „против“ и не хочет жить в одной квартире с молодыми супругами. В конце концов, Д. Н. настоял на своем, и М. Я. понемногу начинают „признавать“. Он и М. Я. живут отдельно.

Задача, стоявшая перед семьей, была ясной — поднять двух младших членов семьи и прожить самим. „С бодрым духом я смотрю вперед, верю в себя и в силу своего труда“,— пишет Мамин в марте 1878 г. Педагогическая работа не тяготит, она имеет для Мамина все прелести либеральной профессии. Ученики Д. Н. очень его любят. Но главное, конечно, не здесь. Еще в Салде Мамин усердно работает над „Приваловскими миллионами“. По свидетельству близких людей, первая часть была закончена в Салде, но в Екатеринбурге она уже переделана „до неузнаваемости“. Д. Н. посылал в редакции эти первые части своей работы, но из этого ничего не вышло. Роман увидел свет только в 1883 г., т. е. через пять лет.

О 1878—1880 годах жизни Д. Н. довольно подробно говорят воспоминания М. Я. Алексеевой, напечатанные в сборнике „Урал“ (1913)[1]. Из этих воспоминаний довольно живо вырисовывается та среда „радикальной“ местной интеллигенции, с которой был близок Мамин. Это круги, которые уже определенно отмежевались от революционного движения. Организация „Народной воли“ (1879), может быть, и вызывает их общее, так сказать платоническое, сочувствие, но не больше. А может быть даже террористические акты народовольцев начинают их пугать. Словом, отношения хоть сколько-нибудь определенного не чувствуется.

В 1881 г. Д. Н. вместе с женой надолго уезжает в Москву, переписывается оттуда с семьей, и это дает нам возможность конкретно прощупать многие его взгляды. Народническая революция заканчивается выстрелом 1 марта 1881 г.

---

[1] См. дальше статьи В. Ч-ина, А. И. Шубина.

Что касается Мамина, то он по своим общественным взглядам вполне оправдывает характеристику, данную ему в 1882 г. его братом Владимиром: „В политике Захарьки — человек умеренный, пожалуй, как Митя, но более оппортунист“.

Во время московского путешествия Мамина интересуют едущие купцы, Нижегородская ярмарка, богатые природой Волга и Кама. С этой стороны для него тягостно проезжать по бедным районам московско-нижегородского края, который больше, чем окраины, страдал от усиления платежного гнета над крестьянством. Москва поражает Мамина своим внешним богатством, магазинами, Сухаревкой. Ему начинает казаться, что в ней „нет только отца с матерью да птичьего молока“. В Москве Мамин окончательно определяется как писатель-профессионал. В Питере он завязывает отношения с народническим журналом „Слово“ и сдает туда свой рассказ „Мудреная наука“ (поездка в Питер была кратковременным выездом из Москвы). В Москве же устанавливаются самые тесные отношения с редакцией „Русских ведомостей“. Для провинциального журналиста это было большое завоевание. „От радости у меня руки трясутся“,— пишет он при появлении своих первых фельетонов. Конечно, приходится конкурировать с Боборыкиным, рассказы которого оттесняют Мамина. К концу года у Мамина написано для „Русских ведомостей“ 16 писем-фельетонов. Кроме „Русских ведомостей“, Мамин печатает небольшой рассказ в славянофильском органе Гиляров-Платонова („Современные известия“). Имеет там успех. К этому же году относится начало детской литературы („Иллюстрированный журнал для детей“). „Детские статьишки самый выгодный род литературы после писания вывесок“.

Мамин подумывает было опять об университете, но из этого ничего не выходит. И он много занимается самообразованием („Я буду учиться наперекор всяким университетам“) и „собирает сладкий мед знания по цветам науки, аки пчела“. Кроме книг, Мамин страшно ценит живые источники. Он обращается к одному из своих екатеринбургских приятелей: „Пусть он напишет мне об екатеринбургских раскольниках да о Зотовых. Я пошлю программу вопросов“. Мамин следит за исторической литературой, интересуется реставрацией старинной иконописи, призывает брата к изучению истории.

В Москве снова начинается „тоска по родине“. „Только бы унести кости до зеленой травы, до сибирского леса, до гор... Так и тянет“. „Прокислая московская зима хуже игоревой смерти. Я завидую екатеринбургской зиме с ее снегом и холодами“ (1882 г., март).

Нельзя не отметить, что в письмах этого времени скрывается чрезвычайно практический взгляд на творчество, на литературную работу. Творчество для него источник существования. „Сел как-то на четыре часа, набросал детский рассказик (десять рублей)“. На предложение „Русского богатства“ напечатать два рассказа без гонорара Мамин отвечает отказом. Он считает нужным даже „оплачивать“ поставщиков своих уральских материалов. Весной 1882 г. с тревогой пишет: „Рублей тридцать проедаю в месяц“. Его брат, переходя с филологического на юридический, считает возможным говорить: „Учатся на филологическом разные московские купчики и аристократы. Когда нет денег, то не до интересу“. Разночинцы работали над собой и в смысле культурном, зная, что у них нет никаких других средств для жизни, кроме труда.

Д. Н. Мамин-Сибиряк с учениками (конец 70-х гг.)

Мамин неустанно работает над собой, он ненавидит „кумовство в литературе, ибо за ним приходит в литературу разная сволочь“ (1882 г.). Хотя он вынужден писать много, но старается работать над собой: „Работы, которые я высиживал десять лет, не принесли мне пока ничего, за исключением того, что на них я выучился писать и надеюсь пожать жатву“ (1882 г.).

Семья становится, как уже было сказано, своеобразным поставщиком литературных материалов. Брат Д. Н., побывав в уральском селе Щелкун, шлет ему собранные там слова, а другие члены семьи не отстают от него, снабжая писателя разными сведениями с Урала.

Сразу по приезде в Москву Мамин продолжает работу над „Приваловскими миллионами“. Еще в ноябре 1881 г. он говорит, что „заканчивает роман“. В течение первой половины 1882 г. шла окончательная обработка его, а в конце 1882 г. журнал „Дело“ принимает этот первый серьезный и большой труд Мамина-Сибиряка. Лаборатория Д. Н. работает полным ходом: в письмах этого года встречается много названий отдельных рассказов и вообще работ Д. Н. Кроме жалоб на требовательность редакторов, с 1882 г. начинаются жалобы и на цензуру. Закрыт „Порядок“, задержана книжка „Устоев“, арестована „Русская мысль“ — все это бьет и по карману, и по самолюбию: „Нынче ужасно строго насчет литературы. Все статьи вырезывают“ (1882 г.). „Какой-нибудь цензор дурит, а у нашего брата чубы трещат“. Однако это только колючки на дороге. В основном Д. Н. прав, когда пишет: „Я получаю право называться писателем. Десять лет труда... Первые лучи успеха. Целый вечер я был как в лихорадке“. „Надеюсь пожать жатву. Дело будет итти уже о литературном имени. Я счастлив первыми успехами“.

Но несмотря на литературные успехи, Мамин стремится на Урал. К тому же он часто болеет и думает, что на родине легче справиться со своими недомоганиями.

Однако теперь Мамин поддерживает создавшуюся тесную связь с Москвой и Петербургом. В Москве же остается брат Владимир, часто информирующий его о литературных делах.

В 1883—1884 гг. в России начинает оформляться революционный марксизм. Как раз в 1883 г. образуется первая марксистская революционная организация в составе Плеханова, Дейча, Аксельрода и Засулич. Они и констатировали, что „капитализм может стать и становится полновластным хозяином России“.

Это почувствовал и Салтыков-Щедрин. Он обратил внимание на талантливого уральца, впрыснув в него новый заряд энергии и творческого подъема. Брат Владимир пишет из Москвы матери: „Сам Салтыков даже пишет теперь Мите письма — вот как“ (12 января 1883 г.). Мать отвечает ему: „Вчера (23 января 1883 г.) Митя получил третье письмо от Салтыкова по поводу рассказа „Золотуха“. Салтыков пишет, что напечатают в марте“. Как известно, „Золотуха“ помещена во второй книжке „Отечественных записок“ за 1883 г. В дальнейшем Мамин с волнением следит за литературной судьбой Салтыкова. Его беспокоит высылка Михайловского и Шелгунова. Но Салтыков пока что цел. Он интересуется биографией Д. Н. и хвалит его работы.

„Пишет, что ему весьма понравилась первая часть моего большого очерка „Горное гнездо“ и что он ждет с нетерпением продолжения.

Статья велика — до 16 листов, в этом году не упечатается, а потому Салтыков предполагает начать печатание ее с января 1884 года" (1883 г., октябрь). Так Салтыков и сделал.

1883 год принес успех. „Приваловские миллионы" читаются не только на Урале. „Вся екатеринбургская колония — студенты и техники — с величайшим интересом следят за романом", — информирует Д. Н. брат из Москвы (1883 г.). Во второй половине 1883 г. пишется „Жилка" (идет в „Вестнике Европы"). Это — одно из прекраснейших изображений „первоначального" хищнического накопления.

В 1884 году русский марксизм оформляется и литературно. Появляются плехановские „Наши разногласия", и вот интересно, что именно в этом же году Мамин (конечно ничего не слыхавший про Плеханова) причисляет себя к народнической группе — Успенского, Златовратского и др. Сторонником иных литературных взглядов выказал себя брат писателя Владимир Наркисович Мамин, объявивший „Золотуху" произведением недостаточно эстетическим. Ученик Стороженко, Тихонравова, Веселовского, прекрасно знакомый с европейской литературой, В. Н. отразил в этом взгляде чуждую Д. Н. буржуазно-аристократическую литературную традицию Запада. Дмитрий Наркисович запротестовал. Но характерна промежуточность его позиции. — „Есть такие вопросы, лица и события, которые, по-моему, должны быть написаны в старо-художественной форме, — а есть другой ряд явлений и вопросов, которым должна быть придана беллетристико-публицистическая форма. Именно так я и пишу — кесарево — кесареви, а богово — богови. Прогресс в том и заключается, что мы видим длинный ряд процессов диференцирования, и литература переживает то же самое — чистое художество и художество прикладное, „ибо довлеет дневи злоба его". Несколько дальше, в том же программном письме, Мамин говорит: „Мы, русские, можем справедливо гордиться такими именами, как Глеб Успенский, Златовратский и т. д. Они отринули все лохмотья и декорации старинной выдохшейся эстетики и служат боевую службу, которая им в свое время зачтется. Важно то, что ни в одной европейской литературе ты не найдешь ничего подобного, например „Власти земли" Успенского, что вся эта школа слишком серьезно взялась за изучение народа и не хочет преклониться перед порнографическо-эстетическими требованиями публики, — в этом, я полагаю, особенную их заслугу. Ты метко выразился, хоть и чужой фразой, что народники „ввели мужика в салон" — совершенно верно, и паки верно: время салонной эстетики миновало, да и салонной беллетристики тоже. Салоны теперь являются только для отрицательной стороны жизни — не больше. Итак, сиволапый, беспортошный мужик торжествует в литературе к ужасу эстетической надушенной критики. Но это не так ужасно, как кажется на первый взгляд, потому что этот мужик является подавляющей девятидесятимиллионной массой сравнительно с тоненькой и ничтожной салонной лепкой. Обрати на сие особенное внимание, ибо здесь уже говорит арифметика" (3 марта 1884 года).

Если марксисты боролись уже с народниками, то „молодым" народникам приходилось еще бороться с остатками феодально-аристократических взглядов на „возвышенное" искусство и провозглашать его политическую „служебность". Мамин в этом смысле и отстаивает мужика в литературе.

Отъезд в Москву с осени 1885 г. до лета 1886 г. не меняет дела. Летом Д. Н. путешествует по Южному Уралу (Кочкарь, Златоуст, Миас). С 1887 по 1891 г. Мамин прочно на Урале. Он участвует в Уральской научно-промышленной выставке, волнуется постановками своих „Золотопромышленников", много ездит по Уралу. Бывая в Березовском заводе, Дмитрий Наркисович набирает материалы для „Золота" (печаталось в 1892 г.). К июлю 1890 г. он оканчивает свою висимскую эпопею „Три конца". Голод 1891 г. вызывает новую тему „Хлеб".

1891 годом заканчивается пребывание Мамина на Урале.

О петербургском периоде мной даны небольшие воспоминания в сборнике „Урал" 1913 г.[1].

Москва. Май 1936 г.

---

[1] См. дальше статью Б. Д. „Мамин в Петербурге", стр. 109.

Е. В. БИРЮКОВ

Д. Н. МАМИН — СЕМИНАРИСТ

Дмитрий Наркисович Мамин поступил в первый класс пермской духовной семинарии в 1868 г. из екатеринбургского духовного училища в числе первых учеников и учился со мною до четвертого класса семинарии, из которого он вышел в казанский университет[1] вместе с другими товарищами.

Д. Н. был среднего роста, худощавый, слабого телосложения, носил постоянно очки. В продолжение всего семинарского курса он постоянно шел в числе первых учеников, поведения был всегда отличного, обладал недюжинными способностями, феноменальной памятью, завидным прилежанием; заданные уроки по известным предметам никогда не учил по книгам. Придет в класс, прочитает урок по учебнику — и готово. Сочинения на заданные темы всегда писал в день подачи его. Бывало спросишь: — Д. Н., сочинение написали к сегодняшнему дню? — Какое? — Скажешь, такое-то. — Берет бумаги, чернил, садится за парту. Пишет прямо набело под шумок товарищей, и выходит отличное сочинение. Напишет кратко, сжато, в немногом выскажет всю суть темы. Очень много читал из русской и иностранной литературы дома. Был начитанным по разным специальным наукам.

Занимался ли Д. Н. писательством на школьной скамье, нам было неизвестно; слухи были, что он что-то пописывает, но что и куда посылает, мы не знали достоверно.

Был он хорошим репетитором детей. Много имел уроков в богатых семьях г. Перми. Был трудолюбивым, усидчивым, старательным. Кажется, он себя и содержал на свои средства, из дома родительского он получал мало денег, так как отец его жил в бедном приходе и имел, кроме него, еще детей, которых нужно было воспитать. Сверх того, Д. Н. уделял часть из своих зарабатываемых денег на выписку дорогих сочинений по литературе.

В частной жизни он мне был не знаком, потому что жил на квартире, а я, как сирота, в бурсе. Тесной дружбы я с ним не имел. У него был свой кружок товарищей из богатых учеников (в который я не входил). Говорят, что дома он отличался простотою, аккуратностью,

---

[1] Неправильно. См. биографическую таблицу, стр. 9. *Сост.*

Д. Н. Мамин-Сибиряк семинарист (1870 г.)

жизнь вел регулярную: в известное время вставал утром, в известное время был занят тем-то, в известное время читал, уходил на уроки.

Одевался Д. Н. всегда прилично, можно сказать, щеголевато, манеры имел светского человека и на неуклюжего бурсака нисколько не походил. Был разговорчив, умел рассказывать всегда занимательно, выразительно, так что являлся прекрасным собеседником. Любил поспорить, но мнений и взглядов своих не навязывал другим. Отличался наблюдательностью, юмором и, можно сказать, сарказмом, умел подметить в других добрые качества и недостатки. С товарищами дружил скоро, в обращении с ними был вежлив, ласков, обходителен. Отличался выдержанностью своего характера, постоянством, был всегда в веселом расположении духа. Мы, товарищи, никогда не видали его в раздраженном состоянии, в вспыльчивости.

Д. Н. любил пермскую природу, часто делал весною экскурсии с товарищами по берегу Камы и окрестным деревням и селам, любил вести беседы с крестьянами о разных предметах. Детей он умел к себе привлечь и расположить.

На летние месяцы Д. Н. обыкновенно уезжал на свою родину — Урал, к которому питал горячую любовь и о котором часто вспоминал. Во время же зимних каникул он отправлялся к товарищам своим недалеко от Перми.

Вот все, что я могу сообщить о Дмитрии Наркисовиче Мамине, как ученике семинарии.

Иллюстрированное приложение к газете „Уральская жизнь“, 1913 г. 19 января, № 3, Екб.[1]

---

[1] Приложение, посвященное „Памяти Д. Н. Мамина-Сибиряка, бытописателя и певца Урала“, являющееся в настоящее время уже редкостью, содержит: статьи: 1) С. В.— „Литературно-общественное значение Д. Н. Мамина-Сибиряка“; 2) Д. Удинцев — „Из воспоминаний о Мамине-Сибиряке“ (см.); 3) приведенную выше статью. Портреты: 1) последний портрет Мамина-Сибиряка; 2) портрет конца 90-х годов, наиболее известный из портретов Мамина; 3) портрет 1891 года.

И. Г. ОСТРОУМОВ

ЧТО ЧИТАЛ Д. Н. МАМИН, БУДУЧИ УЧЕНИКОМ 2-го КЛАССА ПЕРМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ [1]

В архиве Пермского музея имеется книга семинарской библиотеки для записей выдававшихся из нее ученикам книг. В одной из них под № 2, без указания на ней года, на странице 32 сверху рукой самого Мамина написано: Дмитрий Мамин.

Далее следует печатная форма книги и записи в ней, которые воспроизвожу в точности:

Время выдачи книги из библиотеки	№ книги по каталогу	Название получаемых книг	В каком виде получена книга из библиотеки	В каком виде сдана	Время сдачи и расписка библиотекаря
1870 г. 3 сентября		Русская история Карамзина. Чтение из русской истории Щебальского Вып. 1—3	В хорошем		
	№ 2243	Чтение из русской истории Щебальского Вып. 4		29 окт.	
		Логика Смирнова 1			
	№ 1199	Чтение из русской истории Щебальского	В корешке	18 февр.	
11 февраля		Библия на французском языке	В коже	6 марта	
14 февраля	№ 2679	Французский словарь Рейфа	В бумажке		

[1] Извлечено из дел Свердловского областного музея. Дело № 16 комиссии по увековечению памяти Д. Н. Мамина-Сибиряка. 1925—1926 гг.

Книга по всем ее страницам скреплена подписью: Ректор пермской духовной семинарии протоиерей Иоанн Лаговский.

Хотя отметки о сдаче книг не сделаны, но так как все выдававшиеся по этой записи книги зачеркнуты, то очевидно они были сданы.

Позволяю себе сказать несколько слов по поводу этих записей.

Просматривая записи других учеников (в книге их более шестидесяти), я обратил внимание на то, что все другие записи обычно начинаются с выдачи библии или каких-либо других религиозных книг, а за ними обычно следуют всевозможные учебники или пособия по преподаваемым предметам, в том числе и французского языка. Довольно мало записей беллетристических книг (Майн-Рида, Купера), но среди них, несомненно, преобладает „Вестник Европы".

Небольшой список Мамина резко отличается своим характером: в нем фигурируют лишь исторические сочинения и притом не входившие в круг рекомендованных для преподавателей того времени „пособий", и если в числе записей оказывается библия, но на французском языке, а следом за ней словарь Рейфа, то, несомненно, это говорит о том, что она взята была для практики изучения этого языка, а не ради ознакомления с содержанием книги.

Обращая внимание на продолжительность пользования взятыми книгами, нельзя не сделать вывода, что в 1870 г. Д. Н. Мамин-Сибиряк серьезно изучал русскую историю и французский язык.

Пермь, 25 июля 1926 г.

П. А. ЕЛПИДИН

ИЗ БЕСЕД С ТЕМИ, КТО ПОМНИТ МАМИНА

Сейчас в Тагиле еще живы некоторые из сверстников Мамина-Сибиряка, которые помнят писателя с раннего детства.

В журнале „Детское чтение“ за 1902 г. в главе из воспоминаний — „О книге“ Мамин-Сибиряк пишет:

„Боевой период раннего детства совпадает с воспоминаниями о первом друге. Это был сын заводского служащего, бледнолицый, с зеленоватыми глазами и вечной улыбкой на губах. Его звали Костей. Я не помню, чтобы этот мой первый друг хотя бы когда-нибудь рассердился,— он вечно был весел и всегда улыбался. Милый Костя! Его давно нет на свете, и я вспоминаю о нем с особенной любовью, как о родном и таком близком человеке, которого не можешь отделить от самого себя“.

„Моя встреча с Костей окрасила не только мое детство, но и юность дорогими впечатлениями и первым дорогим опытом. С ним вместе мы начали самостоятельную жизнь, именно ту жизнь, которая начиналась за пределами детской комнаты, захватывала все родное селение и потом увела на зеленый простор родных гор“.

Вместе с Костей, отец которого был любителем страшных романов, явились к Мамину „Черный ящик“, „Таинственный монах“, „Шапка юродивого“ и т. д. Но самое сильное впечатление произвел на подростков „Юрий Милославский“. „Для него,— говорит Мамин,— я на время забыл даже Гоголя и других классиков“.

Сестра этого Кости — Августа Романовна Челышева, учительница-пенсионерка, до сих пор помнит живого, бойкого приятеля своего брата:

„В доме Маминых прислуживала няней Лукерья Ермоленко. И маленький Мамин ее бывало часто донимал:

— Спой про зайца.

„Та охотно соглашалась. Песенка была такова:

Заяц бегал по болоту,—
Он искал себе работу.
Шишел — мышел и пошел,
Сам работы не нашел.

„С детства Дмитрий Наркисович отличался исключительной любознательностью, находчивостью и любил повеселиться.

„Помню, у нас в доме ушли старшие. Моему брату и Дмитрию Наркисовичу было тогда уже лет по 15—16. Они взяли ухваты и кочерыжки, подстроили к ним планки и нарядили в разные платья. Забава доставила нам всем не мало веселых минут.

„Позднее страстью товарищей была охота на птицу. Как-то на Белых горах, во время охоты, Д. Н. свихнул себе ногу, и пришлось брату тащить его домой на загорбках.

„Страсть к охоте, как я еще тогда замечала, была продиктована вовсе не желанием убить больше дичи, а желанием побыть на людях, изучить местный край, узнать нравы, обычаи населения.

„С этой же целью они ходили на покос к косарям, где, если их приглашали, они ели из общей чашки, а Д. Н. как-то особенно вслушивался в разговор. На вечеринки он приходил, забивался в угол, бывало что-то записывал.

„Очень любопытный был. И почему-то тогда его больше всего интересовали раскольники (кержаки). С братом они ни одного года не пропускали, чтобы не увязаться на „моление“ в Билимбай, на могилы раскольников.

„Начетчица Матрена Афанасьевна Попова им много рассказывала об обычаях раскольников. Потом-то мы увидели, что эти рассказы не пропали даром: они послужили Д. Н. материалом к повести „Три конца“.

Александр Макарович Балакин, сосед Маминых, говорит о том же.

„Мы рядом жили с Мамиными. Дмитрий Наркисович был лет на шесть старше меня. Но ни возрастом, ни своим положением он не гордился. Был заводилой в наших ребячьих играх и всегда ходил с нами вместе на рыбалку.

„Особенно мне запомнился его костюм, который он носил, приезжая на каникулы. На голове — соломенная шляпа с полями, на себе — серая парусиновая блуза, на ногах — большие крестьянские сапоги.

„Потом он приезжал к нам уже писателем. В Висиме много было украинцев, проигранных Демидовым в карты. В семью Окуленко он ходил и все расспрашивал, какие у них обряды и какие свадебные песни. Завлечет разговорами, девушки распоются, а он сидит да записывает“.

Семью Маминых, по словам Александра Макаровича, население очень любило — за отзывчивость, простоту и за возможность всегда получить хороший совет.

Насколько население было „темным“, суеверным и нуждалось в хорошем совете, говорит следующий случай, как раз связанный в памяти Александра Макаровича с отцом Мамина:

„Был у нас Проня Бородин, он привораживал и отвораживал. Про него рассказывали такую небылицу. Одного человека будто бы змея укусила. За помощью обратились к Проне. Тот пошел в лес, воткнул нож в землю и созвал всех змей с окрестности. Одну заметил без жала и спросил: „Зачем укусила безвинного человека?“ Потом, не долго думая, изрубил ее, сложил обрубки в бурак и, придя домой, иссушил их. Сухими ошурками натер укушенное тело, и будто бы помогло.

„Но и на Проню как-то нашла беда. Явился он к отцу Дмитрия Наркисовича за советом, а тот ему так сказал:

„— Хорошее оставь себе, худым не занимайся.

„С тех пор Проня и бросил ворожбу“.

Доброту и чуткость к населению со стороны семьи Маминых подтверждает и Вениамин Петрович Иванов:

„Они вечно раздавали молоко бедным детям. В их доме всегда можно было встретить кого-нибудь со своими горестями. И Мамины успокаивали, помогали в несчастье.

„Отец Дмитрия Наркисовича был очень начитан, строг, но справедлив. Необдуманно никогда ничего не говорил. Но уж если скажет — закон, никто не возражал. Эта черта родителей перешла и к сыну — Дмитрию Наркисовичу“.

„Я учительствовала в Салде,— рассказывает Екатерина Демидовна Хлопотова, теперь уже глубокая старушка.— В каникулы приехала в Нижнюю Салду. В управлении завода организовали общественный вечер. И я пошла туда. Никого знакомых не встретила и сидела скучая. Вдруг подходит ко мне молодой человек в студенческой форме, с выразительными черными глазами, очень худой, и приглашает танцевать кадриль. Я уже знала, что это студент Мамин, за которым усиленно ухаживали тамошние светские девицы. Когда мы вошли в круг, они на нас смотрели горделиво, свысока. „Подумаешь, с какой-то учительницей танцует“.

„На другой день ко мне пришли подруги, а вслед за ними приехали „наряженные“, в числе которых оказался и Мамин. Они немного повеселились и уехали.

„Брат, у которого я проводила каникулы, очень рассердился.

„— Как ты допустила в дом „наряженных“?

„Тогда это считалось зазорным. Но этот инцидент не вытравил из памяти на всю мою жизнь воспоминание о Мамине, как о чутком и простом человеке“.

К тому же времени относится воспоминание Елизаветы Филипповны Кулешовой — тоже учительницы.

„Мои родители тогда жили в Нижней Салде. Я дружила с Лизой Маминой — сестрой Дмитрия Наркисовича. Его встречала, когда бывала у них. Он был старше нас, но всегда обращался с нами вежливо, с внимательностью.

„Я училась в тагильской прогимназии. Вдруг в ней случился пожар, и здание сгорело. Поэтому нас распустили на каникулы раньше срока. Вернувшись домой, я снова бывала у Маминых.

„И вот как-то в заводской конторе организовали вечеринку. Собрался любительский хор. Мы пели: „Вниз по матушке по Волге“ и студенческую песню „Проведемте, друзья, эту ночь веселей“. Дмитрий Наркисович примкнул к нам и подпевал тенорком. Потом танцевали вальс, польку и кадриль. Раньше никаких танцев больше не знали. Мне пришлось танцевать с Дмитрием Наркисовичем. Он был очень весел, все время шутил и в такт музыке подпевал:

„— Вы училище сожгли!

„Во время разговоров интересовался учебой. Спрашивал, что мы проходим. И вдруг сразу:

„— А как, любите учителей?

„— Не всех.

„И я ему рассказала про учителя естественной истории Шевцова.

„Мамин очень смеялся“.

О жизни Мамина в Свердловске, тогдашнем Екатеринбурге, помнит Юлия Алексеевна Шорина.

„Я училась в Екатеринбурге и квартировала у Маминых. Из отдельной комнаты иногда к нам выходил Дмитрий Наркисович. Он был выше среднего роста, худощав, с выделяющимся на шее зобом. Спрашивал:

„— Ну, барышни, хотите танцевать?

„Мы, конечно, никогда не отказывались. Тогда он приносил скрипку и играл нам, а мы танцевали.

„Скоро он снял себе другую квартиру, куда переехала и Мария Якимовна Алексеева. Матери это было неприятно, так как с семьей Алексеевых Мамины всегда были в хороших отношениях. Но дружба с матерью впоследствии снова восстановилась. Потом как-то узнала, что Дмитрий Наркисович стал писателем".

Мария Александровна Касаткина рассказывает:

„У нас любили и любят произведения Мамина-Сибиряка. И не удивительно, что скептически к ним относились лишь отрицательные типы, выведенные писателем. Хионня Алексеевна из романа „Приваловские миллионы" — это жена служащего бывшего Екатеринбургского землеуправления — Дарья Игнатьевна Ярушина. Когда ее спрашивали — читала ли она этот роман, она пожимала плечами: „Нет, душечка, этот народник заврался, типы у него фальшивы, кому же интересно читать такие вещи?"

В памяти Авенира Александровича Петрова сохранился следующий эпизод:

„Это было, кажется, в 1888 или 1889 году. Я с товарищами по школе отправился удить рыбу на Медведь-Камень.

„У подножия горы стояла избушка рыбака, по обыкновению мы в ней и останавливались. К вечеру, когда уже стало темнеть, заморосил дождь. К растворенной двери избушки подбежала охотничья собака. Обнюхивалась. За ней вывернулся человек в высоких сапогах, в охотничьей куртке. С боков, по одну сторону болтался ягдташ, по другую — ружье. Лицо у него было загорелое, бородка клинышком.

„— Я опять к тебе! — встретил он рыбака. Тот просиял, обрадовался гостю, как хорошему давнишнему другу.

„Дождь перестал. Мы разложили у избушки костер. Вскипятили чаю. Охотник разломил белый хлеб и угостил нас всех.

„Старик ему что-то рассказывал. Было понятно, что рассказ начат задолго до встречи. Охотник внимательно слушал и только изредка вставлял реплики.

„После чая старик пригласил всех в избу. Охотник отказался:

„— Я уйду на рассвете! — и пошел, расположился под навесом.

„Утром его уже не было. Старик спросил нас:

„— Знаете, кто это был?.. Дмитрий Наркисович Мамин! Писатель..."

Нижний Тагил. Март 1936 г.

В. Ч—ИН

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ Д. Н. МАМИНА НА УРАЛЕ

(По воспоминаниям родных и друзей)

СРЕДИ ДРУЗЕЙ ДМИТРИЯ НАРКИСОВИЧА

Уютная, небольшая комната. Два рояля. Этажерка с нотами. На окнах цветы. Картины и фотографии на стенах. За столом два, известных всему интеллигентному Уралу, общественных деятеля-юриста[1], хозяйка (лучший друг покойного Дмитрия Наркисовича, на глазах которой он целый ряд лет жил, развивался, работал)[2] и я — сотрудник „Зауральского края“[3].

Собрались с „специальной целью“ поговорить о покойном писателе, вспомнить и записать для этого сборника все более или менее интересное, оставшееся в памяти его ближайших друзей из общей жизни в Екатеринбурге.

Сперва чувствуется какая-то неловкость — трудно „на заказ“ перелистывать лучшие страницы прошлого, пересыпанные засохшими „цветами“ интимных переживаний.

Я устраиваюсь за отдельным столиком с карандашом и бумагой.

Общий разговор понемногу оживляется, неловкость проходит. Солидное, серьезное настоящее отступает перед светлым, далеким прошлым. „Оживают мертвые соловьи“, „черемухою“ молодости „пышет“ на присутствующих.

Говорит хозяйка, говорят гости. Вспоминают факты, сцены, отдельные выражения, десятки ярких, характерных деталей.

Как живая, во весь рост, постепенно вырастает передо мной глубоко-симпатичная фигура художника-бытописателя Урала.

Хозяйка приносит несколько пожелтевших книжек. Вот первые издания „Уральских рассказов“. Все с теплыми собственноручными надписями — посвящениями[4]. Вот чуть ли не первый роман Дмитрия Наркисовича „В водовороте страстей“.

---

[1] Н. Ф. Магницкий, И. Н. Климшин.
[2] М. Я. Алексеева.
[3] В. П. Чекин.
[4] „Лучшему и единственному моему другу Марии Якимовне от автора“,— пишет Д. Н. на „Самоцветах“ и то же с небольшими изменениями на других своих произведениях.

Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. Ф. Магницкий, И. Н. Климшин (1880 г.)

Этот роман сам Дмитрий Наркисович считал очень неудачным не любил даже вспоминать о нем. Сердился, когда напоминали...

Вот тоненькая брошюрка, тоже с надписью. Повидимому, оттиск из журнала. Это „Старатели“ — первый уральский рассказ Мамина, доставивший ему не один тяжелый момент.

Хозяйка рассказывает:

— Вначале Дмитрий Наркисович не совсем свободно владел формой — было в его первых рукописях много тяжелых оборотов, слишком длинных периодов. Эти недостатки особенно бросались в глаза в „Старателях“. Я ему говорила, указывала кой на что. Со стороны ведь как-то всегда виднее разные недостатки. Дмитрий Наркисович не соглашался, а иногда принимал мои дружеские замечания слишком уж близко к сердцу и, буквально, опускал руки. Говорил: „Нет у меня таланта! Не стоит работать. Ничего из меня не выйдет“. Я его, конечно, из всех сил ободряла. Говорила, что талант, несомненно, есть, и большой талант, но только все же и талантам нужно упорно работать над формой. Когда „Старатели“ были закончены, Дмитрий Наркисович послал их в „Дело“ и с нетерпением ждал ответа — волновался, нервничал. Приблизительно, кажется, через месяц, рукопись вернули с надписью заведывавшего тогда в „Деле“ литературным отделом Благосветлова. Дословно надписи не помню, но в ней довольно резко говорилось о том же, о чем постоянно твердила Дмитрию Наркисовичу и я. Благосветлов, признавая несомненную даровитость, тоже рекомендовал начинающему писателю как можно больше работать над формой. Рукопись „Старателей“ вся была испещрена красными пометками, подчерками, вопросительными и восклицательными знаками. Кажется, не осталось ни одной живой страницы. Неудача со „Старателями“ очень огорчила Дмитрия Наркисовича. Он ходил несколько времени точно в воду опущенный.

— Долго продолжалось это угнетенное настроение?

— Ну, нет! Дмитрий Наркисович был слишком жизнерадостным человеком, слишком сангвиником для того, чтобы надолго поддаваться тяжелым настроениям. Уже через несколько дней он, с новой энергией, принялся за работу. Эта первая неудача кое в чем подействовала на него даже благотворно — он стал внимательней относиться к форме и, вообще, серьезней взглянул на работу...

— Над чем он работал после „Старателей“?

— Писал „Уральские рассказы“. Из больших вещей усердно работал над „Приваловскими миллионами“. Этот роман начат еще в Салде. Кажется, первая часть даже была закончена, но потом в Екатеринбурге все было переделано до неузнаваемости.

За „Уральскими рассказами“ и „Приваловскими миллионами“ Дмитрий Наркисович окреп и окончательно сложился, как писатель. Исчезла неуверенность и все недостатки формы, выработался его обычный язык, красивый, точный, простой.

— Как работал покойный писатель?

— Сперва, по правде сказать, не особенно охотно — урывками, а потом аккуратно, изо дня в день, в определенные часы.

— Днем? Вечером?

— Обыкновенно с десяти утра до четырех дня. У нас с ним рабочий день начинался вместе — я уходила на уроки, а Дмитрий Наркисович садился писать.

— Да! Я почти каждый день бывал у Дмитрия Наркисовича и всегда заставал его в это время за работой,— дополняет Н. Ф. Магницкий. Работал он очень усердно. Даже когда говорил, не переставал писать. Писал быстро, четко, почти без помарок. Совсем, кажется, не знал черновиков. Иногда тут же только что написанные листы отправлял на почту. Зато вечером почти не писал.

— Что же делал покойный писатель по вечерам?

— Отдыхал среди близких знакомых.

— Много их было?

— Пятеро, я шестая. Могу вам назвать их всех: Николай Флегонтович, Иван Николаевич, М. К. Кетов; покойные: А. А. Фолькман, Н. В. Казанцев — вот и все постоянные члены нашего маленького кружка, постоянные гости наших ежедневных вечеринок.

— А где бывали эти вечеринки?

— Да преимущественно у меня. Иван Николаевич Климшин обыкновенно заходил с нотами. Я садилась за рояль. Он пел. Занимались мы с ним музыкой по целым часам. Остальные члены нашего кружка, с Дмитрием Наркисовичем во главе, не были такими поклонниками музыки, как мы с Иваном Николаевичем. Часто подтрунивали над нами. Вот посмотрите на эту группу.— Марья Якимовна сняла со стены пожелтевшую фотографию.— Видите, как снялись: я — играю, Иван Николаевич с увлечением поет, Дмитрий Наркисович заткнул уши, а Николай Флегонтович спит. Это, конечно, только товарищеская шутка.

— Я недурно играла, у Ивана Николаевича был очень хороший голос, и нас охотно слушали. Впрочем, нередко уходили и в другую комнату — говорили, делились общими и местными новостями, вели литературно-философские споры.

— В этой области особенно отличался Михаил Константинович Кетов,— говорит Н. Ф. Магницкий.— Он даже ссорился несколько раз с Дмитрием Наркисовичем из-за принципиальных разногласий.

Раз поссорились довольно серьезно — не бывали друг у друга, чуть ли не перестали кланяться...

— Да! — отзывается задумавшийся под нахлынувшими воспоминаниями И. Н. Климшин.— Михаил Константинович, пожалуй, ближе всех нас был знаком с литературными симпатиями и антипатиями покойного...

— Ну, вот,— продолжает хозяйка.— Пели, играли, говорили, спорили, слегка ссорились, потом скромно ужинали, с бутылкой дешевого „зворыкинского“ вина, которое теперь, вероятно, ни Николай Флегонтович, ни Иван Николаевич и в рот не возьмут, а тогда пили, да еще с каким удовольствием...

— Играли иногда в карты?

— Никогда!

— Неужели ни одного раза за все время ваших дружеских вечеринок не раскрыли ломберного стола?

— Ни разу. И в голову даже не приходило. Это теперь самые близкие знакомые не могут ни одного вечера обойтись без лото и карт, а тогда показалось бы диким абсурдом культурной молодежи садиться для игры в карты. Нам и без карт было так весело друг с другом, что вечера проходили почти незаметно. Дмитрий Наркисович был великолепный рассказчик-юморист, остроумный, наблюдательный,

тонко подмечавший и красочно передававший разные характерные подробности. Впрочем, Дмитрий Наркисович и в университете славился рассказами. Иван Николаевич и Казанцев сыпали стихотворными экспромптами[1]. Николай Флегонтович остроумно критиковал их и давал меткие характеристики общим знакомым. Незаметно проходил вечер. Бывало, не успеешь оглянуться, как явится „Никодим в нощи“...

— Это кто же такой „Никодим в нощи“?

— Двоюродный брат Дмитрия Наркисовича, учитель. Всегда являлся к нам после полночи, в час, даже в два. Хмурый такой, замкнутый. Посидит, помолчит и уйдет. Странный был человек. Вот мы и прозвали его „Никодим в нощи“.

— Скажите — как Дмитрий Наркисович познакомился с членами вашего кружка? Знал их раньше? Слышал о них от кого-нибудь из близких перед приездом в Екатеринбург?

Мои собеседники переглянулись:

— Право не помним, как это вышло, где, когда. Просто, кажется, зашел к нам на квартиру и познакомился. А вот с Кетовым Дмитрий Наркисович встретился оригинально...

— Не секрет,— как?

Улыбнулась хозяйка, улыбнулись гости:

— Нет, какой же секрет. В то время Кетов был исправляющим должность следователя. Производил какое-то следствие, кого-то опрашивал. Понадобился ему неожиданно понятой. Послать было некого. Вышел сам на улицу и случайно наткнулся на Дмитрия Наркисовича: — Послушайте! Эй! Молодой человек! Пожалуйте-ка сюда на минутку.

Мамин зашел в камеру к Кетову, отбыл повинность в качестве понятого, разговорился, познакомился, а потом и сошелся с Михаилом Константиновичем.

— А кроме членов вашего маленького, тесно сжившегося кружка, были у Дмитрия Наркисовича близкие знакомые в Екатеринбурге?

— Знакомые, конечно, были, но преимущественно шапочные. Дмитрий Наркисович не сразу и не легко сходился с людьми. Открытый, жизнерадостный, искренний, сангвиник чистой воды с немногими друзьями, он был молчалив, замкнут и как-то подозрительно недоверчив с теми, кого мало знал. Мешало ему сходиться с обывателями еще и то, что покойный писатель искал в окружающих людях идейной близости. Искал, но находил, конечно, редко. Дмитрий Наркисович был поразительно искренним, глубоко честным перед самим собой и окружающими человеком. Он не шел ни на какие компромиссы, совершенно не умел притворяться и лгать. На этой почве часто и портились

---

[1] В „Уральской жизни“ 1912 г. № 243 помещен след. экспромпт Климшина, посланный им по телеграфу из Богословского завода юбиляру Мамину:

С высот родимого Урала,
Где стая горного гнезда
Когда-то крылья расправляла,
Где расточались во дни оны
Приваловские миллионы
И где взошла твоя звезда,
Бытописатель наш земляк
Дмитрий Мамин-Сибиряк,
Оттуда шлю тебе привет
За сорок лет!

отношения с окружающими. Помню один такой случай. Бывали мы с Дмитрием Наркисовичем у Д. Г. Казанцева (не члена нашего кружка, другого — капиталиста). Раз пригласили нас к этому Казанцеву на какой-то торжественный званый вечер. Собралась екатеринбургская аристократия. Присутствовала на вечере и хозяйская бедная родня. За ужином бедных родственников хозяева отсадили за особый, так называемый „кошачий стол", Дмитрия Наркисовича это страшно взволновало. Он наговорил неприятных вещей Казанцеву, не простившись ушел и сразу после этого оборвал с ним знакомство. Таких случаев, когда „из-за пустяков", „из-за чужого дела", с точки зрения большинства, портились отношения с окружающими, я знаю несколько. При этом разные практические, жизненные соображения не играли у Дмитрия Наркисовича никакой роли. В этом отношении он был буквально не от мира сего. Для него всегда были совершенно равны богатые и бедные, влиятельные и совсем не влиятельные люди. Я не знаю примера, чтобы ради каких-нибудь деловых расчетов Дмитрий Наркисович завязывал или поддерживал отношения.

— Как был распределен день у покойного писателя?

— Просыпался Дмитрий Наркисович часов в девять. Вставал очень неохотно (любил поваляться в постели); но все же к десяти часам (как я вам уже говорила) всегда садился за работу. Занимался до четырех часов. В четыре часа мы обедали. После обеда почти каждый день ходил к матери, которую очень любил, или к кому-нибудь из близких знакомых. Возвращался к чаю, а после чая обычно собирался наш кружок.

— Как относился Дмитрий Наркисович к своим произведениям?

— Мне кажется, покойный был на редкость скромным человеком,— сказал Н. Ф. Магницкий.— Не терпел похвал, избегал даже разговоров о своих работах.

Хозяйка ответила не сразу:

— Ну, я этого не скажу, Николай Флегонтович. Дмитрий Наркисович знал себе цену. Сначала, в период первых литературных неудач и мытарств, у него бывали, правда, острые периоды недовольства собой, полного недоверия к своим силам, почти отчаяния, но потом, когда его произведения появились в лучших журналах, он давал им настоящую оценку. Страшно возмущался молчанием литературной критики. На этой почве у него даже было несколько недоразумений. Я, например, знаю, как факт, что раз после очень крупного разговора он чуть не побил критика Введенского. Были, кажется (хорошенько не знаю), столкновения с Скабичевским. И рядом с этим иногда удивительная, если так можно выразиться, суровая скромность. Вам известен случай с Цукерманом?

— Нет.

— Видите ли, для Энциклопедического словаря (помнится, Брокгауза и Эфрона) понадобилась биография Мамина. Цукерман, которому поручили букву „М", явился к покойному за автобиографическими сведениями. Дмитрий Наркисович, как только узнал, зачем пришел Цукерман, вышел из себя и чуть не вытолкал смущенного энциклопедиста. Но тот все-таки добился своего...

— Как?

— Да ему посоветовали действовать через любимицу Дмитрия Наркисовича Аленушку. В следующий раз юркий Цукерман пришел с кон-

фектами, познакомился с девочкой, растрогал простодушного писателя и как-то незаметно получил все нужные сведения... Но, впрочем, это уже относится к тому периоду жизни Дмитрия Наркисовича, который я знаю только по наслышке.

— Скажите пожалуйста, Дмитрий Наркисович много читал?

— Да, очень много.

— Его любимые писатели?

— Писателей не помню хорошенько. Помню, что любил всех русских классиков. Много читал критических сочинений и по истории литературы. Особенно интересовался летописями. Известные пермские летописи Шишонко знал чуть не наизусть. Содержание некоторых его очень известных рассказов взято из этих летописей. Одно время, в период литературных неудач, носился с мыслью сделаться частным поверенным и сидел над юридическими сочинениями.

— А естественными науками Дмитрий Наркисович не интересовался?

— Нет.

— Философией, богословскими вопросами?

— Тоже, кажется, не особенно... Впрочем, по этому вопросу больше нас всех может вам сообщить М. К. Кетов. С ним Дмитрий Наркисович постоянно спорил и говорил на литературно-научные темы.

— А политико-экономическими сочинениями Дмитрий Наркисович, конечно, интересовался?

— Кажется. Но и в этой области Кетов сумеет дать вам более точные ответы.

— Принимал ли участие Дмитрий Наркисович в местной общественной жизни?

— Как же! — говорит Н. Ф. Магницкий.— Даже был избран в гласные.

— И был, помнится, очень аккуратным гласным, — дополняет И. Н. Климшин.— Не пропускал ни одного собрания думы.

— Говорил?

— Н-нет, что-то я его выступлений не помню. Кажется, сидел, слушал и молчал. Вообще, по сути своей, он не мог быть активным общественным деятелем, слишком он был для этого писатель-художник и мечтатель...

— Не знаю, удовлетворяла ли его думская деятельность, а газету мы с ним в 1885 году издавать серьезно собирались,— припоминает Н. Ф. Магницкий.

— Газету? В Екатеринбурге?

— Да. Тогда случайно представлялся случай купить „Екатеринбургскую неделю“[1]. Нам с Маминым настойчиво предлагали взять на себя это издание. Мы заинтересовались, даже увлеклись будущим издательством — составили программу, смету. Распределили редакционные роли. Мамин должен был быть редактором. В конце концов, дело ограничилось одними проектами. Из наших предположений ничего не вышло. Газета перешла в другие руки. Мамин уехал, но сотрудничал и из Петербурга, пока не вышел из состава сотрудников „Екатеринбургской недели“ благодаря случаю со мной. Новый редактор „Недели“ незаслуженно

[1] См. дальше статью Остроумова П. Г.

грубо и резко задел меня, как адвоката. Дмитрий Наркисович узнал об этом во время одного из своих коротких наездов в Екатеринбург от членов нашего кружка, страшно возмутился и сейчас же отправился в редакцию „Недели“ „объясняться“, т. е., попросту говоря, „разносить“. Мне потом сообщали, что одному из членов редакции, фактически редактировавшему газету, досталось за его грубую выходку. Как ни старался он оправдаться, объясниться, вывернуться из неловкого положения — ничего не помогло. Дмитрий Наркисович становился все резче и, в конце концов, категорически заявил, что не желает не только работать, но и числиться среди сотрудников газеты, способной на такие неопрятные, балаганные выпады...

— Да!— говорит хозяйка.— У Дмитрия Наркисовича совсем не было „средних“ нот в оценке людей и поступков. Он часто горячо хвалил и горячо возмущался. Если так можно выразиться, он исключительно чутко воспринимал и ярко чувствовал все хорошее и плохое в окружающих, особенно близких людях. Да и все мы тогда как-то повышенно ярко и экспансивно реагировали на все явления местной и общерусской жизни. Современная молодежь (в огромном большинстве) как-то уравновешеннее, спокойнее. Кто, например, заплачет теперь, узнавши о закрытии любимого журнала. Пойдут спокойно играть днем в футбол, вечером в лото, а мы...

— Вы имеете в виду определенный случай, Марья Якимовна?

— Да! Мне вспоминается, какое потрясающее впечатление произвело на нас известие о закрытии „Отечественных записок“[1].

— Расскажите.

— Прибежал ко мне (буквально — прибежал) Михаил Константинович Кетов. Бледен, задыхается от волнения, не может говорить. — Что с вами? Что случилось? — „Отечественные записки“... — „Отечественные записки“? Что с „Отечественными записками“? — „Закрыты... Навсегда закрыты!..“ — И это сквозь слезы — точно сообщал о смерти близкого, любимого человека. И все мы тогда заплакали горькими, бессильными слезами. Словно оборвалось, разбилось, потухло что-то страшно важное, жизненно-необходимое для каждого из нас... Впрочем, надо сказать правду,— Марья Якимовна улыбнулась,— в этом общем идейном горе было и одно маленькое эгоистическое утешение...

— Какое, Марья Якимовна?

— „Горное гнездо“ Дмитрия Наркисовича как раз окончилось в последней вышедшей в свет книжке „Отечественных записок“. Но об этом, конечно, вспомнили потом, когда впечатление от внезапно обрушившегося огромного несчастья потеряло первоначальную остроту. Прошло столько лет, и я ясно, до последней мелочи, помню этот первый тяжелый день траура по любимому журналу... Да! Теперь уже нет таких искренних „друзей-читателей“, какие были в наше время...

— Да и журналов таких нет, какими были „Отечественные записки“ для читателя! — заметил И. Н. Климшин.

— Скажите, Марья Якимовна, Дмитрий Наркисович часто выезжал из Екатеринбурга?

— Нет, он не особенно любил всякие поездки. Предпочитал сидеть и работать дома. Хотя все же иногда и выезжал. Два раза мы

[1] 1884 год.

с ним ездили в Москву — 1881 и 1886 годы. Жили оба раза довольно долго.

— Заводил Дмитрий Наркисович во время этих поездок литературные знакомства?

— Во время первой поездки покойный совсем не хотел ни с кем знакомиться — явно избегал всяких знакомств[1].

— А во время второй?

— Во время второй знакомства завязались как-то сами собой.

— С кем из писателей сошелся Дмитрий Наркисович?

— Подружился с Златовратским, часто встречался с Ключевским и Стороженко, мнением которых (особенно Стороженко) всегда очень дорожил. Был хорошо знаком с Чупровым.

— Не помните ли вы, Марья Якимовна, чего-нибудь особенно интересного, связанного с этими поездками?

— Нет, не помню. Много интимного, личного и ничего представляющего общий интерес.

— Ну, а кроме этих двух, какие другие поездки писателя остались в вашей памяти? В произведениях Дмитрия Наркисовича так ярко обрисована природа Урала, выведено так много характерных представителей уральской деревни. Чуть не в каждой странице его „Уральских рассказов" чувствуется знание быта, масса непосредственных, личных наблюдений над уральскими старателями, охотниками-промышленниками.

— Дмитрий Наркисович, несомненно, знал местный быт и писал большинство своих „Уральских рассказов" с натуры, но в то же время он поразительно умел запоминать, перерабатывать и вводить в свои произведения чужие переживания, чужие рассказы. В тот период, в который жизнь Дмитрия Наркисовича проходила, так сказать, на моих глазах, писатель мало ездил по Уралу. Он, повидимому, знакомился с ним преимущественно в детстве и ранней молодости, в то время, когда жил дома в Нижней Салде. Об этом времени вам многое может рассказать его сестра. Я хорошо помню только одну, довольно продолжительную нашу поездку с Дмитрием Наркисовичем по Южному Уралу. Это было в 1887 году. Во время этой поездки Дмитрий Наркисович, конечно, интересовался всем и всеми. Расспрашивал, записывал, знакомился. Мне памятен курьезный эпизод. Остановились на одном постоялом дворе. Дмитрий Наркисович разговорился с хозяином и, повидимому, заинтересовал его. Хозяин начал меня подробно расспрашивать: где живем, откуда едем, да куда, да зачем, да чем занимается барин. Говорю: „Писатель". Не понял: „Это что же за чин такой будет? Начала объяснять: „Пишет и печатает книги". Хозяин удовлетворился: „Так! Так! Понимаем. Мы сами по печатной части — сколько лет холсты разной краской печатаем".

— Ну, а охоту Дмитрий Наркисович, вероятно, очень любил?

— Совсем даже не любил.

— Как? Но ведь его рассказы пересыпаны охотничьими эпизодами, а некоторые прямо могут быть названы охотничьими рассказами.

— И все-таки Дмитрий Наркисович совсем не был охотником и редко ходил куда-нибудь с ружьем. Когда врачи прописали ему движение

---

[1] Неверно. См. статью Б. Д. Удинцева „Уральский период жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка", *Сост.*

и свежий воздух, приходилось отправлять его за город чуть не силой. Обыкновенно он и некоторые члены нашего кружка предпочитали всякой охоте послеобеденную стрельбу в цель. Моя баня вся была усыпана дробью.

— Дмитрий Наркисович хорошо стрелял?

— Какое там хорошо — кое-как.

— Помните случай с белыми брюками?— напомнил И. Н. Климшин.

— Что это за случай?

— Да один из приятелей Дмитрия Наркисовича раз на охоте принял мелькавшие в кустах белые брюки другого охотника за зайца и выстрелил. К счастью, не попал, и дело ограничилось переполохом. Вот какие охотники группировались в мое время около Дмитрия Наркисовича. Насколько я знаю, охота никогда не занимала серьезного места в жизни писателя — он и все мы относились к ней полушутя, полуотрицательно, как к „жестокой забаве". Помню, например, раз целым обществом собрались на тягу. Поехала и я. Встали наши охотники на опушке, а я села невдалеке за кустом и все время пугала вальдшнепов, махая белой шалью. Стояли, стояли — ни одного вальдшнепа. В конце концов, мой маневр открыли.

— Сердились?

— Ну, не очень. У нас не принято было сердиться на шутки. Шутили все друг над другом и сам Дмитрий Наркисович больше всех. Впрочем, в этой области с ним соперничал И. Н. Климшин: он, по поговорке, „для острого словца" порой не щадил „ни матери, ни отца", ни друзей. Всем нам доставалось от него поочередно. Не пропускал буквально ни одного удобного случая, чтобы не разразиться каким-нибудь ядовито-добродушным экспромптом. Николай Флегонтович купил дом. Решил отпраздновать новоселье. Конечно, были приглашены все члены нашего кружка. Но, как на грех, к назначенному дню простудился и захворал жабой сам „виновник торжества". Пришлось перенести новоселье на другой день. Все собрались, а Ивана Николаевича нет. Явился только в полночь с громадным свитком, склеенным чуть ли не из десяти листов писчей бумаги. Встал в позу, откашлялся и начал читать „оду" „Адвокат и жаба"...

— А „акафист" помните?

— „Акафист"?

— Да! Тоже Иван Николаевич вдвоем с Казанцевым сочинили по какому-то поводу (уж не помню по какому) Дмитрию Наркисовичу „акафист". Написали на толстой бумаге, в соответствующем стиле, вклеили в старый кожаный переплет. Принесли с торжественным видом. Заставили Дмитрия Наркисовича встать в передний угол, устроили нечто вроде аналоя и прочли нараспев свое произведение...

— А помните гипсовые ноги, поднесенные Н. В. Казанцеву при соответствующем стихотворном произведении Ивана Николаевича?

— Да! Да! Н. В. Казанцев поставил на местной сцене свою пьесу „Старое чувство живуче". Перед спектаклем у него разболелись ноги. Было даже что-то вроде легкого паралича. По окончании спектакля, после овации, ему и поднесли окруженные лаврами гипсовые ноги с стихотворной рецензией Ивана Николаевича.

— Дмитрий Наркисович тоже, кажется, пробовал свои силы в драме?

— Как же, как же! В 1887 г. он написал и поставил в здешнем театре очень длинную, переполненную всякими ужасами, пьесу из уральской жизни „Золотопромышленники". Пьеса имела внешний успех — много хлопали, несколько раз вызывали автора. Но Дмитрий Наркисович был слишком умен для того, чтобы поверить поверхностному успеху, да и мы не щадили его авторского самолюбия и критиковали „Золотопромышленников" во-всю. Драма, действительно, была из рук вон слаба, и Дмитрий Наркисович потом не любил даже вспоминать о ней. Писатель чувствовал, что это не его жанр, что в области драматического искусства он не создаст ничего выдающегося...[1]

Покойный пробовал свои силы и еще в более чуждых ему областях,— добавляет Н. Ф. Магницкий.— В справочном издании городского головы Симонова „Город Екатеринбург" объемистое предисловие тоже принадлежит перу Дмитрия Наркисовича. А живопись?

— Покойный писатель и рисовал?

— Одно время довольно усердно писал масляными красками. Его большая картина „Генеральская дача", писанная с натуры, хранится у меня до сих пор.[2]

— Он, помнится, писал и ваш портрет, Марья Якимовна?— говорит И. Н. Климшин.

— Пробовал не раз. Но портреты выходили у него еще хуже ландшафтов. Я, в конце концов, запротестовала, и он бросил.

— Не припомните ли еще что-нибудь?

— Воспоминаний масса, но все больше мелочи, которые имеют только личную, интимную ценность... Разве вот еще рассказать вам о петухе. Это характерная иллюстрация внимательного, любовного отношения Дмитрия Наркисовича к животным.

— Пожалуйста, расскажите.

— Купила я случайно на базаре бойцового петуха. Покупала в суп, а потом стало жалко колоть — уж очень ловкий, красивый петух — оставила. Петух подрос, откормился и начал проявлять свои таланты — не только блоск избил всех соседних петухов, а начал бить даже кур.

---

[1] По сохранившейся рукописи, датированной 1885 годом, драма называлась „На золотом дне" и была напечатана в „Наблюдателе". В музее имеется оттиск из этого журнала, переплетенный в синий атлас. На первом листе: „Моему лучшему другу Марии Якимовне, советами и указаниями которой я пользовался, когда писал эту пьесу. Автор $18\frac{XI}{30}87$ г. Ек6.".

Об этой пьесе в № 45 „Екатеринбургской недели" за 1887 г. находим:

„10 октября в бенефис г-на Велиганова шла новая пьеса „Золотопромышленники", сочинение нашего известного беллетриста Д. Н. Мамина (Д. Сибиряка). Театр был переполнен; публика много раз вызывала автора и награждала аплодисментами. Отчет об этой пьесе, названной „бытовой хроникой", мы дадим в следующем номере „Екатеринбургской недели".

В следующем номере „Екатеринбургской недели", в 46-м, находим довольно большую рецензию, которая заканчивается сообщением, что „право на постановку пьесы „Золотопромышленники" продано г. Маминым (Сибиряком) московскому театру Корша за 8% валового сбора на три года".

Кроме этой драмы, в рукописях Мамина имеется драма „Маленькая правда", написанная в 1890 г. (опубликована в журнале „Штурм" в 1935 г.), и отрывок драмы в 5 действиях „Ком снега".

[2] К сожалению, в настоящее время картина утрачена. Снимок с нее имеется в сборнике „Урал".

Возвращаюсь я как-то раз домой с уроков и встречаю рассерженного Дмитрия Наркисовича, с прутом в руках. „С розгой! Куда это?“ — „Да надо же этого подлеца петуха наказать. Все соседи на него жалуются — проходу не дает. Пойду выпорю — авось станет посмирней“. С самым воинственным видом Дмитрий Наркисович отправился на двор ловить петуха. Через минуту поднялось отчаянное кудахтанье. Я выглянула в окно. И что же: Дмитрий Наркисович, как-то неестественно нагнувшись, замахал руками, а рассерженный петух сидел у него на спине и долбил его в шею и голову. Потом я долго смеялась над сконфуженным писателем.

Распрощались с хозяйкой далеко за полночь.

Старым товарищам, объединенным общими светлыми воспоминаниями, не хотелось расходиться.

— А ведь надо признаться,— со вздохом сказал И. Н. Климшин, прощаясь с хозяйкой,— что эти вечера, проведенные с Маминым в нашем кружке, были, пожалуй, лучшими вечерами в жизни.

— Да, хорошее было время!— подтвердил Н. Ф. Магницкий.— И чем дольше живешь, тем яснее видишь, каким исключительно чистым и честным человеком был покойный Дмитрий Наркисович. Блестящий, цельный, искренний, умевший горячо возмущаться и горячо любить. Наши отношения с ним в одно время были больше чем натянутыми,— мы почти раззнакомились, а все же, как искренне он был потом рад, уже больной, стоявший одной ногой в могиле, встретиться со мной. Все недоразумения забылись. Он ожил, помолодел, засверкал знакомым остроумием, припомнил старые рассказы, анекдоты. Передо мной снова был прежний Дмитрий Наркисович, „душа“ наших незабвенных екатеринбургских вечеров...

— Да, хорошее было время!— вздохнули все.

У СЕСТРЫ Д. Н. МАМИНА Е. Н. УДИНЦЕВОЙ

— Мне бы хотелось поговорить с Елизаветой Наркисовной...

— Это я. Пожалуйста, заходите.

Высокая, бледная женщина средних лет. Энергичное лицо, умные внимательные глаза. Утомленное выражение в очертании губ. Седина в густых волосах.

— Я сама хотела поделиться своими воспоминаниями о Дмитрии Наркисовиче с кем-нибудь из местных журналистов, да все казалось, что эти воспоминания не представляют большого интереса. Ведь все мы, знакомые и близкие выдающихся людей, обыкновенно запоминаем только то, что так или иначе задело, поразило, заинтересовало нас в свое время. Остаются в памяти мелочи и забывается часто крупное, существенное для характеристики того, о ком припоминаешь. Это особенно чувствуется при большой разнице возрастов того, кто вспоминает и того, о ком вспоминают. Я была много моложе покойного брата, и часть воспоминаний о нем осталась у меня в окраске полудетских представлений и переживаний. Это, конечно, относится только к первому периоду нашей заводской жизни, когда еще был жив покойный отец.

— Я и буду вас просить рассказать мне кое-что об этом времени. Вот, например, для меня до сих пор не ясно, когда успел так хорошо изучить раскольничий, приисковый и промысловый Урал Дмитрий Наркисович? Я слышал, что покойный писатель редко выезжал из Екатеринбурга. Говорят даже, будто он ни разу не проезжал во время сплава по Чусовой и его такие яркие рассказы, как „В камнях“ и „Бойцы“, написаны преимущественно с чужих слов?[1]

— Это не совсем так. Еще семинаристом он несколько раз проехал Чусовую. Брат мой Николай Наркисович припоминает, например, две таких поездки с Дмитрием Наркисовичем. Одна продолжалась целую неделю. Доехали до Левшина, оттуда на лошадях в Пермь. Другой раз они ехали вместе, в августе, с так называемым „летним караваном“. Плыли на полубарке с демидовской медью, без весел, по течению. В одну из таких поездок, уже будучи студентом, брат простудился. Схватил плеврит. Долго прохворал и так ослабел, что очень долго пролежал буквально пластом. Брат очень любил Чусовую и часто рассказывал всем нам о своих чусовских впечатлениях. Приезжая студентом на каникулы в Висим, он то и дело пропадал из дому и бродил по окрестностям. Его постоянным спутником в этих экскурсиях был местный псаломщик, которого он так любовно обрисовал в „Емеле-охотнике“. Пропадали они иногда по неделе, по две. У брата даже был сшит особый „охотничий“ костюм. Помню его, как сейчас,— кожаная куртка, какие-то особенные кожаные брюки.

— Любил Дмитрий Наркисович охоту?

— Нет. Мне кажется, брат больше охотился не за дичью, а за тем бытовым материалом, который такой яркой „красной нитью“ проходит по всем его уральским романам и рассказам. Он также охотно уходил и за грибами и за черникой. Всегда возвращался с массой новых впечатлений, наблюдений, среди которых специфически охотничьи играли далеко не первую роль.

— Как познакомился Дмитрий Наркисович с уральскими раскольниками? Ведь они жили в то время (да и теперь живут) такой замкнутой жизнью?

— Брат часто бывал в раскольничьих скитах, знакомился с влиятельными „старцами“ и начетчиками. Помогла ему и исключительная популярность отца среди старообрядцев. Отец, хотя и был священником, отличался незаурядной терпимостью. В его отношениях с старообрядцами не было ничего задирающего, ничего восстанавливающего миролюбивых соседей. С представителями ближайших скитов он установил самые добрососедские отношения. Я помню, например, что одна из самых влиятельных окрестных начетчиц, справляющая раскольничьи службы, была у нас нередкой почетной гостьей. Звали ее Матрена Афанасьевна, и отец, добродушно подтрунивая, часто называл ее „отец Матрентий“.

— Вы не помните, когда у Дмитрия Наркисовича появилось стремление к литературе?

---

[1] Этот вопрос был вызван, по всей вероятности, заметкой в „Голосе Урала“ (1912 г., № 188, без подписи), где будто бы со слов М. Я. Алексеевой написано: „Сам Д. Н. на реке Чусовой никогда не был, и то, что такие яркие картины уральской природы написаны с чужих слов, рисует величину таланта Д. Н.“

— Знаю об этом по рассказам брата. Начал он писать очень рано. Крупную роль в первых его литературных шагах сыграл преподаватель словесности в пермской семинарии И. Е. Соколов. Он страстно любил, великолепно знал свой предмет и умел заинтересовать им почти всех способных воспитанников. Был строг, требователен, но далек от педантизма и рутинных приемов. За первое сочинение Дмитрия Наркисовича И. Е. Соколов поставил единицу, но в то же время сказал: „В таком виде никуда не годится, а дарование чувствуется. Вы должны заниматься литературой. Работайте над слогом, больше читайте". Брат всегда вспоминал этого преподавателя с благодарностью и уважением. Признавал, что многим был ему обязан.

— В то время, когда вы жили вместе с покойным, он много писал?

— Да, очень много. Я видела у него целые кипы набросков, записок, материалов, подробно разработанных планов будущих романов, повестей, рассказов. С первых литературных шагов у Дмитрия Наркисовича создалась привычка тщательной работы над конспектами своих романов. Исписывались целые тетради. Не один раз менялись не только детали и характеристики действующих лиц, а даже фабула. Зато когда черновая, подготовительная работа кончалась, покойный писал уверенно, быстро, почти без помарок, часто даже не перечитывал написанного перед отсылкой в журнал.

— Как относился Дмитрий Наркисович к своим первым литературным неудачам?

— Насколько я помню, с философским спокойствием. Впрочем, в этом отношении, я, кажется, расхожусь с некоторыми его близкими друзьями.

— Не опускал рук? Не волновался?

— Волнения не было заметно даже после инцидента с Щедриным. Когда он послал первую работу в „Отечественные записки", грубоватый, суровый старик, не привыкший особенно церемониться с начинающими писателями, разнес брата и наговорил ему много неприятных вещей. Это, конечно, взволновало, но не обескуражило брата — он еще энергичней взялся за работу. Припоминая прошлое, я скажу, что он редко волновался после неудач, но зато довольно часто возмущался отношением к нему некоторых критиков, в особенности Скабичевского, с которым был потом в самых дружеских отношениях. Вообще надо сказать, что Дмитрий Наркисович был о многих своих работах высокого мнения. Я, например, слышала, как он говорил матери: „Мое время еще не пришло — меня оценят только в будущем".

— Простите за не совсем скромный вопрос, — как относился Дмитрий Наркисович к близким родным?

— Исключительно хорошо. Тепло, внимательно. Мать боготворил — каждое ее слово было для него законом. Взрослый мужчина, известный писатель, он подчинялся ей, как мальчик. Двух дней не мог прожить без того, чтобы с ней не повидаться. Когда мы жили в Екатеринбурге, заходил к нам каждый день. Много говорил о своих работах, о своих планах, надеждах. Каждой радостью и печалью прежде всего делился с нами. Покойная мать была суровая, строгая женщина, не любившая противоречий. Брат хорошо известен своими бешеными вспышками, причудливо переплетавшимися с исключительной, какой-то женственной мягкостью и сердечностью. С этими крайностями его характера приходилось сталкиваться всем его знакомым и близким,

кроме матери. С матерью он всегда был неизменно нежен, почтителен, покорен. Лучшего сына, чем покойный, трудно себе и представить. Да и брат он был хороший. Если, бывало, иногда вспылит, после долго ходит сконфуженный и старается изо всех сил загладить неприятное впечатление особенной предусмотрительностью и лаской. После таких вспышек мы, ребята, смело просили о чем угодно, зная, что он не откажет. Эти резкие переходы от внезапных бешеных вспышек к настроениям исключительной мягкости не мало испортили отношений брату, не мало доставили ему неприятных моментов и среди его литературных друзей.

— Все-таки, кажется, у большинства знакомых покойного писателя осталось воспоминание о нем, как об очень добром, отзывчивом, чутком человеке?

— Брат, несомненно, и был таким редким человеком. Замкнутый, неохотно открывавший посторонним свою душу, он обладал золотым сердцем, болезненно отзывчивым к нуждам всех слабых и страдающих. Он всегда великолепно относился (не только в своих произведениях, а и в жизни) к детям, старикам и животным. Это были его неизменные фавориты, которых он никогда никому не давал в обиду.

— В течение последних лет Дмитрию Наркисовичу ставили иногда в вину его слишком резкие, явно несправедливые отзывы о крупных современных писателях.

— Да, такие, до грубости резкие, отзывы иногда срывались у покойного и торопливо оглашались разными досужими газетчиками. Но они совсем не были отражением действительных литературных взглядов брата, а являлись только результатами мимолетных вспышек, темперамента, аффекта, болезненного состояния, которое нередко мучило в последнее время Дмитрия Наркисовича... Брат был не из тех людей, которые тщательно обдумывают каждое мнение, взвешивают каждое свое слово...

— Говорили о близких отношениях Дмитрия Наркисовича с Н. К. Михайловским?

— Н. К. Михайловский очень любил брата, был даже нежен с ним, а брат прямо благоговел перед Михайловским. Это было восторженное отношение младшего к старшему, преклонение ученика перед учителем. Смерть Михайловского страшно поразила брата. На всех его письмах того периода лежит тень искренней, глубокой скорби.

— Какого мнения был Н. К. Михайловский о Дмитрии Наркисовиче, как о писателе?

— Насколько помню (по рассказам брата), сперва Михайловский считал его только даровитым и трудолюбивым этнографом, не признавая за ним крупного художественного таланта. Впрочем, потом мнение знаменитого публициста-критика изменилось—он высоко ставил „Черты из жизни Пепко“ и некоторые другие вещи покойного, написанные в Петербурге, и собирался подробнее остановиться на его творчестве, но не успел. Михайловский очень ценил брата, как одного из видных сотрудников „Русского богатства“.

— А как относился сам Дмитрий Наркисович к своим петербургским произведениям?

— В последние годы он вообще избегал говорить о своих работах — нето уже взглянул на них объективно, нето был оскорблен молчанием

критики. С особенным теплом неизменно относился только к своим детским рассказам. Особенно любил „Аленушкины сказки“. Нередко читал их вслух и с гордостью говорил: „У кого еще встретится такое выражение: „Спи, отецкая дочь“? И, на самом деле, „Аленушка“ была „отецкой дочерью“ — она осталась после смерти совсем маленькой девочкой, и брату пришлось быть для нее отцом-матерью... И после я слыхала, как, читая свои книги, Митя иногда шутливо замечал:

— Хорошо писал Дмитрий Наркисович!

Я поблагодарил Елизавету Наркисовну, извинился за отнятое у нее дорогое время и вышел.

Перешел на другую сторону улицы и оглянулся с особым чувством на маленький домик, в котором много лет назад жил и работал талантливейший художник-бытописатель обойденного родными музами Урала.

Из первого сборника „Зауральского края“ — „Урал“ посвященного памяти писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Екб. 1913 год, 93 стр.; стр. 68—79. Сейчас этот сборник — библиографическая редкость.

В. А. ЛЯПУСТИН

ВСТРЕЧИ, КОТОРЫЕ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Много лет прошло с тех пор, как мне посчастливилось видеть двух замечательных людей Урала — Наркиса Константиновича Чупина и Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Воспоминания о них так дороги, что до настоящих дней сохраняются в моей памяти со всей яркостью юношеских впечатлений.

Мне шел семнадцатый год, я учился в пермской духовной семинарии в философских, как тогда говорили, классах. Семинарская метафизика и схоластика, которую мне преподавали уже третий год, достаточно набила оскомину, меня тянуло к естественным наукам, я мечтал об университете. Такое настроение поддерживалось во мне постоянным общением с природой, что было результатом моих охотничьих похождений в уральских лесах, и рассказами моего отца о Н. К. Чупине.

Принимая участие в работе по народному образованию, отец познакомился и близко сошелся с Наркисом Константиновичем, и всё, что он говорил об этом замечательном человеке, было проникнуто такой теплотой, любовью и уважением, что у меня родилось горячее желание повидать этого интересного человека.

Труды Н. К. Чупина по истории Уральского края, его географо-статистический словарь Пермской губернии были широко распространены и создали ему большую популярность не только на Урале. Все, кто интересовался историей Урала, его этнографией, его естественными богатствами, тянулись к нему, как источнику, где можно было почерпнуть нужные справки и совет. И вообще, как говорил мой отец, местные интеллигентные силы в то время группировались около Чупина.

Летом 1881 г., проездом из Перми на каникулы на родину, мне пришлось на неделю задержаться в Екатеринбурге. Я попросил отца познакомить меня с Чупиным, но отец был очень занят и дал мне к нему письмо, сказав, что после двух часов дня я могу его всегда найти в музее.

Нечего говорить, как я обрадовался и с каким нетерпением ждал в музее прихода Наркиса Константиновича. Наконец он пришел. Я увидел за столом человека, разбирающего бумаги; он был уже не молод, почти совершенно седой, волосы на голове зачесаны с боковым пробором, борода небольшая, квадратная, лицо желтое, сам худой, истощенный. Я подал ему письмо отца.

„А, сынок отца Алексея, здравствуйте, юноша!“ — Чупин подал мне руку и так приветливо взглянул на меня и такими хорошими глазами, что я тут же почувствовал в нем близкого, родного человека. Затем он расспрашивал меня, где я учусь, нравится ли мне семинария. Я откровенно ему отвечал, что семинарские науки меня не удовлетворяют, что у меня появилось влечение к естествознанию, и я мечтаю об университете. Хорошо помню, что он очень хвалил меня за это, говорил, что мне полезно бывать в музее Уральского общества любителей естествознания, где можно видать естественно-исторические коллекции, пользоваться библиотекой и пр. Затем он спросил меня, надолго ли я приехал в город и где остановился. Я сообщил, что остановился в монастырском приемном доме.

„Чай там скверно и неудобно для вас, не хотите ли я вас устрою в одном знакомом доме?“

Я, конечно, был очень рад и благодарил его, так как монастырский приемный дом представлял собой постоялый двор со всеми его недостатками. Каково же было мое изумление, когда домом его знакомого, куда он меня через некоторое время привел, оказался громадный дом главного горного начальника. Чупин, заметивший мое смущение, сказал: „Не робейте, юноша, все устроится как нельзя лучше“. Затем, войдя в дом, он приказал устроить меня в комнатах для приезжающих, а сам отправился наверх к генералу.

В комнате, куда меня привел служитель, находилось три молодых человека, оказавшихся студентами горного института. Когда я вошел, один из них захохотал, говоря: „Вот еще одного племянника привели!“ Я смутился и не знал, что мне отвечать на это не совсем обычное приветствие. Молодой студент, здороваясь со мной, поспешил объяснить, что это значит. Оказалось, что они живут здесь трое под кличкой „племянников генерала“, приехавших его навестить. Так называл их прислуге дома Чупин. Главный горный начальник Иван Павлович Иванов в то время был уже полный генерал, действительный тайный советник, очень старый, глухой, разбитый параличом, жил в комнатах верхнего этажа, книзу не спускался, даже в горное управление давно уже не ездил, подписывая все бумаги на дому. Генерал был одинок, и в доме всем управлял Наркис Константинович, которого Иванов очень любил и во всем ему доверял. Молодые люди, мои соседи, сказали мне, что в соседних комнатах для приезжающих еще остановилось несколько студентов-племянников и, кажется, из всех их только двое или трое действительно были родственниками генерала и носили его фамилию.

Наркис Константинович всех студентов, приезжавших в город провести здесь часть своих каникул и нуждающихся в квартире, обычно без отказу размещал в комнатах для приезжающих огромного дома. Само собой, полиция не смела проверять жильцов генеральского дома, так как генерал пользовался на Урале правами генерал-губернатора.

Перезнакомившись, мы весело разговаривали, шутили над своим неожиданным родством с его высокопревосходительством; появился снова Чупин и спросил меня, как я устроился. Я ответил, что превосходно, тогда он, обращаясь ко всем, пригласил нас вечером на чай на генеральскую дачу, куда можно было проехать на лодке по пруду. Мы много и шумно его благодарили.

Студенты рассказали после ухода Чупина, что он летом часто устраивает „чаи“ на генеральской даче, на которых можно встретить много интересных людей и весело провести время [1].

Наступил вечер, по каменной лестнице, которую еще и сейчас можно видеть через дорогу от дома, мы, восемь человек, спустились к пруду, сели в лодки и отправились на дачу. Дача генерала находилась как раз на том месте, где сейчас построено „Динамо“ с его стадионом. Мои спутники, видимо, не раз бывали здесь, судя по тому, как приветливо нас встретили служители дачи.

Дачный дом был небольшой, на пять окон по фасаду, двухэтажный, с большой крытой террасой, окруженной цветниками. В саду находилась большая оранжерея. Здесь я задержался до потемок. Садовник был так любезен, что показывал мне растущие в оранжерее пальмы, фикусы, плодовые деревья, персиковые, абрикосовые и пр. Все это я видел в первый раз в моей жизни.

Когда я пришел на террасу, там уже собралось около двадцати человек молодежи. Наркис Константинович, увидав меня, жестом пригласил садиться за стол. Терраса была освещена двумя фонарями, подвешенными к потолку, на столе стоял самовар, хлеб, масло, сыр, колбаса, позднее появились пиво и водка.

Я уселся рядом с моим товарищем по комнате, который называл мне присутствующих. За столом сидели два молодых адвоката, два или три учителя горного училища, а все остальные — студенты горного института или университета и, как я сказал, почти сплошь одна молодежь. Мой сосед прежде всего указал мне на молодого человека, который сидел рядом с Чупиным:

— Это начинающий писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.

Я, как сейчас, вижу характерное, типичное лицо Мамина. Молодой, лет 27, коренастый, здоровый, румяный, скуластый брюнет, с густой шапкой волос и небольшой, клинышком, бородкой. Я вспомнил, что Мамин лет на семь-восемь раньше меня учился в семинарии, потом уехал в университет. В семинарии он принадлежал, как и я впоследствии, к кружку нелегальной библиотеки, откуда мы получали запрещенные книги и рукописи. О Мамине в семинарии не раз вспоминали как о способном, талантливом семинаристе, постоянном усердном сотруднике школьного журнала.

О семинарской нелегальной библиотеке, когда я учился (1880—1886 гг.), были распространены, можно сказать, легендарные сказания. Рассказывали, что основателем библиотеки был Бакланов, преподаватель семинарии в философских классах, очень любимый учениками. В шестидесятых годах прошлого столетия Бакланов был арестован и административно выслан из Перми за распространение среди учащихся вредных идей. К этому же времени нужно отнести начало существования библиотеки, о чем говорят и даты, сохранившиеся на некоторых книгах.

В мое время количество книг и рукописей, как мне кажется, не превышало пятисот экземпляров. Некоторые книги мне особенно памятны, так как чтение их оставило глубокие следы, отразилось, как тогда выражались, на моем миросозерцании. Так, я помню роман

---

[1] Именно эта „генеральская дача“ и была нарисована Маминым-Сибиряком на той его единственной картине, о которой говорилось выше.

Н. Г. Чернышевского „Что делать“, книгу, зачитанную до последней степени, много страниц в ней было уже рукописных. Помню также „Историю цивилизации в Англии“ Бокля, номера „Колокола“ и „Полярной звезды“ А. И. Герцена, или, как мы любили его называть, Искандера (Изгнанника), его же „Былое и думы“. Как сейчас, чувствую ошеломляющее впечатление от его статей „Крещеная собственность“ и „Допотопное правительство и ископаемый епископ“ (по поводу открытия мощей Тихона Задонского“). Затем помню „Исторические письма“ Лаврова, несколько номеров журнала „Земля и воля“ и книжки по естествознанию, из них, конечно, „Происхождение видов“ Ч. Дарвина и „Жизнь растений“ К. Тимирязева.

Книги хранились в двух сундуках местной работы, одно время я был хранителем одного из сундуков. Библиотека пополнялась очень плохо, новые книги поступали редко и случайно и почти всегда бесплатно от наших товарищей, которые учились в столичных университетах.

В члены библиотеки принимали только семинаристов по рекомендации трех товарищей. Постоянных членских взносов установлено не было, а иногда производились сборы на покупку новых книг. При мне количество членов было около 50—60 человек. Случаев провалов, измены, обысков и доносов за мое время не было.

Интерес к чтению нелегальной литературы был так велик, что мы не считались с опасностью, хотя и знали, что после 1 марта 1881 г., дня убийства императора Александра II в Петербурге, начались ужасные гонения, и людей, пойманных с запрещенной книжкой или брошюрой, месяцами держали в тюрьмах и ссылках в отдаленных местах Сибири.

Влияние небольшой библиотеки на семинаристов, головы которых в школе дурманили метафизикой и схоластикой, было так глубоко и благотворно, что не может быть полностью учтено. Достаточно сказать, что большинство из ее читателей бросали духовную семинарию и уходили в университеты; так, из нашего курса из тридцати человек шесть ушли в университет и все они были членами библиотеки.

Не менее опасно было также издание школьного журнала. Здесь тоже соблюдалась полная конспирация. Почти одни и те же лица участвовали в школьном журнале, что и в библиотеке.

Журнал был рукописный, выходил два-три раза в учебный год, в объеме не более двух-трех листов писчей бумаги. Вначале журнал носил название „Бурсак“, впоследствии „Окурок“. Статьи в нем были или без подписей, или же авторы носили шутливые клички. Номера осенние, появлявшиеся после летних каникул, были самыми интересными: в них, кроме злободневной хроники семинарской жизни, помещались рассказы и сцены из жизни крестьян и заводских рабочих. Эти статьи были проникнуты идеологией народничества, которым мы тогда увлекались.

Сейчас, когда я пишу эти строки, я с благодарностью обращаюсь к этим фактам моей жизни: благодаря главным образом им мне удалось избежать профессии священника, предназначаемой моим отцом.

Но вернусь на генеральскую дачу.

Находясь впервые в таком большом, культурном обществе, я мог только внимательно наблюдать и жадно ловить разговоры сидящих. Пока пили чай, разговоры вращались вокруг городских новостей, мало интересных для меня. Но вот подали водку и пиво, и Мамин-Сибиряк

попросил Наркиса Константиновича рассказать что-нибудь из уральской старины. Уже по одному тому, как горячо все поддержали Мамина и как сразу наступила мертвая тишина, можно было почувствовать, что сейчас начинается то самое интересное, чем отличались и чем были дороги „чаи“ Чупина.

Чупин не заставил себя долго просить, рассказчик он был редкий и, видимо, любил поговорить о прошлом Урала. Конечно, я не поручусь, что Наркис Константинович в этот вечер рассказывал нам о генерале Глинке именно теми словами, как я сейчас пишу, спустя много лет, но содержание, характер и стиль рассказа, думаю, что передаю более или менее верно.

„Сегодня я разбирал дела главного горного начальника генерала Глинки,— начал свой рассказ Чупин,— и невольно вспомнил давно прошедшее время, памятное мне по детским и юношеским воспоминаниям. Вы знаете, я родился здесь, в Екатеринбурге, в начале двадцатых годов, в семье горного чиновника. Мне было 9—10 лет, я уже учился в уездном училище, как приехал к нам в город генерал Глинка, который царствовал на Урале почти двадцать лет.

„Грозный генерал Глинка был высокий, прямой, как палка, старик, с густыми, зловеще нависшими бровями, военной выправки, фронтовик, лицо бритое, голова и усы седые. Говорили, что в молодости он был адъютантом самого Аракчеева и служил в военных поселениях. На Урал он был назначен после беспримерного в летописях процесса уральских магнатов — Зотова и Харитонова, тянувшегося почти десяток лет. Это громкое дело, которым не раз занимался Комитет министров, вскрыло невероятные насилия и произвол заводчиков над рабочими и крестьянами, злоупотребления, подлоги и взятки местной администрации, не исключая и самых высоких чинов ее. С другой стороны, это же дело сделало очевидным, что память о пугачевском бунте продолжает жить среди рабочих и крестьян. Глинка был облечен неограниченными полномочиями для борьбы со всем этим злом и, особенно, в целях пресечения и предупреждения рабочих и крестьянских волнений. Урал в то время представлял область на военном положении, а главный горный начальник, как генерал-губернатор, в своем лице сосредоточивал всю власть как административную, так и судебную“.

Мамин-Сибиряк, видимо, очень заинтересованный рассказом, попросил Наркиса Константиновича подробнее остановиться на отношении Глинки к заводским рабочим.

Чупин улыбнулся и продолжал:

„Именно об этом-то я и хочу сейчас говорить.

„Генерал, вышедший из мордобойной школы Аракчеева, непоколебимо верил, что управлять людьми можно только плетью, кнутом и розгами. По его мнению, спасительный страх должен царить среди рабочих и крестьян и только этими средствами можно гарантировать порядок и избежать бунтов и восстаний. С этой целью Глинка обычно ездил по городу и по заводам не иначе, как окруженный сотней вооруженных казаков, и где бы он ни показывался, там неизменно свистели плети и нагайки. Не удивительно, что на Урале все перед ним трепетали, и окружающие его чиновники, также и люди, имевшие к нему дело, не знали, как к нему подойти и как подступиться. Генерал отличался не только жестокостью и свирепостью, но также неподкупностью

в отношении взяток. Однако ключ к генеральскому сердцу неожиданно был найден. На Верхисетском заводе рабочие, собравшись в одном из цехов, шумно обратились к заводскому начальству с жалобами на плохие заработки и дорогие корма. Глинка, узнавши об этом, появился на заводе с сотней казаков и по-своему расправился с рабочими, приказавши каждому десятому дать двадцать кнутов. На заводском дворе началась порка. Генерал тут же ходил взад и вперед, курил сигару и лично наблюдал за выполнением своего приказа. Пороли одного молодого рабочего. Он молча перенес наказание, встал, подошел к генералу и, вытянувшись по-военному, сказал: „Ваше превосходительство, закон должен быть исполнен во всей точности — приказано двадцать кнутов, я получил только семнадцать". Генерал, изумленный необычайной честностью рабочего, сказал: „Молодец, одобряю! Ложись!" и приказал отпустить недополученные три удара, после чего казака, сбившегося со счета ударов, по приказу генерала жестоко выпороли. Генералу очень понравился рабочий, он спросил: „Как тебя зовут?"

— Мишкой, ваше превосходительство.

„Так отныне ты будешь верный раб Мишка, сегодня же отправляйся ко мне в дом, ты будешь служить у меня". Таким образом у генерала появился новый камердинер. Смышленый молодой парень хорошо изучил нравы и привычки генерала и так сумел подслужиться к нему, что генерал очень его полюбил и во всем ему стал доверять. Пользуясь неограниченным доверием начальника, Мишка скоро научился обделывать за его спиной всякие делишки и скоро прославился по всему Уралу, как персона, через которую за взятку можно у генерала устроить любое дело".

—Наркис Константинович, я от екатеринбургских старожилов об этом Мишке слыхал много легендарного,— перебивает Мамин-Сибиряк.— Интересно бы знать действительные факты из его жизни и службы у свирепого генерала.

Наркис Константинович смеется и говорит:

„Да, карьера Мишки была не без опасностей, и один раз его звезда чуть было совсем не померкла. Случилось событие, которое никак нельзя было ожидать от старого генерала — представьте, он влюбился в молодую девушку, дочь одного из мелких чиновников своей канцелярии. Генерал недолго колебался, предложил своей избраннице руку и сердце и, конечно, не получил отказа. Молодая супруга, направляемая своим отцом и другими чиновниками горного управленця, повела интригу, желая овладеть властным генералом в своих интересах, но для этого прежде всего требовалось убрать с дороги Мишку. Фонды Мишки быстро начали падать и, вероятно, пали бы совсем, но не бывать бы его счастью, да несчастье помогло. Генеральша увлеклась одним молодым инженером и начала изменять мужу. Мишка, узнавши об этом, доложил генералу и помог ему накрыть виновных на месте преступления, у себя же в доме. Генерал и в этом случае не стал долго размышлять, дал супруге развод, выслал ее за пределы Урала и строго запретил даже упоминать ее имя.

После такой исключительной услуги, Мишка окончательно овладел генералом. Все кто нуждался в горном начальнике, шли прежде к Мишке, несли ему дары и через него устраивали свои дела. Мишка быстро богател".

Наступила, небольшая пауза, все живо переживали рассказываемое сообщение, делились замечаниями и впечатлениями. Кто-то из сидящих говорил, что Глинка, желая навести на людей спасительный страх, по

заводам иногда выезжал четверкой в коляске, окруженный стражей, брал с собой ручного медведя, который лежал у него в ногах и угрожающе рычал на всех приближающихся к экипажу генерала. Мамин-Сибиряк, как я уже сказал, особенно заинтересованный рассказом, задавал Чупину много вопросов и кончил тем, что просил Наркиса Константиновича сообщить, какова же была дальнейшая судьба Мишки?

„Ходили слухи, что Глинка, уволенный в отставку, оставил Урал таким же бедняком, как и приехал, он увез с Урала только выслуженную пенсию. Другое дело его лакей Мишка, он вместе с господином тоже уехал с Урала, но увез с собой большое состояние".

Так Чупин закончил свой рассказ и, обращаясь к Дмитрию Наркисовичу, сказал: „Теперь ваша очередь; чем вы нас сегодня порадуете?"

Мамин вынул из кармана тетрадку и прочел, как мне помнится, главу из неопубликованного еще тогда романа „Приваловские миллионы". Вспоминаю, какое оживление было после чтения. Все, конечно, поняли, что рассказ идет о родном для нас Екатеринбурге, о людях и делах пятидесятых и даже шестидесятых годов прошлого столетия. Отцы многих из присутствовавших, большею частью, уроженцев Урала, были современниками описываемых событий. Помню, что Чупин во время чтения и по его окончании принимал горячее участие в обсуждении прочитанного, вносил массу фактических замечаний и поправок. Мамин-Сибиряк охотно его слушал и все записывал на полях тетрадки. Все мы были в восторге от чтения Мамина-Сибиряка.

Помню, затем пели студенческие песни; сильное впечатление на меня произвела песня: „Проведемте, друзья, эту ночь веселей, пусть студентов семья соберется тесней". Куплеты к ней студенты запевали по очереди, когда дошла очередь до Мамина-Сибиряка, он запел: „Выпьем мы за того, кто „Что делать" писал, за героев его, за его идеал".

Вечеринка кончилась поздно, мы вернулись в генеральский дом уже на рассвете.

Я в эту ночь долго не мог уснуть, масса новых впечатлений, особенно ярких после монотонной, почти монастырской жизни в семинарии, глубоко захватила меня...

На другой день неожиданно вернулся мой отец, и мне с большим сожалением пришлось уехать из города; я успел только забежать к Чупину и сердечно поблагодарить его. Мне не пришлось больше видеть ни Чупина, ни Мамина-Сибиряка. Чупин, как известно, умер в следующем 1882 году.

Спустя много лет после этого памятного вечера в одном из журналов мне пришлось прочесть повесть Мамина-Сибиряка „Верный раб".

Я живо вспомнил вечеринку на генеральской даче, рассказ о Глинке, интерес, который тогда проявил к рассказу Мамин-Сибиряк. Я восхищался художественной формой, которую дал талантливый писатель фактам из жизни генерала, рассказанным тогда Чупиным. Мне думается по аналогии с этими случаями, что Мамин-Сибиряк многое получал от Наркиса Константиновича; по моему мнению, Чупин—знаток истории Урала, имеющий доступ ко всем архивам Горного правления, мог сообщить и сообщал, как я это видел, даровитому писателю ценные для него, мало кому известные материалы и факты заводской старины.

Свердловск. Март 1936 г.

П. Б.

ПОЕЗДКА Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА ПО ПРИИСКАМ

Как известно, Д. Н. Мамин написал предисловие к изданной городским головой И. И. Симоновым книге „Весь Екатеринбург"; в предисловии довольно подробно изложена была история г. Екатеринбурга. Интересуясь вопросом об отношении городского самоуправления к труду Д. Н. Мамина я обратился к заведующему архивом екатеринбурской городской управы Ивану Васильевичу Попову с просьбой посмотреть, не имеется ли в журналах думских заседаний того времени постановлений думы, касающихся уральского бытописателя и историка. Оказывается, И. В. Попов, знакомый с думскими журналами, подобных постановлений не замечал, а не заметить их, если бы они были, он не мог, так как Д. Н. Маминым-Сибиряком и всем, что относится к нему, очень интересуется, будучи с ним хорошо знаком когда-то.

Сидя в узкой и тесной, заставленной шкафами, заваленной грудами книг и бумаги каморке канцелярии И. В. Попова, мы разговорились о покойном Дмитрии Наркисовиче.

Воспоминания Попова относятся к концу восьмидесятых и началу девяностых годов, когда Д. Н. Мамин жил в Екатеринбурге. Воспоминания эти касаются поездок писателя по окрестностям города, приискам и заводам.

— Да,— рассказывал И. В. Попов,— подружились мы тогда с Дмитрием Наркисовичем, поездили не мало... Даже в писаниях своих отметил меня Д. Н.

И действительно, И. В. Попов выведен Маминым в очерках „Самоцветы" под именем Василия Васильевича[1].

И. В. Попов, бывший мелкий золотопромышленник, много лет служил в городском управлении; когда я с ним беседовал о Д. Н., он уже мало напоминал того „разбитного уральца", которым восхищался покойный Мамин в своих очерках[2].

Знакомство Попова с Маминым началось с семинарии, где они учились в одно время, а затем было продолжено по приезде Мамина

---

[1] „Самоцветы" впервые были напечатаны в 1890 г. в „Русской мысли".

[2] По сообщению А. А. Анфингоенова, И. В. Попов никогда не был золотопромышленником. Он работал в Окружном суде, откуда был снят и отдан под над-

на жительство в Екатеринбург. При посредстве Попова был куплен писателем дом на Соборной (Пушкинской) улице и лошадь для поездок по окрестностям.

Поездки эти вспоминаются Поповым с особенным удовольствием.

По своим делам, как золотопромышленник, он должен был часто выезжать из города на свой прииск „Надежный" на реке Маралке и в село Аятское, где у него также были прииск и усадьба.

В этих поездках нередко участвовал и Д. Н. Мамин, одно время увлекшийся золотопромышленностью и предполагавший принять участие в разработке нескольких заявок на золото.

— Заложим, бывало, в легкий коробок его лошадь и мою парой и едем полегоньку. Д. Н. был великолепным товарищем в поездках. Вечно у него находились темы для новых и новых рассказов, и пока коробок подпрыгивает по проселочной дороге, он говорит и говорит без умолку.

— Умел Мамин располагать к себе людей. Приезжаешь, бывало, в деревню, пока на квартире соображаешь насчет самовара и т. п., смотришь, на завалинке, около какой-нибудь избы, сидит Д. Н., а около него целая группа мужиков. Д. Н. их расспрашивает, они рассказывают. Говорят и о земле, и о местных чудесах и легендах.

Пробы на золото по реке Маралке оказались небогатыми, и Д. Н. с И. В. Поповым решили арендовать золотоносные участки земли у башкир, для чего и сделали несколько поездок за Шемахинский завод, в Арсланскую волость. Проба на золото здесь оказалась удачною, и „компаньоны" решили арендовать землю у башкир.

— Мамыниху рыть, — говорил в этих случаях Мамин, подразумевая добычу золота.

Разработка золотоносных участков на башкирских землях дальше проб не пошла — утверждение приговора башкир Арсланской волости было задержано в губернском присутствии.

Вспоминая о поездках к башкирам, И. В. Попов вновь восторгается уменьем Д. Н. расположить к себе людей, даже не зная их языка.

— Приезжаем к башкирам, они обедают — в котле вареная баранина, любимое их кушанье, которое они с завидным аппетитом и едят без помощи вилок, забирая мясо из котла и отправляя его в рот прямо руками. „Садись, барин, — приглашают башкиры Мамина, — отведай нашей еды", и Д. Н., „ничтоже сумняшеся", садится и, по примеру башкир-хозяев, начинает „ашать" из котла, доставая мясо руками, сидя перед котлом по-восточному, без стула. Башкиры полюбили Мамина и позднее, когда он просил их сварить нам „шарбу" — уху, стараясь угодить ему, клали в нее лучшую рыбу.

При поездках к башкирам путникам приходилось проезжать через Н.-Сергинский завод, курорт минеральных вод, который находился тогда в аренде у покойного доктора Доброхотова. Однажды ночь за-

---

зор местной полиции за излишнюю настойчивость в деле о крестьянских покосах в Невьянском заводе.

У И. В. Попова, так же как и Д. Н. Мамина, было желание заняться золотом, но ни у того, ни у другого оно никогда не осуществилось... Все ограничивалось теми дружескими, а для Мамина „творческими" поездками, о которых И. В. Попов пишет. Сохранились три письма Д. Н. к Попову. В одном из них Д. Н. пишет о материалах о суде, которые ему собирается послать Попов, и о своей работе. Письма говорят об очень близких дружеских отношениях.

стала путешественников-золотопромышленников около завода. Решено было переночевать, но в гостинице не оказалось свободных номеров. Недолго думая, Мамин и его спутник останавливаются на площади перед гостиницей, раскладывают огонь для чайника и устраиваются на ночлег. Эта „вольность“ была замечена арендатором курорта; но лишь только весть о том, что на площади располагается на ночлег писатель Мамин-Сибиряк, дошла до Доброхотова, немедленно к путникам явилась „депутация“ с приглашением в гостиницу, где каким-то образом был освобожден плохонький номерок.

На курорте, по просьбе хозяина и дачников, Д. Н. Мамин остался на несколько дней, превратившихся в несколько недель. Время шло незаметно среди постоянных пикников, обедов, вечеров и т. п. Неистощимый запас у Д. Н. анекдотов и историй делал его интересным и незаменимым членом всех тогдашних собраний дачников.

Заезжали и в Ревдинский завод. Здесь Мамин интересовался залежами руды алюминия, который заводоуправление предполагало тогда добывать вблизи завода, вверх по реке Чусовой, но попытка добычи оказалась неудачной — шахты заливало водой. Работали водоотливные машины. Д. Н. спускался в шахты, осматривал начатые работы и затем говорил управляющему заводами: „Не стоит работать. Не откачать вам всей воды из Чусовой“,— предполагая, что вода просачивается в шахты из реки.

Поездки по приискам и заводам нравились Мамину и Попову; они предпринимают поездку в село Мурзинку Верхотурского уезда— центр добычи уральских самоцветов. Этой поездке Мамин и посвящает очерки „Самоцветы“.

Поездки с И. В. Поповым дали Д. Н. много материала для дальнейших его работ; эти поездки Мамин использовал с возможной полнотой — во время их осматривались достопримечательности, наводились справки об истории заводов, их деятельности, собирались легенды, записывались сказки.

Скоро Д. Н. уезжает в Петербург, и совместные поездки его с И. В. Поповым прекращаются навсегда.

— Вот осталась у меня память от Д. Н.,— говорит Попов, доставая из стола деревянную трубку с длинным мундштуком и серебряными украшениями.

— „Трубка дружбы“, подарил ее мне Д. Н., когда в 1902 году я приезжал к нему в Петербург. После обеда сидели курили, и на прощанье он отдал мне ту трубку, из которой всегда курил.

Трубка эта — гордость И. В. Попова, как и брошюры Д. Н. Мамина с описанием совместных поездок.

В низкой комнате архива тесно и сыро, пахнет гнилью и старой бумагой, но И. В. Попов оживляется от воспоминаний невозвратно ушедшего и как бы вновь переживает встречи и поездки по приискам и заводам с Д. Н. Маминым-Сибиряком.

Из первого сборника „Зауральского края“— „Урал“, посвященного памяти писателя Мамина-Сибиряка. Екб. 1913 г., стр. 77—79.

А. И. ШУБИН

Д. Н. МАМИН В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Екатеринбург времен Мамина-Сибиряка (80—90-е годы) был городом, далеко не похожим на старые русские города с их устоявшимся бытом, полагающимся служилым людом, именитым купечеством и серой безликой мещанской массой.

Екатеринбург был центром уральской горной промышленности, отправным пунктом торговой и промышленной политики обширнейшего и богатейшего края. Он был крепко связан с Сибирью и центральными российскими губерниями металлургическим производством, грандиозным Ирбитским торжищем, приискательскими нитями, тянувшимися отсюда до Алтая и далее. Старообрядчество, осевшее за „Каменным Поясом", еще до демидовщины протягивало невидимые, но крепчайшие связи буквально от „сырой земли до окияна синего". Оно собирало на Невьянских „Веселых горах", у могил чтимых старцев, и в потайных молельнях не только староверов оренбургского, сибирского, южного казачества, но и московских и иных ревнителей „древлего благочестия" со всей страны.

Взбадриваемый то неожиданным потоком живительной „золотой крупки", то открытием каких-нибудь самоцветов или терпящий временную депрессию по случаю падения цен на металл и т. п., этот, уже и тогда преимущественно индустриальный, город жил своеобразной, необычайно интенсивной для тех времен жизнью.

Горные богатства, неисчерпаемые возможности для „счастья", жесткие условия борьбы с природой, дикое помпадурство горных набобов, хитрейшие происки горных чиновников, горной полиции и множество других своеобразных условий — быстро обогащали одних, пускали „в трубу" других, а в результате из большинства выковывали невероятно упорных, упрямых борцов за личную долю или за торжество своей инициативы.

Именитое купечество — столпы старообрядчества, крупные и мелкие хлебные дельцы, всевозможные заводские поставщики, промышленники-салогузы (салотопы); золотопромышленники, также в значительной доле близкие „старой вере", множество всевозможных ремесленников и ремесленниц (вышивальщицы, гипюрщицы, кружевницы), ювелиры, гранильщики самоцветов, „горщики" (знатоки недр, самоучки-геологи),

горнозаводские рабочие и рабочие разнообразных предприятий и производств, служащие всякого рода предприятий, связанных с заводской деятельностью, торговлей, и казенные „присяжные строки“ и, наконец, непомерно разросшийся круг горного чиновничества и начальства,— все это жило своей особой напряженной жизнью и в целом представляло исключительную по пестроте и сложности картину.

Самое незначительное место занимала в этой картине интеллигенция, так как ее было в этом своеобразном окраинном городе мало и она необычайно быстро и легко включалась в общий тон горнопромышленных, торговых интересов и теряла свое лицо. Однако и тогда были незначительные группы, кружки интеллигенции, объединявшейся на почве увлечения наукой, музыкой, театром, литературой, религиозно-мистическими и отчасти политическими вопросами.

Именно таким кружком являлась та кучка интеллигенции, которая окружала Д. Н. Мамина в годы его жизни в Екатеринбурге.

Пишущий эти строки, коренной уралец, проживший более полусотни лет в своем родном Екатеринбурге —Свердловске, был лично знаком с лучшим и едва ли не самым близким другом (в свое время единственно близким) Мамина — Марией Якимовной Алексеевой[1].

Одинокая, многими забытая, доживала свои дни эта интереснейшая из екатеринбургских женщин.

Под бременем всяческих невзгод, болезней, она шла к концу в ореоле понятной, прекрасной мудрости, ясных мыслей и своеобразной красоты, какие редко сопутствуют старости — последним дням человеческой жизни.

М. Я. умерла в 1921 году. Проходя по старой узенькой улице Загвоздкина (бывшая 2-я Береговая) мимо выцветшего деревянного дома, невольно остановишься в ожидании, что вот откроют окно, и чьи-то задушевные голоса, переплетаясь в красивом узоре мелодии, под мастерской аккомпанемент исполнят что-нибудь из Чайковского, Глинки, Бородина...

Или в глубоких сумерках старых комнат вспыхнут в медных тонконогих подсвечниках быстро оплывающие свечи, и возбужденные голоса нарушат вечернюю тишину. Кто-то что-то будет неистово доказывать, и спорщики даже не заметят, что заря уже заискрилась над сонным городом...

Нет... Не осталось и следа от былых жильцов старого дома, от их гостей и от дней истекших.

Тут жила Мария Якимовна — центр оригинального интимного кружка, объединявшего в 90-е годы горсточку самых культурных, передовых людей, какие были в городе в ту глухую пору.

Мне удалось познакомиться с Марией Якимовной, когда давно сошли в могилу многие приходившие сюда, сидевшие здесь вечерами, когда не было уже и самого любимого писателя. Но в старом доме все еще пели струны рояля, звучали филигранно-тонкие сонаты. Новые люди от литературы и искусства шли сюда по маминской тропе к замечательной женщине, уже запушенной серебряным инеем многих прожитых годов. Здесь еще вспыхивали страстные споры, едкие сатиры-импровизации, а на старых книгах, портретах чувствовались неизгла-

---

[1] См. статью В. Чекина.

Д. Н. Мамин-Сибиряк в кабинете одного из друзей (1890 г.).

димые следы автора угрюмых чусовских „Бойцов“, уральских рассказов, овеянных смолистым ароматом пихт и ельников.

В одной особенно интимной беседе М. Я. передала мне некоторые подробности о жизни Мамина в Екатеринбурге, о его первых литературных шагах.

Это был 1921 год. В низкой комнате все того же старого дома мы сидим вдвоем с Марией Якимовной.

По-осеннему сумрачно. Только что ушла ее маленькая ученица, и над открытой клавиатурой рояля все еще распахнута нотная папка с какими-то упражнениями юргенсоновского издания. Мы пьем из низеньких живописных чашечек отличный морковный чай, заботливо приготовленный самой хлопотливой хозяйкой.

По совести говоря, мне тяжело в тесноте, среди запыленных, тлеющих вещей, книг, нот... Но моя собеседница прогоняет, вспугивает мои черные мысли, вновь засверкавши добрыми глазами, продолжая оборвавшуюся было беседу.

— Вы спрашиваете, почему Дмитрий Наркисович бывал даже у директора Сибирского банка Ильи Захаровича Маклецкого. Что же тут удивительного?

— Мария Якимовна, так я же удивился тому, что могло быть общего между писателем Маминым и директором банка.

— Не забывайте никогда — Мамин был очень чутким. Он умел находить непосредственное, оригинальное, сильное, а по пути находил и другой писательский материал, изучал обстановку самой разнообразной людской среды. Неужели вы забыли, с чьим именем связано возникновение здесь музыкального училища? А до этого кто был одним из главных зачинщиков музыкального кружка и первых оперных постановок?

Мне осталось только смутиться. Я вспомнил далекие годы и широко известного городу мецената-музыканта, не плохого акварелиста И. З. Маклецкого. Изящные акварельные пейзажи Маклецкого хранились давно в музее, а его огромная работа для первых оперных постановок (даже бутафорский реквизит изготовлялся у него дома, при его участии) осталась в памяти музыкального общества города. Да, у такого директора банка писатель мог найти много интересного и мог встречать не мало всякого рода людей, имевших отношение к чисто банковским делам.

— Поняли,— спросила, улыбаясь, Мария Якимовна и, осторожно выводя меня из смущения, добавила:— Дмитрий Наркисович умел находить оригинальных людей и дорогу к тому, что его интересовало.

Мне уже не трудно было направить разговор в желаемое русло.

— Мария Якимовна, расскажите мне о жизни Мамина в нашем городе и о себе.

Дымка нежной грусти слегка омрачила ее спокойное, старческое лицо. Вероятно, это был последний прилив воспоминаний о далеком, последняя встреча с дорогим, навсегда минувшим, поднятым из небытия нашей интимной беседой. Я твердо знаю, что после этого дня никто не волновал Марию Якимовну воспоминаниями, потому что вскоре она скончалась.

— Я не буду повторять то, что вам давно известно и даже было в печати. В нашем кружке были юристы, судебные деятели, студенты, завертывали к нам и доктора. Но только бывали те, про которых говорится

„се жив человек“, то-есть любившие литературу, искусство, увлекавшиеся многими вопросами. Бывало у нас шумно, весело. Иной вечер проходил в горячих спорах о религии, о поэзии, о музыке. Никогда не уйдут из памяти такие интересные наши постоянные гости, как И. Н. Климшин — друг Дмитрия Наркисовича, Н. В. Казанцев, впоследствии ставший писателем-новеллистом. Казанцев тоже был большой друг нашего Золя, как и А. А. Фолькман и Н. Ф. Магницкий. Трудно забыть Ольхина, сосланного в Екатеринбург, автора удачного либретто для оперы, не напечатанного по цензурным условиям.

Климшин был большой комик, стихотворец, экспромптист. Он любил петь, не имея голоса, но прекрасно зная ноты. Иногда мы давали простор его страсти, и он с увлечением, забывая все на свете и терзая наш слух, перепевал за вечер фистулой целую кипу нот... Послушали бы вы, как они спорили! Но все споры оживлялись живым литературным словом. Бывало, даже в спорах о религии они доказывали правоту своих взглядов стихами.

Дмитрий Наркисович принимал самое живое участие в этих спорах. Он был горяч по характеру...

Мария Якимовна задумалась.

— Он был удивительно полон духовно. В нем много было жизни. У Дмитрия Наркисовича была огромная сила воли. Он мог преодолевать невероятные препятствия, но и других увлекал к этому. Рядом с буйным духом своеволия в нем уживались самые теплые, мягкие черты.

Я расскажу вам несколько случаев из его жизни, и вы поймете, какой большой внутренней силой обладал наш Мамин...

Если бы не он, то не появилась бы книга уральских новелл Н. В. Казанцева.

В молодости Казанцев жил широко, много кутил со своим братом. Увлечение литературой сблизило его с Маминым. И все-таки он не шел дальше пробы пера.

Слишком бурная жизнь в молодости имела последствия. Казанцев заболел, у него отнялись ноги и, как вы знаете, он 17 лет просидел в кресле, то-есть до самой своей смерти.

Переход к вечному сидению, к безнадежной неподвижности страшно подействовал на Казанцева. Он был близок к самоубийству.

И вот в это время Дмитрий Наркисович настоятельно посоветовал ему писать уральские рассказы, для которых он имел большой житейский материал и дарование.

Н. В. воспрянул духом, увлекся литературным трудом, что и осмыслило его тяжелое существование. Дмитрий Наркисович написал проникнутое теплым чувством предисловие к тем „Повестям и рассказам“, которые написал по его совету Казанцев.[1]

---

[1] „Повести и рассказы“ Н. В. Казанцева (1849—1904 гг.) вышли в свет в 1898 г. в Екатеринбурге. Предисловие рекомендует читателю автора в весьма лестной для последнего форме, даже более лестной, чем это заслуживает книга. Не лишенный некоторого таланта, много печатавшийся как в уральских, так и центральных („Артист“, „Наблюдатель“, „Живописное обозрение“, „Сын отечества“ и др.) журналах и газетах, Казанцев является одним из наименее интересных уральских писателей. Отсутствие целеустремленности, определенного направления в его работе, углубление в буквально детальное изображение личных, семейных переживаний, делают его произведения лишенными значительности для читателя, отмеченными тем, что принято „литературщиной“, т. е. оторванными от породив-

Мария Якимовна говорила, не умолкая, лишь изредка делая короткие паузы, чтобы глубже заглянуть в свое прошлое.

— Мамин был истовый уралец — крепкий, не поклонливый. Если он другим помогал преодолевать препятствия, то сам-то уж боролся за себя еще отважнее. Мне пришлось пережить с ним много первых творческих огорчений. Быть может, вы не поверите, но Дмитрию Наркисовичу достались очень тяжело его первые произведения. Это была пытка, муки-мученические... И в то же время он сразу уверовал в свои силы и признал сам себя писателем.

У Дмитрия Наркисовича в языке был сначала большой недостаток — его периоды были длиннейшие, выражения семинарские...

Я поехала с ним в Петербург. Он понес рукопись, я осталась в номере гостиницы. Жду — нет Мамина. Вернулся бледный, злой. Даже не прочитал пометки редактора, собрался и опять куда-то ушел. Оказалось, он забрался к управляющему гостиницы и так там напился, что и выйти нельзя.

Наконец, является ко мне сам управляющий и тревожно сообщает:

— Мамин у нас сидит, ему надо помочь.

— Что с чим?

— Да он уж и воду холодную на голову лил, а все не может оправиться — пьяный тяжко...

Дмитрий Наркисович очень внимательно относился ко всем моим замечаниям, он ценил мои советы. Я узнала это совершенно неожиданно.

В одну из поездок в Петербург пришел ко мне в гостиницу незнакомец, наружностью своей похожий на артиста.

— Вы Алексеева?—спросил он, чрезвычайно радушно пожимая мне руку.

— Как вы меня знаете?

— Так вы ведь приехали с Маминым-Сибиряком!

— Да, он приехал...

— А я Карпов. Не откажитесь почитать и отредактировать мою пьесу „На земской ниве".

— Я то тут при чем?

— Я знаю, Мамина вы редактировали...

Я не могла отказаться. Мой новый знакомец был прост и по-настоящему искренен.

Это оказался известный в то время артист Карпов, впоследствии драматург. „На земской ниве" было его первое произведение, с которым он приехал в столицу. Кто, кроме Мамина, мог сказать ему о моих небольших редакторских способностях, которые могут быть пригодны для начинающего автора.

Я основательно почеркала карповскую рукопись, добросовестно сократила его огромные монологи. Карпов поблагодарил меня и всю ночь перерабатывал пьесу. Потом он снес ее в редакцию, и она была принята в печать.

Вспоминая Мамина, нельзя не сказать: он никогда не выражал особой радости по поводу своих литературных успехов. И в этом отражалась его большая внутренняя сила.

шей их жизни. Ни учеником, ни последователем Мамина, как думали некоторые из современников, Казанцев не был и не имел данных, чтоб им быть. Один из самых плодовитых уральцев-писателей, он оказался и одним из самых забытых.

Продолжительная беседа утомила Марию Якимовну, переволновала ее. Мы прощались с ней поздним вечером, когда город засыпал, а ее угрюмое жилище стало еще неприветливее.

Пожимая старческую дрогнувшую руку, я искренне благодарил первого друга нашего замечательного художника за откровенно переданное мне о его жизни в нашем городе в пору его литературной молодости.

Провожая меня до порога, Мария Якимовна уверенно сказала:

— Я еще должна вам сказать о Дмитрии Наркисовиче много, много интересного.

Но я предчувствовал, что никаких бесед здесь больше уже не будет. Предчувствие меня не обмануло. Это был последний разговор.

Кроме встречи с Марией Якимовной, мне приходилось встречаться и с другими современниками, близкими Мамину, и неоднократно с ними беседовать.

Особенно интересное сообщение пришлось слышать от екатеринбургского рабочего-переплетчика А. И. Степанова.

А. И. Степанов работал в детские годы учеником в переплетной мастерской Д. А. Кругляшева.

Мастерская помещалась на углу Тимофеевской набережной (теперь Набережная рабочей молодежи) и Щипановского переулка.

Этот любопытный, своеобразный человек с детства увлекался театром и еще мальчиком пытался „по секрету" писать пьесы. Но жизненные обстоятельства, борьба за существование отвлекли А. И. от этих попыток, и склонность его к литературе потом выразилась лишь в любви к книге. Переплетая художественные произведения, он никогда не мог утерпеть, чтобы не заглянуть в книгу „по-читательски" и урывками не познакомиться с ее содержанием, не повосхищаться художественным словом, которым ему не удалось овладеть.

Из наших многочисленных бесед я узнал от А. И. о его двух встречах с Д. Н. Маминым. Встречи эти произошли в своеобразной обстановке. Они показывают, насколько велики были стремления писателя-бытовика проникнуть во все поры жизни и быта.

Дмитрий Наркисович отдавал Кругляшеву в переплет свои книги, для чего заходил сам и даже, по словам Степанова, иногда пил у хозяина чай. Знакомство продолжалось и тогда, когда Мамин уже не жил в Екатеринбурге, а только бывал здесь временно.

Мало кто знает, что еще до революции 1905 года в Екатеринбурге было два рабочих театра. А они были. Один при маленькой обойной фабрике Орлова, другой как раз при кругляшевской переплетной мастерской. У Кругляшева была устроена сцена, имелись декорации, занавес с намалеванным морским пейзажем и маской Пушкина. Кругляшев сам любил театр, а среди его рабочих были не пустяковые любители искусства. Но владелец мастерской и не подозревал, что для его рабочих домашний театр был не только источником эстетических удовольствий, но и местом политических встреч. От революционного подполья сюда, к рабочей рампе, тянулись невидимые нити. Именно здесь вызрела группа революционеров, из которых близкий родственник Кругляшева, Кругляшев же, и его политические единомышленники были осуждены (Кругляшев казнен) по делу об экспроприации.

Хорошо сколоченная рабочая труппа (в ней участвовали и рабочие со стороны) ставила „Мачеху“, „Простушку и воспитанную“, „Волчьи зубы“, „Горькую судьбину“ и другие пьесы, пользовавшиеся тогда вниманием широкого зрителя.

По словам А. И. Степанова, однажды старший рабочий мастерской К. П. Белых предложил хозяину:

— Дмитрий Алексеевич, вы пригласили бы писателя Мамина на наш спектакль. Может быть, что-нибудь он и напишет об этом.

И вот Дмитрий Наркисович пришел. Он был в плаще, надетом внакидку. На него никто не обратил особого внимания, так он был прост, да его видали и раньше, как обычного заказчика мастерской.

— Для меня слово писатель,—говорит Александр Иванович,—было тогда полно таинственности и недосягаемости. Я сам украдкой, поребячьи писал каракулями нето статейки, нето наброски... Я и не знал в то время, какой это большой писатель Мамин.

К сожалению, А. И. не мог сказать ничего больше об этом посещении Мамина.

— Вторично мне пришлось встретить Мамина,—говорит он,—в деревне Коптяках, на даче хозяина. Коптяки находятся на берегу озера Исетского (близ города). Сюда кругляшевские рабочие приходили иногда, в летние праздники, со своими семьями и устраивали гулянку с выпивкой. Так же однажды и я угодил в деревню Коптяки. Смотрим — там уж писатель Мамин погуливает.

— Это ведь тот самый, писатель,— говорили некоторые рабочие, вспомнив, что Мамин бывал с заказами в переплетной и на спектакле.

Начался наш праздник — кто куда, кто чем развлекается. Пошел я в дачный сад. Смотрю — на завалинке у старой бани сидит писатель Мамин, одетый в „крылатку“ внакидку. Сидит он один и, видимо, что-то задумался.

Тут взяло меня любопытство. Захотелось мне, мальчишке, поговорить с писателем: дай спрошу, а самому стыдно и начать. Решился-таки:

— Вы, говорят, пишете, сочиняете?..

Мамин с удивлением посмотрел на меня.— Пишу,—ответил он довольно угрюмо,— а вам-то что?..

Я уж осмелел и выпалил:—Я тоже писать хочу.

Мамин внимательно оглядел меня, улыбнулся:—Это не легко. Тяжелый это путь. Нужно сначала жизнь узнать, потом уж и сочинять.

Тут уж я разошелся.—Правда, нет — за сочинительство в тюрьму садят? Мой дядя много учился, его и посадили. Он все говорил — всю жизнь без конца надо учиться. А сам и доучился, его и посадили.

Мамин покачал головой:—Да, это правда.

Кто-то пришел в сад, и писатель поднялся с завалинки. Он пошел из сада, бросив на меня внимательный взгляд.

С тех пор я не видал Мамина, никогда больше с ним не встречался.

Через несколько лет попали мне в переплет сочинения Мамина-Сибиряка. Я увидал в книге его портрет и тогда только понял, с каким большим писателем имел, еще будучи мальчишкой, такой интересный разговор. „Так вот с каким Маминым я говорил“,—обрадовался я. С большой охотой я тогда прочитал его произведения.

Конечно, это одна из многих встреч.

Мамин до конца жизни сохранил и желание и умение быть близким к простому люду.

Свердловск. Май 1936 г.

В. П. ЛУКАНИН

ДЯДЯ МИТЯ

Я вспоминаю себя ребенком.

Около меня мои родные и среди них веселое смеющееся лицо Дмитрия Наркисовича, или, как мы, дети, его звали, дяди Мити, а кто он— мне не было до этого дела. К нам, детям, он был очень ласков, любил с нами играть, шалить, кататься на лодке, дарил нам свои книжки с картинками, свои сказки.

Когда мы с сестренкой подросли и после долгой разлуки — он уезжал— снова увидели своего дядю, мы сначала стали сторониться его: неохотно отвечали на его ласковые вопросы, смущались, стеснялись, так как из разговоров взрослых уже знали, что это известный писатель, знаменитый человек. Но воспоминания детства взяли верх, и мы попрежнему веселились и играли с дядей Митей.

Очень общительный и родственный был человек Д. Н. Он непременно старался не только увидаться со всеми своими родными, но и погостить у них, не забывал их в своих письмах и в целом ряде произведений описывал их незатейливую жизнь.

Например, в воспоминаниях Д. Н. „Из далекого прошлого“ я узнаю свою бабушку Авдотью Матвеевну — родную тетку писателя, или, как он называл ее, „тетю Душу“. Моя старая седая бабушка встает передо мной красивой, бойкой девушкой, которая наполняла веселой суматохой весь дом. „Особенно я любил,— пишет Д. Н.,— когда красавица Душа что-нибудь пела своим свежим девичьим голосом. Дедушка Матвей Петрович был строг, и все его боялись, за исключением одной Души“.

Часто Д. Н. ездил в деревню к моему отцу, своему двоюродному брату, которого искренне любил. Веселился у него на свадьбе, участвовал, уже на моей памяти, в наших семейных торжествах (дни рождения, именин и т. п.). Приезжал Д. Н. к нам обычно на несколько дней. У него уже были знакомые — заядлые деревенские охотники, с которыми он часто отправлялся на охоту и делал какие-то раскопки. Однажды недалеко от нашего села Д. Н. со своими приятелями-крестьянами отрыл кости мамонта и сделал ряд других находок[1].

---

[1]) Мамин производил археологические изыскания в 1888 г. как член УОЛЕ, по поручению археологической компании. В газете „Уральская жизнь“ есть сообщение о его докладе в УОЛЕ о результатах изысканий.

Удивительно подвижной, всем интересующийся человек, он находил время заниматься столярной работой, при чем сделал несколько простых столов, хороший письменный стол и т. п. Занимался даже куроводством — внизу своего дома в Екатеринбурге он устроил образцовый курятник и разводил породистых кур. Сам же разбил около дома садик, в котором выращивал сибирские яблони и различные ягодные кусты.

Горячо любил Д. Н. свою родину — Урал, людей Урала, его крестьян, его простой рабочий люд.

Я вспоминаю, как каждый раз, когда он приезжал к нам в Екатеринбург, он непременно шел на базар в „Обжорку"— столовую для крестьян, приезжающих продавать овощи, хлеб и прочий деревенский товар. Обычно это был большой сарай без стен, только с крышей; здесь была устроена плита и можно было за дешевую плату получить горячий обед, особенно же недурно приготовленные пельмени. Шум, гам, говор, народные остроты, прибаутки, а иногда и целые рассказы о жизни местных уральцев — и богачей, и бедняков, и старателей, и приисковых рабочих и т. п.— все это можно было услышать в этом сарае. Помню, мы удивлялись, зачем Д. Н. туда ходит и ест там пельмени, когда дома готовят гораздо вкуснее. Теперь, конечно, ясно, что он ходил туда не за пельменями.

Был у Д. Н. брат Николай, человек больной, но большой мастер рассказывать о виденном и слышанном. Он нигде не мог устроиться на службу и главным образом жил в качестве „секретаря" у екатеринбургских „благочинных". Он получал помощь от брата, но ему было поставлено условие — сообщать в письмах Д. Н. о всем виденном и слышанном среди сельского уральского духовенства. За это Николая сильно недолюбливали его начальники — „благочинные", особенно, когда им приходилось читать в произведениях Д. Н. описания лиц, характеров, похожих на них.

Меня интересовало, почему именно в нашей семье вырос такой талантливый писатель. Оказывается, что здесь можно говорить о наследственности и о влиянии близких. Среди родных Д. Н. были люди, которые до него занимались литературной деятельностью. Например, его родственник Степан Александрович Луканин написал ряд работ по истории русского раскола. Дед — Семен Степанович в семинарии отличался своими сочинениями. Д. Н. рассказывает в своих воспоминаниях („Из далекого прошлого"), как он отыскал „в кладовой какие-то необыкновенные синие рукописи, переплетенные в тома. Это были семинарские сочинения дедушки, писанные на латинском языке. Дед учился еще в ту пору, когда в семинариях царил этот язык и семинаристы не только писали, но вели диспуты по-латыни"[1]. Отец писателя Наркис Матвеевич не писал, но он любил книги и чтение, главным образом „светское". Этому он научил и сына; не даром Дмитрий Наркисович с такой любовью вспоминает „висимский книжный шкаф" и своих любимых авторов. „В нашем доме, — пишет он, — книга

[1] Чрезвычайно интересно отметить, что в числе авторов „Ипокрены, превращающейся в Иртыш", журнала выходившего в 1790—1791 гг. в Тобольске, упоминается имя Матвея Мамина Не был ли это дед писателя по линии отца— Наркиса Матвеевича. Имя Матвея Петровича Мамина, дьякона из селения Покровского, упоминается, хотя совершенно в другой связи, в дневнике купца Набатова за 1845 г.

играла главную роль, и отец пользовался каждой свободной минутой, чтобы заняться чтением". Но не просто безалаберным чтением занимались в этом доме. Здесь следили за общественной жизнью и в высшей степени участливо относились к реформе, которую ждали, которую благословляли, потому что совершенно ясно видели тот гнет и безудержное насилие, которое царствовало кругом.

„Кроме классиков, в нашем доме,—пишет Д. Н.,—начали уже появляться издания начала шестидесятых годов, и отлично помню, как отец приносил новые книжки от заводского управителя. Я, конечно, не мог воспользоваться этими новыми книгами и только был свидетелем, как их читали и о них говорили".

Какое огромное влияние на сына имел отец и как это влияние ценил последний, видно из его слов: „Не было ни одного горького воспоминания, ни одного детского упрека, и чем дальше я думал, тем выше и выше вырастал в моих глазах этот благословивший мое детство образ..."

Большое влияние оказала очевидно на сына и его мать Анна Семеновна. Это была в высшей степени умная, начитанная женщина. Все знавшие ее удивлялись ее образованности, светскости, ее памяти. Она многие произведения Пушкина, Гоголя, Некрасова до глубокой старости знала наизусть. Так интересно с ней было говорить, так она сведуща была даже в истории русской литературы, что совершенно не походила на ту пресловутую „деревенскую попадью", которую многие из наших писателей рисовали в своих произведениях.

Д. Н. глубоко уважал и ценил мать. Его письма к ней проникнуты и любовью, и беспредельным уважением, и благодарностью за то, что она сумела ему дать.

Нельзя не отметить также некоторого влияния, оказанного на воображение писателя сказками, рассказами его няни, которую Д. Н. искренне любил и не оставлял до самой ее смерти, посылая ей ежемесячно довольно крупные по тому времени суммы денег.

Мне кажется, не могло не отразиться на Д. Н. его пребывание в пермской духовной семинарии. Несмотря на все отрицательные стороны этого типа учебных заведений, там умели заставлять писать и учили этому искусству.

Пермская же семинария была одной из немногих семинарий, где явно царил дух бунтарства, который заставлял семинаристов критически относиться к окружающему и искать из него выхода. Там издавна существовали нелегальные кружки, подпольные библиотеки. Этот дух недовольства в наше время вылился в организацию партийных кружков, которые перед 1905 г. уже представляли собой мощную организацию, имевшую связь с такой же организацией Мотовилихинского завода. Конечно, такая закваска не могла не сказаться на развитии Д. Н. Она-то, возможно, и придала отпечаток гуманности, безусловного осуждения существующего порядка,— черта таланта Д. Н., которую в настоящее время справедливо оценила советская общественность.

Свердловск. Май 1936 г.

Д. УДИНЦЕВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МАМИНЕ-СИБИРЯКЕ

Чрезмерная откровенность настолько же неприлична, как совершенная нагота.

Бекон.

Мои первые встречи с покойным Дмитрием Наркисовичем относятся к периоду, когда здесь, в Екатеринбурге, существовала „покойная“ „Екатеринбургская неделя“.

Уральские читатели отлично помнят этот первый еженедельник на Урале.

Возникла „Неделя“ в кружке местной екатеринбургской интеллигенции. Пока жила она, ближайшим ее пестуном был Петр Николаевич Галин (Нил-Аг).

Умерла „Неделя“ с появлением в Екатеринбурге издателя „Урала“ Чекана. В местном музее Уральского общества любителей естествознания хранится полный комплект „Недели“, завещанный музею покойным Петром Николаевичем, с его собственноручной надписью, в которой Нил-Аг, как всегда и везде, обнаружил свое богатое остроумие.

„Родилась тогда-то... умерла от руки Ч. тогда-то...“[1]

Довольно долгое время Нил-Аг был большим приятелем Дмитрия Наркисовича. Потом они поссорились и поссорились по какому-то самому пустому поводу, что так похоже на покойного Сибиряка...

Помню, на мой вопрос о причине ссоры, оба они мне рассказывали, что это поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.

---

[1] Большой том „Екатеринбургской недели“, первой частной газеты на Урале, переплетен в коленкор и имеет следующую тисненную золотом надпись:

„Екатеринбургская неделя“
родилась 25 июля 1879 года.
Восприемниками были
Н. К. Штейнфельд и А. А. Полкова.
Воспитателями—
П. Н. Галин и А. М. Симонов.
Скончалась насильственной смертью от руки
ст. сов. В. Г. Чекан
22 декабря 1896 года.
Всего житня ей было 17 лет
4 месяца и 27 дней.
Вечная память.

У Сибиряка такие конфликты с приятелями были не редкость. Я помню несколько случаев, когда Сибиряк и здесь, в Екатеринбурге, и потом — в Петербурге поражал публику своей страшно нервной натурой, своей вспыльчивостью...

Никогда не забуду случая, когда Мамин-Сибиряк на моих глазах поссорился здесь, в Екатеринбурге, с одним своим самым близким другом.

Мамин-Сибиряк и некто К. были большие друзья. Между ними, помню, всегда происходили оживленные беседы на чисто литературные темы. Нужно сказать, что К. был всегда и теперь остался большим библиофилом. Вы от него можете узнать о каком угодно литературном произведении: когда оно написано и где — чуть ли не на какой странице какого журнала напечатано.

И вот в начале одной из бесед у Мамина-Сибиряка с библиофилом К. шел серьезный разговор по поводу какой-то статьи, помещенной в „Современнике". Разговор сначала шел довольно мирным темпом, потом, когда зашла речь о странице журнала, на которой начата была печатанием спорная статья, разговор начал принимать все более и более обостренный характер. Наконец, спор так разгорелся, что, в конце концов, обе стороны из приятелей сделались кровными врагами...

Поссорившись таким же образом с Галиным, Сибиряк ушел из „Недели"[1].

Так совпали тогда обстоятельства, что ближе я сошелся с Сибиряком именно в этот период времени.

Часто очень начал я встречаться с Сибиряком в доме Марьи Якимовны Алексеевой. Дом М. Я. был местом, где постоянно собирался, так сказать, цвет екатеринбургской интеллигенции. В беседах за чайным столом всегда разливалось целое море остроумия... И центральной фигурой этих бесед всегда был Дмитрий Наркисович.

Нужно отметить совершенно особенную черту покойного писателя. Он сам часто говорил, что он пишет „походя". Его всегда остроумные беседы непременно и очень быстро выливались в его литературные произведения.

Помогала ему в этом отношении одна редкая и богатая способность: схватывать все, как говорится, на лету.

По этому поводу я переношусь сразу в Петербург и вспоминаю следующие случаи.

Попадаю я с Дмитрием Наркисовичем в компанию писателей. Николай Константинович Михайловский, Сергей Николаевич Южаков —

---

[1] В данном случае едва ли ссора была вызвана только Д. Н. П. М. Сивков в своей статье „Газетное дело на Урале" (Пермский краеведческий сборник, вып. IV, Пермь, 1928 г.) пишет:

„Кружок постоянных сотрудников был не велик и редел все более и более. А ведь было время, когда в „Екатеринбургской неделе" принимали участие видные литературные силы: печатал рассказы Д. Н. Мамин-Сибиряк, Мачтет, Салов, Коринфский (видные по тому времени писатели); из местных сил участие принимали в газете: И. Т. Остроумов, Н. В. Остроумова, П. П. Баснин, Ф. Ф. Филимонов и др.,—они много способствовали созданию доброго имени „Екатеринбургской недели". Однако все они один за другим отходили от „Екатеринбургской недели", главным образом из-за слишком резкого характера Галина. Он сумел жестоко поссориться и порвать связь с Остроумовым, Маминым, Басниным, Филимоновым...

„Екатеринбургская неделя" заметно хирела, становилась вялой, скучноватой, обезличивалась..." „В минуту гнева, возбуждения,—пишет Сивков про Галина,— он делался резок, нестерпимо свиреп, и с его языка сыпались тогда вместе с сарказмами самые непечатные ругательства".

все ушедшие люди. Николай Константинович был близкий друг покойного Сибиряка; они, кажется, не могли жить друг без друга.

Попали мы на Пушкинскую улицу, в грязный ресторанишко, который слыл у писателей под названием „Ямка“.

Это было, кажется, в 1893 г. Со мной же были два моих брата; один из них только что вернулся тогда с Урала. Как раз в это время здесь, на Урале, проектировалась теперь уже строящаяся, так называемая, Тавдинская железная дорога. Первый проект дороги составлял инженер путей сообщения известный писатель Гарин-Михайловский. По рассказам моего брата, разведочной партии Михайловского приходилось итти по самым глухим местам Зауралья. В деревнях, где партия запасалась провизией, брали с Михайловского самые невероятные цены за самые простые продукты. За яйца, например, брали с них по 20 рублей за сотню.

Дмитрий Наркисович, выслушивая эти рассказы, дополнял их своими обычными присказками.

Помню, когда мы выходили из ресторана, покойный Николай Константинович говорил мне: „Подлец Наркисыч напишет!“

И действительно через неделю мы читаем в „Русских ведомостях“ рассказ „Деревня XVI столетия“.

Там, конечно, многое было прибавлено.

Фигурировал там какой-то мужичонка, который, промокнув в пути, сжег свою ситцевую рубашонку, когда привалили на ночлег, и мужичонка этот начал ее сушить.

Михайловский-Гарин заплатил за эту рубаху ни больше, ни меньше, как 20 рублей.

Был со мною и еще аналогичный случай, довольно хорошо характеризующий наблюдательность Мамина-Сибиряка.

Помню, я рассказал Дмитрию Наркисовичу о своем путешествии по северу Пермской губернии. Цель моего путешествия была — изыскание пути на север...

Брошенные вскользь несколько слов о трудности путешествия по лесам Чердынского уезда, Пермской губернии, в один вечер выросли в художественный рассказ „Старый Шайтан“, помещенный тоже в „Русских ведомостях“.

Эта способность быстрого, как говорил сам покойный, схватывания „на лету“ всего наблюдаемого, эта способность такого же быстрого — „смаху“ писания создавала такую картину, что Сибиряк бил своим талантом, как бьет волнами любая уральская горная речка.

Работа под его пером кипела. Кипела так же, как кипят эти маленькие волны уральских горных речек...

Невероятная плодовитость рядом с художественной отделкой каждой написанной строчки. Под его пером действительно оживало все: и угрюмая уральская природа, и своеобразная история Урала...

Все эти чисто уральские типы: „Вольный человек Яшка“, „Поп Савелий“,— все они стоят перед нами, уральцами, как живые люди...

Меня всегда занимал вопрос, какой внутренний стимул двигал этим крупным талантом.

Помнится, что в одном из адресов по поводу сорокалетнего юбилея литературной деятельности Сибиряка,— этой злой насмешки судьбы над талантом,—когда носитель этого таланта был положительно

на краю могилы — Сибиряк приветствовался, как „гуманный художник...“

А я бы добавил: „народный гуманный художник“.

„Ваши книги, — писал А. М. Горький в своем юбилейном приветствии,— помогли понять и полюбить русский народ, русский язык...“

„Когда писатель,—говорит далее Горький,— глубоко чувствует свою кровную связь с народом — это дает ему красоту и силу...“

Горький прав — да и может ли он, Горький, так знающий народ, быть неправым в этом случае,— что Мамин-Сибиряк всю свою жизнь чувствовал творческую связь с народом,— это прекрасно показали его книги, которые открыли нам целую область русской жизни...

„Земле родной,— говорит, наконец, Горький,— есть за что благодарить вас, друг и учитель наш...“

Он знал народ, любил его, понимал его.

Я говорил выше о таких людях, как „вольный человек Яшка“, „поп Савелий“ и др. Все это—„простые люди“.

Нужно было видеть Мамина-Сибиряка среди этих „простых“ людей...

Начнем с Екатеринбурга.

Представьте себе Сибиряка на толкучем рынке, где продается самое разнообразное „барахло“. Много, конечно, среди этого „барахла“ и ценных вещей.

Сибиряк для своих довольно богатых коллекций — минералогической и этнографической — всегда ухитрялся находить какие-нибудь раритеты. Но, конечно, это была не единственная цель посещения толкучки. Наоборот, главной целью было—это встречи и столкновения с „барахольщиками“.

Здесь у него были приятели, приятельницы, с которыми он беседовал, как свой человек. Полушуточки, остроты занятного барина раскрывали души „простых“ людей. У покойного Дмитрия Наркисовича всегда были самые искренние отношения к этим „простым“ людям. И эта „простая“ публика — извозчики, прасолки, какие-то неизвестные старухи — всегда были его обществом.

Мне рассказывал один екатеринбуржец, как он однажды рано утром, в субботу, встретил Дмитрия Наркисовича на плотине. Он тащил на себе провизию...

Оказалось, что этот багаж несла какая-то очень древняя старушка, а Дмитрий Наркисович, увидав тяжесть ее ноши, спокойно взял ее и потащил... Конечно, со старушкой он беседовал всю дорогу, и она стала его приятельницей.

Таких приятелей у него было много и здесь, в Екатеринбурге, и по всему Уралу. И охотники, и так называемые „зимогоры“, и золотоприисковые рабочие, и бурлаки по Чусовой и т. д.

А сколько таких приятелей Дмитрия Наркисовича я видел в Петербурге, затем в Царском селе, где он долго жил.

Мамин-Сибиряк начал свою литературную деятельность в Петербурге, когда еще был студентом.

Тогда он начал репортерствовать. Пишущей братии известно, что такое репортер в Петербурге...

Я никогда не забуду рассказов Дмитрия Наркисовича о том, как его не впускали на заседания некоторых ученых обществ, благодаря его костюму: куртке из желтого — почти солдатского — сукна, а главное, кожаным — желтым же — штанам, какие носят обычно ямщики.

Костюм далеко не аристократический.

Жизнь в Екатеринбурге первое время тоже была не из сладких.[1]

Мне рассказывал его старший брат, Николай Наркисович, как ему приходилось путешествовать почти через неделю в ломбард или закладывать часы Дмитрия Наркисовича или выкупать их...

Там, в ломбарде, была уже фиксирована, так сказать, цена этих часов: шесть рублей...

Помню, говорит Николай Наркисович, как были получены первые 200 или 300 рублей за какой-то рассказ. Это был большой праздник.

А сколько рукописей до этого было возвращено... Дмитрий Наркисович с какой-то особенной — именно добродушной — злобой рассказывал мне, как вернул одну его работу покойный Щедрин, будучи редактором „Отечественных записок".

Щедрин был строгий редактор...

Но эта — тоже совершенно особенная — строгость действовала на молодых писателей ободрительно.

Покойный Дмитрий Наркисович потом относился к Щедрину с глубочайшим уважением.

Положительно его кумирами были: Щедрин и Михайловский.

В воспоминаниях невозможно исчерпать всего, что касается лица о котором вспоминаешь...

Иллюстрированное приложение к газете „Уральская жизнь" № 3, 19 января 1913 г.

---

[1] В заметке, помещенной в „Голосе Урала" от 26 октября 1912 г. № 188 без подписи, говорится, что после смерти отца — Наркиса Матвеевича — семья Маминых была в бедственном положении. „У самого Д. Н. в это время не было никакой работы. М. А. А—вой в пользу оставшейся без средств семьи была устроена подписка на заводе". Переезд семьи в Екатеринбург и то, что зарабатывал Мамин частными уроками, конечно, не избыли нужду".

И. Г. ОСТРОУМОВ

МОИ ВСТРЕЧИ И ОТНОШЕНИЯ С Д. Н. МАМИНЫМ-СИБИРЯКОМ

Д. Н. Мамин учился в той же пермской духовной семинарии, где на десять лет позднее учился и я.

Не помню теперь точно почему, но уже в конце 70-х годов имя Мамина среди семинаристов и некоторых молодых преподавателей произносилось с какой-то гордостью, хотя составившие его литературную репутацию романы „Горное гнездо“ и „Приваловские миллионы“ появились в печати лишь в 1884 г. Очевидно, чтобы получить звание писателя, для нас, соучеников Мамина по учебному заведению, было достаточно и случайных слухов о том, что он, учась в Петербурге, работает в каких-то газетах и даже под псевдонимом печатает рассказы и романы. И во всех случаях, когда в разговорах между собой нам приходилось вспоминать Помяловского, Добролюбова, особенно же Чернышевского, как лиц, тоже учившихся в духовных семинариях, то к этим, вызывавшим восторг фамилиям, обязательно присоединялась и фамилия „нашего Мамина“. И как показало недалекое будущее, т. е. появление целой серии романов и рассказов, печатавшихся почти во всех прогрессивных столичных журналах за подписью Мамина-Сибиряка, преждевременные почитатели таланта Дмитрия Наркисовича оказались правы.

После выхода из тюрьмы в 1884 г. по делу пермских декабристов и окончания лично для меня этого дела гласным надзором полиции, мне пришлось заботиться о средствах к существованию. Я начал корреспондировать сначала в газету „Волжский вестник“ (Казань), а несколько позднее в „Екатеринбургскую неделю“. Это продолжалось до половины 1886 г., когда я неожиданно получил от редакции второй газеты предложение занять место секретаря и ближайшего сотрудника.

С радостью переселялся я в Екатеринбург для газетной работы еще потому, что в эти годы там жил и Мамин-Сибиряк, числившийся сотрудником „Екатеринбургской недели“, следовательно, можно было надеяться познакомиться с ним лично.

Однако мои мечты не осуществились. Прожив несколько лет в городе одновременно и нередко встречаясь в разных общественных местах и на улице, мы не только не познакомились более или менее

близко, но различные обстоятельства, как будет видно дальше, все более и более возбуждали у Мамина какую-то враждебность ко мне.

Первоначально встретился и познакомился я с Дмитрием Наркисовичем в редакции газеты „Екатеринбургская неделя", куда он зашел для свидания с ее редактором Галиным. Но последний тотчас же увлек Мамина завтракать в личные свои комнаты, находившиеся рядом с редакцией. На другой день Галин с удовлетворением рассказывал мне, что Мамин передал ему рассказ о Киевской печерской лавре и что рукопись уже сдана в набор.

Когда рассказ под названием „Святой уголок" был напечатан, Галин просил меня лично снести автору гонорар, вложенный в конверт, при чем осведомил, что ни для кого не тайна, что Мария Якимовна Алексеева, в доме которой Мамин живет в качестве квартиранта-нахлебника, является его фактической женой, но сами они скрывают это, поэтому никто из знакомых не касается вопроса об их взаимоотношениях. Эта „тайна" была тем более непонятна, что все знавшие Алексееву считали ее не только вдохновительницей романов Мамина, относящихся к истории и жизни нижнетагильских заводов („Горное гнездо" и „Три конца")[1], но и близким человеком, с успехом оберегавшим его от знакомств, связанных с широкими кутежами, влечение к которым у Дмитрия Наркисовича ярко проявлялось еще тогда, когда, не овладев своим талантом, он влачил полуголодное и пьяное существование в среде питерской газетной богемы. Подобная жизнь, конечно, не содействовала систематической и интенсивной работе, его талант расцвел именно после того, когда он вынужден был со смертью отца бросить столичное мыканье и искать работы на родине, чтобы своим заработком помогать осиротевшей семье.

Дома Дмитрия Наркисовича я не застал и пришлось, познакомившись с Алексеевой, отворившей двери, просить ее передать пакет с гонораром по принадлежности.

Мне лично, разумеется, очень хотелось, чтобы Мамин продолжал свое сотрудничество в газете, не имевшей тогда сотрудников с именами, но так как после „Святого уголка" он ничего не присылал и в редакции больше не появлялся, я однажды спросил редактора Галина, чем он это объясняет. В ответ последовало очень длинное разъяснение, сущность которого свелась к следующему. Газета находится в критическом положении, так как наличный тираж в 400—500 экземпляров не покрывает расходов по изданию и существует она пока лишь доходами от своей типографии. Возникал даже вопрос о продаже ее, что позволило Мамину в компании с несколькими состоятельными товарищами (присяжные поверенные, врачи) сделать попытку купить издание, взять газету в свои руки. Но в начале 1886 года обстоятельства несколько изменились. Во-первых, фактический собственник газеты и типографии, избранный городским головой[2], надеется, что последнее обстоятельство может привлечь заказчиков в типографию, и доход ее позволит продолжить издание газеты, а во-вторых, состоялось уже постановление Уральского общества любителей естествознания об устройстве в Екатеринбурге в

---

[1] Будучи ранее женой горного инженера этих заводов, она знала многие эпизоды, описанные в означенных романах. [Автор].

[2] А. М. Симонов.

1887 г., сообща с городом и земством, „Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки“, благодаря чему можно рассчитывать на большое увеличение тиража газеты, если умело сосредоточить внимание последней на подготовке к выставке, а потом и на описании ее для ознакомления широкой публики с промышленными и научными достижениями Урала и Западной Сибири.

Поэтому будто бы он, Галин, и настоял на приглашении в редакцию именно меня, как имеющего качества, необходимые для осуществления намеченных планов.

— А что мы не ошиблись насчет вас,— продолжал Галин,— так об этом свидетельствуют постепенное возрастание тиража газеты и то,— это признает даже Мамин,— что со времени вашего приезда наша газета стала много интереснее.

— Но „укрепление“ „Екатеринбургской недели“ лишило Мамина надежды на ее приобретение,— закончил Галин,— и потому он недоволен вашим появлением в газете и ни в коем случае не будет содействовать ее дальнейшему успеху своим сотрудничеством.

Так в действительности и произошло.

Вот каким образом жизнь вбила первый клин между мною и Маминым-Сибиряком.

Мое вхождение в газету не ограничилось лишь личной работой в ней. Я использовал все свои знакомства с более прогрессивно настроенной молодежью среди активных работников губернского и уездных земств (статистиков, агрономов, страховых агентов, врачей), благодаря чему явился ряд корреспондентов и сотрудников из значительного количества пунктов губернии, а также и из Западной Сибири.

В „Екатеринбургской неделе“ начали систематически появляться статьи, корреспонденции и различные заметки, принадлежавшие, например, Н. А. Русских [1], Д. П. Никольскому [2], Г. В. Хлопину [3], А. И. и Н. С. Смородинцевым [4], В. А. Владимирскому [5], бр. Сиговым [6], бр. Удинцевым [7], А. А. Кирпишиковой [8], Н. В. Казанцеву [9], Е. Н. Чирикову [10], а также уральским поэтам Е. Ушковой-Головой и Ф. Ф. Филимонову

---

[1] Научно-общественная работа Н. А. Русских, начавшаяся в б. Екатеринбурге, потом вышла далеко за пределы и Урала, так как в качестве члена пироговских съездов врачей он явился инициатором вопроса о борьбе с детской смертностью в России и умер в Петербурге редактором журнала, посвященного охране материнства и младенчества. [*Автор*].

[2] и [3] Впоследствии профессора в Ленинграде: Дмитрий Петрович — профессиональной гигиены в ряде институтов: Политехническом, Горном и Технологическом, а Григорий Витальевич — автор ряда европейски известных трудов по гигиене и основатель школы русских гигиенистов в конце XIX и начале XX столетий. [*Автор*].

[4] Александр Иванович — автор печатных работ по гигиене школ и учащихся в них, а Николай Семенович — автор ряда статей в газете по истории Урала и сектантства. [*Автор*].

[5] Агроном-петровец и политический деятель, см. его биографию в „Архиве революции“. [*Автор*].

[6] Иван Сергеевич — экономист, печатался в „Русском богатстве“ и др.; Алексей Сергеевич (А. Погорелов)— беллетрист, автор романа „Перед грозой“ и многочисленных рассказов, рисующих уральскую жизнь 90—900 годов. Печатался там же. [*Автор*].

[7] Старший — Сергей Аристархович — член Уральского общества любителей естествознания и секретарь его в первые годы революции; Дмитрий Аристархович — деятель и писатель по Чердынско-Печорскому краю и Всеволод Аристархо-

(Гейне из Ирбита); обильно корреспондировали: из Кунгура — Сивков и Косьвинцев, из Тобольска — Суханов и т. д. и нередко печатался историк Пермского края А. А. Дмитриев и др.

Результаты моих стараний подобрать сотрудников так, чтобы выявилось в каждом номере лицо газеты, повидимому, сказались довольно скоро. Во-первых, к открытию „Сибирско-Уральской выставки“ число подписчиков поднялось до 1200—1500, да розничная продажа давала тираж до 200—300 экземпляров; во-вторых, известный в те годы публицист Н. В. Шелгунов в одном из своих ежемесячных очерков в „Русской мысли“ открыто приветствовал нашу газету, как „газету прогрессивную и без лисьего хвоста“, а также отметил солидарность всех сотрудников; в-третьих, в 1889 г., по случаю десятилетия существования газеты, известный своим глупым консерватизмом „Гражданин“ разразился статьей, в которой ядовито подчеркивалось „смелое чириканье воробушков в укромном гнездышке“, и, наконец, наш цензор начал чаще и чаще пускать в ход красные чернила на корректурных оттисках.

Не знаю, как ко всему этому относился Д. Н. Мамин, но в газете участия он не принимал, и наши с ним сухо-вежливые отношения не только не улучшились, а вскоре еще более ухудшились благодаря следующему.

Дмитрий Наркисович до того восхищался Екатеринбургом, что даже в печати охарактеризовал его не только промышленным, но и умственным центром Урала. Это было смело и удивительно, так как не соответствовало реальной действительности и совершенно игнорировало исторически сложившиеся культурные достижения Перми и тяготевшего к ней Прикамья.

Ведя в газете „Екатеринбургская неделя“ библиографию литературы, касающейся Урала, я при каждом подходящем случае исправлял допускаемые Д. Н. передержки и, так сказать, подтасовку фактов, отмечая культурно-историческое значение Перми и ее истинную роль в настоящем. Таким образом мы оказались в двух лагерях, и ни один из нас не намерен был менять свое мнение.

Третье обстоятельство, связанное с приездом в Екатеринбург артистки Абрамовой, вступившей в местную драматическую труппу, явилось едва ли не решающим для увеличения враждебности ко мне Дмитрия Наркисовича.

Дочь фотографа в Перми Гейнрих-Абрамова училась в местной женской гимназии; в 1880-х годах в качестве репетитора с нею занимался высланный под надзор полиции в Пермь В. Г. Короленко. По выходе из гимназии Мария Морицевна приняла участие в

вич — профессор киевского университета, автор трудов по посессионному праву на Урале и др. [*Автор*].

[8] В 1860-х годах печаталась в „Современнике“ и „Отечественных записках“ Некрасова; в „Екатеринбургской неделе“ поместила ряд рассказов из жизни Верхокамья. [*Автор*].

[9] Напечатал ряд очерков и рассказов, позднее изданных особой книгой с предисловием Мамина-Сибиряка. [*Автор*].

[10] Евгений Николаевич дал ряд первых своих беллетристических произведений. [*Автор*].

[11] Сивков и Косьвинцев — впоследствии работники разных периодических изданий, при чем второй после революции работал в московской „Правде“. [*Автор*].

спектаклях, устраивавшихся местными любителями, во главе которых тогда были: чиновник контрольной палаты Н. Д. Будрин (обладавший недурным тенором) и секретарь уездного воинского присутствия Абрамов (исполнявший в оперетках басовые партии). Сцена сблизила Марию Морицевну с Абрамовым, и они, поженившись, поступили, уже как профессионалы, в труппу в г. Оренбурге. Однако после первого же сезона пути их разошлись. О дальнейшей судьбе Абрамова я ничего не знал, а об Абрамовой нередко читал в газетах Поволжья, как талантливой драматической артистке, что вскоре и привело ее в Москву. Там один из купцов-меценатов дал средства на организацию особого театра, во главе которого и стала Абрамова, как исполнительница трагических ролей.

И вдруг Абрамова появляется в Екатеринбурге. На первое ее выступление в „Медее" пошел и я в ожидании выдающегося исполнения, но был разочарован. Для трагических ролей у Марии Морицевны нехватало кое-каких данных. Но она была миловидна, молода, да еще с репутацией „московской артистки"— и этого оказалось вполне достаточно, чтобы местные театралы, особенно из золотопромышленников и купечества, встречали выступления Абрамовой в невиданных ими трагических ролях шумными аплодисментами.

Однако вскоре число посетителей театра на спектаклях с участием Абрамовой начало падать, чему содействовало еще и то обстоятельство, что одновременно с ней в труппе находилась артистка Морева В. И., талантливо исполнявшая драматические роли и потому завоевавшая горячие симпатии интеллигенции и учащейся молодежи. Когда в конце сезона начался ряд бенефисов, то имели место следующие факты: Морева в роли Луизы („Коварство и любовь") во время всей пьесы осыпалась букетами, цветами и особыми печатными билетиками с сердечными пожеланиями и получила скромный подарок (полное собрание сочинений Шиллера в хорошем переплете), между тем как Абрамовой, при наполовину пустом театре и жидких поэтому аплодисментах, в день бенефиса был поднесен ряд золотых вещей, стоящих несколько сот рублей. При этом к удивлению поклонников Моревой обнаружилось, что на бенефисе Абрамовой в первом ряду кресел сидел Дмитрий Наркисович и, вместе с представителями „золотой молодежи", руководил поднесением подарков.

Секрет такого совпадения художественных вкусов людей, казалось бы, далеко чуждых друг другу социальных групп, вскоре раскрылся. Екатеринбуржцы, ехавшие на пароходе с Абрамовой, видели в ее каюте большой портрет писателя Короленко, который она везла в подарок Мамину. Попав в Нижний-Новгород, где тогда жил Владимир Галактионович, Мария Морицевна вспомнила, что он был когда-то ее репетитором, и разыскала его. А он, узнавши, что она едет в Екатеринбург, попросил захватить приготовленный портрет и лично вручить его Мамину, талант которого очень ценил[1]. Абрамова, конечно, согласилась и, исполняя поручение, произвела такое впечатление на Мамина, что в его жизни произошел роковой переворот: полный разрыв с „добрым гением" М. Я. Алексеевой, с одной стороны, и с неистощимой почвой материалов для художе-

[1] Утверждая это, я имею в виду письмо ко мне Короленко 1887 г., о котором упомяну дальше.

М. М. Абрамова (1890 г.)

ственного творчества — Уралом — с другой, так как по окончании театрального сезона Дмитрий Наркисович навсегда оставил Урал, уехав с Абрамовой в Петербург.

Упреки без слов в разных видах проявлялись в те дни со стороны, кажется, всех сколько-нибудь знавших о действительных отношениях Дмитрия Наркисовича с Алексеевой. Например, очевидный бойкот спектаклей с участием Абрамовой; быстрый сбор средств на открытие кулинарных курсов для безработных женщин, задуманных Алексеевой, которые и были открыты за несколько дней до отъезда Мамина из Екатеринбурга. На открытии курсов, на которых я был по поручению редакции, присутствовал и Мамин, как бы удостоверявший этим, что ничего необычного не произошло, что у Алексеевой он жил как квартирант-нахлебник и, уезжая для работы в Петербург, он фигурирует на торжестве как хороший знакомый инициаторши предприятия.

Пермь. Февраль 1936 г.

В. М. ГЕЙНРИХ

ВОСПОМИНАНИЯ О Д. Н. МАМИНЕ-СИБИРЯКЕ

Первый раз с Д. Н. Маминым я встретился осенью 1890 г. у моей сестры Марии Морицевны Абрамовой, приехавшей в Екатеринбург по приглашению антрепренера драматического театра П. П. Медведева на амплуа примадонны.

В то время мне было 18 лет, но несмотря на это Д. Н. нашел со мной общий язык, почему сразу завязался оживленный разговор, темой которого главным образом служила охота.

Простота в обращении, задушевность и остроумие произвели на меня неизгладимое впечатление, тем более, что я почему-то представлял себе Д. Н. до встречи важным, надменным и гордым; так он рисовался в моем воображении, как писатель.

В последующих встречах Д. Н. окончательно обворожил меня особой мягкостью в обращении, душевной добротой, определенностью мысли и благородством.

Его рассказы об охоте, литературе, театре и др. я слушал с затаенным дыханием, стараясь не проронить ни одного слова, а рассказывал он, действительно, увлекательно, образно и красочно.

Помню, он очень восхищался игрой драматических артистов: Самойлова-Мичурина, Риваля, отдавая должное и таланту моей сестры, но жизнь актерскую — закулисную — недолюбливал.

Сестра еще до знакомства с Д. Н. восхищалась его сочинениями и была его горячей поклонницей, поэтому не удивительно, что вскоре после знакомства у них завязались дружеские отношения, перешедшие, со временем в более близкие.

Этому способствовала, на мой взгляд, со стороны обоих настоящая, действительная любовь, полная взаимного понимания, уважения и доверия.

Жениться они не имели возможности, так как бывший муж сестры П. Г. Абрамов развода ей не давал, надеясь, что она еще к нему вернется. Это обстоятельство и заставило их сойтись гражданским браком.

Здесь кстати будет отметить, что Абрамов был крайне грубый, маловоспитанный и некультурный человек, позволявший себе даже кулачную расправу.

Поэтому не удивительно, что сестра полюбила Д. Н. искренне, увидев в нем человека, резко отличающегося во всех отношениях от ее мужа.

Расчета тут, как многие склонны были думать в то время, не могло быть, так как она сама зарабатывала прилично, будучи незаурядной артисткой.

В начале 1891 г. я из Екатеринбурга уехал, а вскоре уехали в Петербург и сестра с Д. Н., уже как муж и жена.

Небольшой уездный город, каким был тогда Екатеринбург, его мещанская, провинциальная мораль плохо мирилась с гражданским браком Д. Н. и сестры. Семья Маминых, патриархально настроенная, была, кроме того, огорчена отъездом Д. Н. Им казалось, что Маруся „увозит от них Митю".[1]

Свердловск. Февраль, 1936 г.

---

[1] См. „Мамин-Сибиряк в Петербурге".

Проф. Ю. М. КОЛОСОВ

ИЗ ЖИЗНЕННЫХ ВСТРЕЧ

Стану сказывать не сказки,
Правду пропою....
Н. А. Некрасов

Schlage die Trommel
und fürchte dich nicht...
H. Heine.

Первая моя встреча с Дмитрием Наркисовичем Маминым-Сибиряком произошла в 1903 г., на елке у наших хороших знакомых, куда мы ежегодно собирались.

Обычный несложный, но всегда сохранявший для нас, детей, интерес, ритуал: убранная блестками, украшенная хлопушками, картонажами, пряниками и яблоками, горящая свечами елка в обширной зале, где так много места бегать и кружиться; хоровое пение вокруг елки в общем круге взрослых и детей; игры и декламация. Затем подарки и угощения, из которых особенно импозантным было пить в настоящих бокалах „детское шампанское" — в действительности обыкновенную фруктовую воду — и любоваться переливами огоньков в желе, подававшемся на стол с горящей свечкой внутри. В заключение зеленый и красный бенгальский огонь и картины волшебного фонаря с традиционной меняющей свои контуры разноцветной звездой на экране, появление которой знаменовало конец вечера. Зажигали елку, когда становилось темно, часов в шесть-семь, кончали к 10—10$^1/_2$ часам вечера. Тут же в дружеской беседе собирались и взрослые, культурная прослойка города, с которой хозяин, старожил и местный уроженец, имел тесную связь, а его добродушие, щепетильная честность и гостеприимство делали посещение дома особенно приятным.

Я лично любил бывать здесь еще и потому, что всегда находил изобилие разнообразных книг, которыми и зачитывался в перерывы, когда не требовалось моего участия в общих играх. Здесь же я познакомился с частыми посетителями дома — племянниками Мамина-Сибиряка, Удинцевыми, но среди игр и детской болтовни на самые разнообразные темы я ни разу не слышал от них ни слова о дяде-писателе.

Очередная елка 1903 г. шла, как обычно, но вот ко мне подошел отец с предложением показать писателя. От неожиданности я даже несколько растерялся.

— Писателя, какого писателя? Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова?

— Ну, что ты говоришь, они уже давно, как ты знаешь, умерли. Нет, я покажу тебе живого писателя.

Такую вещь, как живой писатель, я не видел и поэтому с особым интересом посмотрел по указанному направлению.

— Да кто это?

— Мамин-Сибиряк.

— Что же он написал?

— Он написал интересные книги для взрослых, которые и ты прочитаешь, когда сам будешь большой, а кроме того, он писал и книги для вас, ребят. Помнишь, ты читал здесь „Аленушкины сказки“ или я дарил тебе „Емелю-охотника“, „Зимовье на Студеной“. Вот их он и написал.

Да, я их вспомнил. Правда, все эти рассказы и сказки не принадлежали к моим любимым произведениям, не были особенно для меня интересны: они не волновали, не вызывали к переживаниям, не заставляли, забываясь, фантазировать, но все же я их знал, поэтому абстрактный образ „писателя“ сменился более конкретным, интерес возрос, и я всматривался настолько хорошо, что и теперь, через 33 года, отчетливо запомнил его внешность.

Он был чуть повыше среднего роста, коренастый и плотный, с густой шевелюрой темных волос на голове. Очень интересны были его глаза со своеобразным разрезом, которого мне у других никогда более не приходилось встречать и который придавал его лицу особый отпечаток чего-то индивидуального, лично ему присущего, не шаблонного. Он был оживлен, громко разговаривал с присутствующими, смеялся.

Как я узнал впоследствии, он приехал на крестины своего племянника — Олега Мамина, способного ребенка, которому, однако, условия жизни совершенно не дали развернуться, и он, не в пример Д. Н., не пошел дальше двух-трех лирических произведений,— приехал с большим запозданием, так что был лишь заочно записан крестным отцом мальчика. Фактическую же роль крестного отца исполнил его знакомый Антон Васильевич Комаров, а крестной матерью была моя родственница по жене — Мариопилла Александровна Соколова (оба они живы и доныне). По приезде Дмитрий Наркисович поздравил себя и ее с родственными узами („Вот мы и покумились, значит, надо по русскому обычаю поцеловаться“) и поднес ей очередной свой печатный рассказ „Две встречи“ с трогательным автографом. К сожалению, книжка эта теперь затерялась, так что я лишен возможности его здесь воспроизвести.

— Ну, пойдем, поздороваемся,— предложил мне отец.

Меня подвели к нему, и я помню, как теперь, твердое уверенное пожатие его теплой и крепкой руки, а когда обо мне сказали, что я очень интересуюсь природой, он оживился:

— Вот это хорошо, у нас, значит, будет второй Малахов.

В этот вечер говорить с Дмитрием Наркисовичем больше не пришлось, но у меня гвоздем засела мысль: кто же этот Малахов и что значит быть вторым Малаховым? Я спрашивал отца, он не мог удовлетворить моего любопытства, но, видя огорчение, засмеялся и сказал, что если уж мне так хочется знать, то он сводит меня на квартиру к Дмитрию Наркисовичу и там от него я все подробно смогу узнать. Но

пришлось ждать: отец был занят и несколько дней не мог выбрать свободное время.

Наконец мы пошли. Дмитрий Наркисович остановился у сестры своей, Елизаветы Наркисовны Удинцевой, по Пушкинской ул., в доме № 27. Дом этот, хотя и в перестроенном виде, сохранился до настоящего времени, именно тут совершенно правильно Уралгосмузей и предполагает расположить свой литературный филиал.

На звонок дверь открыла нам сестра Дмитрия Наркисовича — высокая бледная женщина средних лет, с утомленным лицом и ясной сединой в густых, темных, как у брата, волосах. Раньше она была домашней учительницей, потом преподавала русский язык в местной женской (второй) гимназии. Дмитрий Наркисович ее любил и называл Лизой.

Она провела нас в гостиную. Это была расположенная рядом с передней, выходившая окнами на улицу, уютная, хотя и низкая комната с типичной обстановкой интеллигентной семьи того времени. Пианино, этажерка с книгами и нотами, цветы на окнах, мягкая старенькая мебель, картины и фотографии на стенах. Обращали на себя внимание два больших поясных портрета: на одном был изображен сам Мамин-Сибиряк, очень живо и художественно нарисованный углем на холсте, другой изображал представительного дородного сельского батюшку с круглым лунообразным лицом, как потом я узнал, отца Дмитрия Наркисовича, служившего священником в Висимо-Шайтанском заводе.

Я упоминаю об этих портретах потому, что воспроизведения их я нигде не видел. Жаль, если они затерялись.

Гостиная непосредственно переходила в столовую с окнами, частью выходившими тоже на улицу, частью же во двор. Здесь за столом сидел Мамин-Сибиряк, а на столе стоял пирог с соленым моксуном и наполовину пустой графин водки, который он, увидя нас, как-то суетливо поспешил отодвинуть в сторону.

— Не позабыли нашу рыбку?— спросил отец.

— Попрежнему всего больше люблю ее,— живо ответил Дмитрий Наркисович,— мои вкусы и привычки прежние.

Любопытно, что впоследствии, через семь лет, он почти дословно повторил эту же фразу в письме к сестре. Прося о присылке хлебного уксуса, поземины (вяленой рыбы со своеобразным вкусом) и соленых моксунов, он приписал: „Мои вкусы и привычки — старые“.

— Не хотите ли закусить?

Мы поблагодарили, т. е. поблагодарил-то отец, а я только мотнул в знак солидарности головой.

— Ну, а я буду продолжать,— и, придвинув графин, налил объемистую рюмку.— „Стомаха ради“,— вспомнил он, добродушно улыбаясь, старую семинарскую поговорку[1], опрокинул рюмку в рот и снова ее наполнил. Сестра его при этом как-то болезненно улыбнулась, но ничего не сказала.

Впоследствии от М. Я. Алексеевой я слышал, что Дмитрий Наркисович был чуть ли не абсолютный трезвенник. Может быть это и справедливо для времени его первых встреч с Алексеевой, но смею уверить, что в девятисотых годах он уже пил по-настоящему, по-семинарски.

---

[1] От греческого слова стомах — желудок; образно: для пищеварения, для пользы желудка. Выражение, введенное Маминым в литературу. (*Автор*).

Алкоголь свел его в могилу, он же был причиной и дефективности его дочери — Аленушки, страдавшей резко выраженной пляской св. Витта.

На Аленушку, эту несчастную девушку, мучительно было смотреть, такими конвульсиями неожиданно подергивалось ее лицо. Хотя силой воли она могла на некоторое время сдерживаться, но затем тем сильнее начинались ее судорожные подергиванья. Неизлечимая, так мучительно уродовавшая ее лицо, болезнь буквально отравила всю жизнь Аленушки, заставила избегать общества, замыкаться в себе и забываться в мире поэтических грез. Естественно, что у ней и самой складывались поэтические наклонности, являлось желание изливать свои настроения образами. Эти стихотворные упражнения ее не лишены мягкой задушевности и искренней пронизывающей их тоски. У меня сохранилось до девятнадцати ее стихотворений с поправками самого Дмитрия Наркисовича, полученные мной от ее подруги и родственницы, ставшей впоследствии моей женой, Екатерины Степановны Соколовой, с которой Аленушка уже после смерти отца жила вместе на даче в с. Курьи, Камышловского уезда, и Мустамяках в Финляндии.

Как образец ее творчества, можно привести здесь отрывки из элегии, посвященной памяти любимого ею поэта Надсона.

Памяти Надсона

Он жил средь нас с душой своей больною,
Не видя солнышка и радостных цветов;
Обуреваемый тяжелою тоскою,
Он слышал только звон кандальный, звон оков.
Он слышал стоны тех, кто с детства сиротою
Остался обойден на радостном пиру;
Плененный горести трагичной красотою,
Он пел ее одну...
Он умер и давно. Не волосы седые,
Не старость дряхлая его вели к земле,
Он умер юношей, и песни молодые
Уснули с ним в могильной тишине...

Но возвращаюсь к нашей встрече.

— Ну, хочешь посмотреть „Аленушкины сказки“? — Дмитрий Наркисович протянул мне книжечку. — Самое любимое мое произведение, — обратился он к отцу, — с него я считаю себя детским писателем.

— Когда же точнее?

— Да вот, считайте: первое издание вышло в конце 1896 года.

Я вертел в руках книжку, но не она была мне нужна, и я толкнул отца в бок, шепнув о том, зачем мы, собственно, пришли.

— Вот мой молодец не дает мне покоя, и мы не можем ему ответить, кто такой был Малахов, которым, вы надеялись, он будет у меня в дальнейшем?

— А, Малахов, Миша, Михаил Викторович Малахов.

Он встал, подошел к столу, взял папку с бумагами и, порывшись в ней, вынул оттуда несколько листов, исписанных четко, почти без помарок и поправок.

— Прочтите и расскажите.

Это был биографический набросок умершего в 1885 г. и ныне не по заслугам забытого молодого ученого Михаила Викторовича Малахова, который, родившись в 1856 г. на Урале (Нижнеисетский завод в 12 верстах от Екатеринбурга), посвятил всю свою жизнь его изучению и играл существенную роль в истории развития Уральского общества любителей естествознания. Впоследствии в бумагах отца я нашел снятую тогда же копию с этой, доселе, кажется, не напечатанной, статьи Мамина. Ее стоило бы опубликовать, поскольку она характерна и для личности самого автора, для его взгляда на людей и их деятельность, для его уменья охватывать и обобщать существенное даже, казалось бы, в чуждых ему областях.

Во время нашей дальнейшей беседы в комнату вошли два человека. Это были, как я узнал потом, сотрудники местной газеты „Уральская жизнь“: А. В. Комаров и В. А. Весновский. На предложение закусить оба охотно подсели к графину и снова забулькали опрокидываемые в рот рюмки. Е. Н. Удинцева встала и вышла. Мы откланялись.

Одеваясь, я слышал, как Весновский оживленно рассказывал о своих планах организации в Екатеринбурге двух обществ: одного — помогать туристам странствовать по Уралу, а другого для изучения Урала, планах, так и оставшихся не реализованными.

После этого я еще раз встретился с Дмитрием Наркисовичем. Он шел по улице с редактором „Уральской жизни“ Петром Ивановичем Певиным и разговаривал о деятельности местной городской думы. Поскольку в силу моих лет я мало интересовался столь специальной темой, у меня лишь чисто механически, благодаря моей прекрасной памяти, в голове остались отдельные фразы Дмитрия Наркисовича, что в свое время он сам был избран гласным на четырехлетие 1888—1891 гг. по третьему разряду избирателей и что за пять четырехлетий, начиная с введения в Екатеринбурге Городского положения и кончая его временем, только два лица оставались бессменными гласными.

Позднее я имел возможность документально проверить его сообщение, и оно оказалось совершенно верным. Это показывает, насколько Дмитрий Наркисович знал и помнил, казалось бы, даже мелкие факты из жизни своего родного города. Последнее, впрочем, не удивительно, если мы вспомним, что он дал очень содержательный исторический очерк города Екатеринбурга с рядом статистических цифровых данных, требующих работы по первоисточникам.

Что же касается деятельности самого Мамина в качестве гласного, то уже по характеру своему он не мог быть активным в этой области, и поэтому если, по воспоминаниям И. Н. Климшина[1], он и был аккуратным в посещении заседаний, то, конечно, только сидел и молча терпеливо слушал других. Действительно, в изученных мной протоколах заседаний думы никаких выступлений или предложений, исходящих от Мамина, не зафиксировано. Более энергична была его общественная деятельность в качестве действительного члена Уральского общества любителей естествознания, каковым он был избран в заседании 21 октября 1884 г., представленный М. В. Малаховым, Л. П. Ахматовой и О. Е. Клер.

---

[1] См. статью В. Чекина.

Помню еще также, как отец, вернувшись, разговаривал о своей встрече с Дмитрием Наркисовичем, при чем последний с похвальбой отозвался о незадолго перед тем выстроенном нашем доме (по Водочной ул., № 60).

— Видел, Михаил Антонович, я ваш дом, он прекрасно оформлен и уютно построен. Всегда, когда приходится проезжать или проходить по Водочной улице, им любуюсь.

Этот приезд Дмитрия Наркисовича в Екатеринбург был для него уже последним.

Еще несколько сведений о Мамине.

Известный просветитель закамских пермяков и историк пермской семинарии И. В. Шестаков сообщил мне в свое время, что выпуск 1874 г.[1] состоял из 30 человек[2].

Из этих лиц мне известно документально о смерти, помимо Мамина, еще восьми лиц, следовательно, есть надежда, что жив еще кто-либо из остальных и, таким образом, от них можно было бы узнать интересные сведения об учебных годах Мамина, о том, как рос, развивался и формировался его характер, т. е. о тех фактических сведениях, которые так слабо освещены в мемуарной литературе.

Кончая эти беглые воспоминания об екатеринбургском периоде жизни Мамина-Сибиряка, я не могу не остановиться на сообщении М. Я. Алексеевой, слишком сузившей круг близких знакомых Дмитрия Наркисовича[3]. В действительности он был много шире. Мы видим среди них, например, уральского художника А. К. Денисова-Уральского, редактора-издателя П. И. Певина, сотрудников местной прессы Комарова и Весновского, К. Фадеева, П. В. Вологодского, М. А. Соколову, основателя Уральского общества любителей естествознания О. Е. Клер и др.

Общительный характер Дмитрия Наркисовича давал ему возможность сближаться и сживаться с людьми, для оценки их характеров и жизни он умел находить доброе, хорошее слово. Если можно так выразиться, он коллекционировал людей, делая фотографически-портретные снимки, чтобы соединить затем отдельные черты родственных психологически конкретных личностей в обобщающие типы. К таким фотографиям относится, например, его повесть „Жид“, где современникам не трудно было узнать колоритную фигуру екатеринбургского врача Бориса Осиповича Котелянского, самоотверженно погибшего на эпидемии сыпного тифа (1896 г.).

---

[1] Неверно. 1872 год. См. биографическую таблицу. Составитель

[2] Вот их список, выписанный мной в 1915 г. из архива семинарии и, следовательно, документально верный.

А. Кончившие по первому разряду:

1. Арефьев Петр 1-й 2. Арефьев Петр 2-й 3. Бельтюков Рафаил. 4. Бирюков Евлампий. 5. Катонов Александр. 6. Колотилов Михаил. 7. Лаговский Анатолий. 8. Наумов Владимир. 9. Некрасов Василий. 10. Оранский Константин. 11. Подосенов Евлампий. 12. Спасский Петр. 13. Стахнев Иван. 14. Топорков Алексей. 15. Троицкий Илья. 16. Черемухин Александр.

Б. Кончившие по второму разряду:

1. Дягилев Захарий. 2. Лилиев Аркадий. 3. Никитин Дмитрий. 4. Попов Андрей.

В. Вышли из 4-го класса семинарии:

1. Варушкин Николай. 2. Знаменский Алексей. 3. Кротков Николай. 4. Ляпустин Николай. 5. Максимов Всеволод. 6. Мамин Дмитрий. 7. Пономарев Иван 8. Псаломщиков Павел. 9. Хомяков Александр. 10. Челышев Григорий.

[3] См. статью В. Чекина.

К таким потретам с натуры относятся и его некрологи, которые он писал тоже как художественные очерки, и очень жаль, что они так мало публиковались, а опубликованные так мало известны, тем более жаль, что из них можно извлечь ряд автобиографических черточек. Вот, например, цитата из некролога о местном екатеринбургском деятеле, умершем в 1888 г.— Павле Михайловиче Вологодском: „Кто в Екатеринбурге не знал Павла Михайловича? Но многие ли задавали себе вопрос: как живет этот человек, чем он существует? Определенного места он не имел, двадцатого числа жалованья не получал, а жил как-то так, между прочим, то там поработает, то здесь“ [1].

Не кажется ли читателю, что эти слова относятся и к молодым годам самого Дмитрия Наркисовича, когда он говорил: „Надо бы рассказик, что ли, написать, чтобы шубу сшить“.

Не кажется ли, что здесь с полным правом можно сказать: de te fabula narratur! [2]

Свердловск. Апрель 1936 г.

---

[1] Здесь уместно привести недавно найденное письмо Мамина к О. Е. Клеру от 6 мая 1888 г.:

„Многоуважаемый Онисим Егорович, что сумею напишу, но читать вперед отказываюсь: у меня просто перехватывает горло в таких случаях. Если прочтете вы — я буду доволен. Считаю должным предупредить, что фактического материала о покойном Павле Михайловиче у меня было немного, и я напишу только то, что представляет интерес со стороны типа. Если вы к этому добавите фактические данные, то получится до известной степени законченная вещь. Примите уверения в истинном почтении и глубокой преданности. Покорный слуга Д. Мамин“.

Помимо очень интересно высказанной мысли, что некролог представлял для него интерес „со стороны типа“, письмо указывает причину, в силу которой Д. Н. уклонялся от общественных выступлений.

Некролог Вологодского напечатан в Записках УОЛЕ, 1889 г. XII, вып. I, стр. 47; 53—54.

[2] См. „Мамин-Сибиряк в Петербурге“.

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК
В ПЕТЕРБУРГЕ

Б. Д.

СПРАВКИ И ВОСПОМИНАНИЯ К ПЕТЕРБУРГСКОМУ ПЕРИОДУ ЖИЗНИ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Собственно говоря, в жизни Дмитрия Наркисовича было два „петербургских“ периода. Первый с 1872 г. до весны 1877 г., когда, не перейдя на второй курс юридического факультета, он уехал в Нижнесалдинский завод, где вскоре умер его отец.

Второй „петербургский период“ длится с конца 1891 г. по 1912 г. Промежуток между ними заполняется жизнью в Екатеринбурге (лет девять) и в Москве (года четыре).

Поэтому первый „петербургский“ период наиболее труден для какого-нибудь изучения. Сам Дмитрий Наркисович говорил об этих годах (1872—1877 гг.) всегда крайне мало, даже излишне, по-моему, ссылаясь на „Черты из жизни Пепко“: „Я там все описал“. Было тяжелое время и переживать его хотя бы в рассказе вновь (а устные рассказы Д. Н. были всегда ярки и прочувствованы) было не менее тяжело...

Но только часто, когда он видел у себя приходившую к нему молодежь, и замечал, что она сносно одета, покачивая головой, говорил:

— Как много дал бы я в свое время за то, чтобы бывать в семье, но у меня в молодости бывали такие минуты, что буквально не в чем было выйти „в люди“, не пойдешь же в сибирских сапогах.

Очевидно, было яркое переживание, что оно так долго не забывалось, как и много других аналогичных, тоже выплывших к случаю.

Подают за столом рыбу. „А вы где обедаете?“ — „Да вот в студенческой столовой...“—„А не колбасой с чаем?..“— и не выслушав ответа, он уже горячился и говорил: „А ведь, небось, не знаете, что есть замечательная рыба — невский сиг! Недорогая (здесь вообще рыба недорогая), вкусная, ну что̀ сто̀ит самому на керосинке сварить себе уху, изжарить наконец! Вот и я студентом тоже... на колбасе голодал и не знал, как быть сытым на берегу Невы“. Вся речь обычно заканчивалась шутливым подмигиванием —„Эх вы!..“

План полусерьезный, полушуточный, но опять вызывавший на воспоминания о „Федосьиных покровах“ из „Пепко“ и полуголодном студенте медико-хирургической академии...

Рассказы Д. Н., как его эксплоатировали крупные бульварные газетчики в лице некоего хроникера Волокитина, который держал всю

мелкую газетную братию своими авансами, заставляли удивляться энергии тех немногих, которые вырывались из ужасного омута тогдашней газетной богемы. „А больше спивались“, добавлял Д. Н.

В 1872 г. Мамин поступил на ветеринарное отделение медико-хирургической академии, в 1873 г. перешел на медицинское отделение, в 1874 г. перешел на естественный факультет, чуть ли не оттуда перейдя уже в 1876 г. на юридический факультет.

Нам приходилось слышать рассказ его о том, как посадил его на экзамене химии известный проф. Зинин.

На лекции — по собственному признанию — Дмитрий Наркисович ходил мало, но много читал „по общим вопросам“, делая всегда массу выписок в свои записные книжки. Несомненно, уже к этим годам относится начало приобретения солидного образовательного багажа, которым позже отличался писатель. Тут и химия, и геология, и общественные науки с Марксом и Спенсером во главе. Кажется, читалось все, что попадет, со всей жадностью наголодавшегося в духовной школе ума, но все это укладывалось в стройную систему миросозерцания, и от естествознания вообще намечался уже переход к историческим наукам и литературе. Занятия прерывались уроками, репортажем, но литературное дарование росло, набирая пищу если не из книг, то из шумной и кипучей жизни столицы.

Оставшись на первом курсе юридического факультета, Мамин уезжает весной 1877 г. на Урал с тем, чтобы вернуться сюда через четырнадцать лет, в 1891 г., уже известным писателем с титулом „Сибиряк“.

Этот второй „петербургский“ период отмечен большой творческой работой над неистощимыми материалами, привезенными с Урала, пополняемыми при этом всегдашними связями с провинцией и народом, где бы он ни встречался. А на фундаменте реалистических наблюдений над жизнью и людьми вообще в это же время создается и его детская литература, такая нежная и изысканная, что не хочется верить, что красивая фантазия автора родилась в сыром и суетливом Петербурге.

Противников Петербурга можно утешить, ибо двенадцать лет этого периода писатель провел в Царском селе близ Петербурга.

Во второй раз и Петербург встретил его иначе. Как только узнала о приезде Дмитрия Наркисовича редакция нового издания „Мир божий“, она отправила к нему посла и никого иного, как Виктора Петровича Острогорского, с целью заручиться согласием Мамина на постоянное сотрудничество. „Почетный“ депутат получил от молодого писателя ценную рукопись „Зимовье на Студеной“. Так двадцать с лишком лет назад завязались у Мамина лучшие отношения с этим журналом (и его преемником). Он вошел в тесный редакционный кружок, сблизился с А. А. Давыдовой, издательницей журнала, и ее семьей, здесь же познакомился и сошелся с Н. К. Михайловским, Г. И. Успенским и вообще с тем литературным „салоном“, который всегда собирался у А. А. Давыдовой.

22 марта 1892 г. происходит событие, определяющее всю дальнейшую жизнь Дмитрия Наркисовича. У него рождается дочь Елена, а через несколько дней умирает ее мать. Велико было горе Мамина, особенно с болезненным и хрупким ребенком на руках! Крестят девочку значительно позже, крестным отцом стоит Н. К. Михайловский, крестной матерью А. А. Давыдова.

С момента рождения другие женские руки заменили Аленушке мать. Им всегда был так благодарен покойный, так часто об этом говорил. Деятельное участие приняла Давыдова и что главное — поручила ребенка ведению О. Ф. Гувале, жившей у Давыдовых, как член семьи. Сама она, всегда много выезжавшая и много работавшая с журналом, пожалуй, и не смогла бы уследить за нежными и особенными потребностями болезненного ребенка. „Аленушке“ нанимают немку-бонну, Дмитрий Наркисович снимает себе квартиру и с целым штатом прислуги для девочки основывается в Петербурге. Их часто навещают друзья, и так проходит два с половиной года.

Несмотря на надзор и исключительное внимание к больной девочке, вообще в доме стоит, очевидно, порядочный кавардак. Покойный Дмитрий Наркисович комично рассказывал, как к нему приходили со ссорами нянька и кухарка, кухарка и бонна и т. д. в разных комбинациях. Он свирепо „рычал“, и все прекращалось, но в анархии терялись иногда серебряные ложки, нехватало посуды... В 1894 г. бонна заболевает, и Мамин перевозит Аленушку к Давыдовым. Нужно только вспомнить, что к этому периоду относятся „Детские тени“, чтобы понять, что испытывал отец со всеми этими неустроениями, как мучился он страданиями своего больного ребенка! Аленушке опять хуже... Часть врачей советует ехать за границу, другие говорят — в Крым, но, в конце концов, поступают по совету известного тогда в Петербурге врача Петерс, решив поселиться в Царском.

В этом же 1894 г. в воспитательницы Аленушки поступает О. Ф. Гувале, не мало оказавшая ей услуг и за предшествовавшие два с половиною года.

В то время, когда поднимался вопрос о поездке дочери в Крым, Мамин жил в Москве по своим издательским делам. Получив письмо от m-me Давыдовой, чтобы он не ожидал дочери, с которой должна была приехать Ольга Францевна, так как петербургские врачи советуют больше Царское, чем заграничные курорты, боясь резкого перехода, Дмитрий Наркисович пишет ответ (письмо это напечатано „Современным миром“, ноябрь 1912 г.). Он говорит, что с трепетом ждал дочь, а дальше, волнуясь, торопливо набрасывает строчки своей аннибаловой клятвы — писать русским детям: „Если бы знала эта крошка, что с собой она несет всю мою детскую литературу...“ (цитирую на память).

Согласно указанию врача, 27 августа 1894 г. Мамины переезжают в Царское село. Это город, в котором выросла дочь писателя и в котором он провел двенадцать лет своей жизни. Здоровый по местоположению, недалеко от высокого над уровнем моря Пулкова (сам на высоте шпица Петербургского адмиралтейства), тихий, чистый, весь в садах, окруженный парками — он точно создан был для воспитания любимого ребенка и тихой творческой работы. К тому же здесь была близко охота.

Попасть из Петербурга сюда уже труднее, и круг знакомых несколько сокращается,— этим, вероятно, и объясняется временный переезд в 1900 г. в Петербург, где живет вся литературная публика. К этому же году относится и брак писателя с известной уже нам О. Ф. Гувале. На свадьбе присутствует вся литература...

Три года жизни в Петербурге (1900—1902 гг.) заставили, однако, и самого Дмитрия Наркисовича заскучать по солнцу. Аленушке тоже

не нравился большой город. Правда, был близко Летний сад, Нева (жили на Пантелеймоновской), но было мало солнца, и опять решили вернуться в Царское.

С 1902 по 1908 г.— новое шестилетие в Царском селе. При переезде шел дождь, боялись — не испортились бы главные сокровища — книги. Но старожилы уже заметили: приехал писатель, привез много книг; через непродолжительное по приезде время пришла эстафета из нижнего этажа следующего примерно содержания: „Узнал, что вы — Мамин-Сибиряк. Буду рад познакомиться. Не пошлете ли последней книжки „Русской мысли“ (или какого другого журнала).“ Экстраординарно заводится новое знакомство с известным исследователем по земской статистике Д. И. Р.

Попрежнему бывают старые друзья,— Н. К. Михайловский, С. Н. Южаков, д-р Жихарев, художник Денисов-Уральский. Попрежнему 26 октября собираются ежегодно веселые именины Дмитрия Наркисовича. Только редеют ряды, когда умирает любимец собиравшегося общества Н. К. Михайловский. Но часто и потом Дмитрий Наркисович с грустью вспоминает, как собирались у Палкина литераторы. Бывали Н. К. Михайловский, Г. К. Градовский (Гамма), Григорий Петров, Н. И. Поздняков, О. Фельдман, Потапенко и др. Приезжали иногда художники Писемский, Овсянников, Кравченко. В семье Д. Н. до сих пор, как реликвия, хранится тарелка от Палкина с прекрасно нарисованным волком на простой саже от свечки. Кто-то из художников подарил Д. Н. это на память об общих часах досуга.

Но умер Михайловский, не стало Позднякова, ушел Южаков, тяжело болен Градовский... У Дмитрия Наркисовича навертывались слезы при этих воспоминаниях.

Уже в 1908 г. Мамин приехал в Петербург, чтобы последние четыре года своей жизни провести здесь. Дочь уже выросла, в Петербурге же жили те немногие, с которыми чувствовал себя близко Д. Н. среди массы нового и чужого в литературе. Здесь было, наконец, Литературное общество, в котором он появлялся неизменно по пятницам, вплоть до закрытия. Остроумный и живой до конца дней своих, он везде собирал около себя кружок, сыпал меткими сравнениями, вообще горел. Я видал его не раз среди литературной публики и всегда не остывало впечатление, что ждут его острот, ждут, когда особенно хитро заблестят его глаза, и Мамин войдет в роль „любимца публики“. Но бывали и другие моменты.

Помню, как в том же Литературном обществе, поцеловав руку Веры Ивановны Засулич, он, обращаясь ко мне, заметил: „Я горжусь, что имею счастье быть знакомым с этой женщиной“. Одним из его лучших друзей был также Петр Якубович. Но и преклоняясь перед этими людьми, он, поистине „свободный художник“, не обладал революционной психологией. Вообще прогрессивный, он мог иногда выпустить слово „жид“, затем сгорал от стыда за него. Творец „Жида“, он как лучшее доказательство своей гуманности мог привести эту вещь, наконец, и те дружеские отношения, которые были у него со многими евреями (Яков Тинский, Осип Фельдман). Эту мелочь мы привели как иллюстрацию того, что отсутствовала у покойного Дмитрия Наркисовича та общественная выдержанность, которая бывает у людей политически искушенных.

А он не любил политики и сам об этом говорил. Художника тянули прежде всего люди, характеры, а не публицистические схемы. Но сам-то он давал массу именно общественно-важного материала. И, конечно, Михайловский (к сожалению, ничего не написавший о Мамине), знавший и ценивший Мамина, как критик, мог бы сделать из его произведений соответствующие общественно-критические выводы. Жаль, что этого не случилось, что не совсем еще поняли именно общественно-политическое значение уральского таланта.

Мы упоминали уже, что всегда Д. Н. массу читал. Утром застанешь его за ворохом газет. Прочитывались всегда внимательно обе екатеринбургские газеты. Днем работал, а вечером опять за книгой.

Я помню в полуосвещенном кабинете на Верейской старые томы „Четьих-миней" митрополита Макария, какие-то раскольничьи списки, полные собрания сочинений Соловьева, Ключевского, Костомарова, литературу по Пермскому краю. Сам — в качалке или с книжкой на кровати. На канве обще-исторической литературы и явились, вероятно, последние детские исторические повести. Если не читает, то сидит и отмечает по каталогам, заказывая потом О. Ф. купить, что ему нужно. И нельзя было подумать, что книга дорога! Все, конечно, покупалось. Я помню, показывает Д. Н. редкое издание „Слова о Полку Игореве" и сейчас же с жаром начинает доказывать, что у филологов должна быть специальная кафедра для изучения этого памятника. Так ценил он русскую старину, так понимал замученную русскую красоту! И ценил ученых историков; про нашего земляка профессора М. А. Д—а Дмитрий Наркисович не раз говорил: „Этот человек, как свеча, горит перед наукой", очень ценя его исследования по русскому праву. Характерно, что другого ученого он навел на мысль заняться посессионным правом, которому сам отдал много страниц, художественно изображая быт, выросший на почве этого института. И с хитрой усмешкой всегда передавал, как Петр I в 1724 г. приказал „саксонский манир отставить", оставя в силе наши горноземельные латифундии. Вообще Мамин любил эту крупную фигуру и часто возвращался к ней.

К „новой" литературе, может быть, он и относился скептически (к модернистскому ее крылу), но я отлично помню, как, читая В. Ольнэм в „Русском богатстве", он говорил мне: „Как умеют нынче писать", относя это „нынче" именно к молодым писателям.

Молодые же писатели многие обращались к нему за советом, особенно пробующие в детской литературе. Но, кажется, последним, кто был у него, — был писатель-рабочий с одного из петербургских заводов. Это было уже во время болезни. Мы считаем это глубоко симптоматичным. Кого страшно ценил Мамин, так Толстого. Меньше Тургенева. Про Достоевского же раз отозвался: „Не понимают его теперь еще, а как поймут, то, пожалуй, еще хуже и тяжелей будет".

Что касается его работ, то в течение тридцати лет он сотрудничал в „Русских ведомостях". „Русские ведомости" в день юбилея пишут Дмитрию Наркисовичу: „С гордостью вспоминаем о вашей многолетней работе в газете". 20 лет сотрудничал Мамин-Сибиряк в „Современном мире" („Мире божием"). Очень давно помещал свои вещи и в „Русском богатстве". Последняя вещь Дмитрия Наркисовича „Пустынька" помещена в „Современном мире". Перед ней напечатаны „Поцелуй младенца", „Никчемные люди", „Трататон". Последний рассказ связан с одним из

летних пребываний Дмитрия Наркисовича в Финляндии. Описан веселый мужик — знакомец Мамина, которого он прозвал „Трататон“ за веселость нрава.

В годы петербургской жизни Д. Н. чаще всего уезжал на лето в г. Павловск. Любил он его ужасно. В Павловске и подкараулила его болезнь. Снимали маленькую дачу, Дмитрий Наркисович интересовался всегда грибами и вообще „плодами земными“, вел нескончаемые разговоры с дворником-стариком Василием[1], устраивая на завалинке целые собеседования. Вечером ходил на музыку, аккуратно присутствуя на открытиях и закрытиях павловского курзала. Особенно любил традиционно играемую здесь увертюру „1812 год“ Чайковского. Не получив никакого музыкального образования, он отличался, однако, прекрасным слухом и музыкальной памятью. Дмитрий Наркисович любил и нашу церковную музыку, вспоминая всегда афоризм, что это опера для народа. Если вспомнить еще, что Мамин рисовал, то окажется, действительно, интересное проявление ряда способностей.

Кроме Павловска зимой Мамин часто бывал в Москве, гостил здесь у друга своего Д. И. Тихомирова.

В 1900 г. Мамины после свадьбы уехали в Крым, пробыв здесь апрель и май. Здесь Дмитрий Наркисович встречался с Горьким, Куприным, Елпатьевским и др. Вторая большая поездка последних лет (1902 г.) была на Кавказ. Ездили Михайловский, Фидлер (переводчик) и Дмитрий Наркисович. От этой поездки остались фотографии путешественников в черкесских костюмах[2] и прелестная повесть М. Н-а в юмористических тонах (сборник „Старинка и новинка“).

В 1903 г. Дмитрий Наркисович путешествовал по Волге и Каме, пробыв неделю в Екатеринбурге.

Связь с Уралом, как известно, не прекращалась. Бывали у Д. Н. многие уральские батюшки, И. Н. Климшин, часто приезжала и мать — Анна Семеновна. Последнее время бывали Мостовенко, Н. Ф. Магницкий. И иногда под влиянием рассказов об Урале он начинал строить план поездки. Я помню, это было как раз после бесед с милейшим С. Е. Талиевым (уже во время болезни). Но развивавшаяся болезнь убивала всякие желания...

Одевался Д. Н. до чрезвычайности просто, и любимым костюмом его была простая синяя тужурка со стоячим воротником. Острил, что носит кашне цвета „огорченного таракана“.

Особенно непосредственен и прост он был с детьми, тут начиналось и пуганье медведем и рассказывание бесконечных анекдотов. Он дарил им свои книги, делая всегда самые смешные надписи, любил всех близких и мало знакомых, только потому, что они — дети.

4 августа 1911 г. случился роковой удар как раз в любимом им Павловске, а через год и три месяца его не стало. Положение ухуд-

---

[1] В „Голосе Урала“ от 17 ноября 1912 г., № 207, в заметке от собственного корреспондента — „С могилы Д. Н. Мамина-Сибиряка“ — говорится: „Несут профессора Батюшков и Венгеров, художник Денисов и Олькойн и, между прочим, дворник Василий, старик и большой друг Д. Н., подолгу беседовавший с ним в Павловске. Покойный никого не гнушался, и сколько у него было именно „друзей“ среди мелкого, трудового люда! Еще на юбилее ему поднес свой труд какой-то портной“.

[2] См. „Солнце России“ № 142 (43), октябрь 1912 г.

шилось с лета 1912 г., когда был еще плеврит. Пало и настроение, и надежды. Лечили лучшие петербургские силы — проф. Розенбах, Фавицкий, Жуковский.

Так в шестьдесят лет безвременно угас талант. А можно бы еще жить да жить. Ему и хотелось жить: „Я буду писать, много тем накопилось“,— говорил покойный за какой-нибудь месяц до смерти.

„Урал“— первый сборник „Зауральского края“, посвященный памяти писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Екб. 1913 г., стр. 59—63.

В. М. ГЕЙНРИХ.

ВОСПОМИНАНИЯ О Д. Н. МАМИНЕ-СИБИРЯКЕ

Их счастье было слишком непродолжительно. 22 марта 1892 г. Маруси не стало, она умерла после рождения Аленушки.

Горю Д. Н. не было границ, что видно из его писем моему отцу и его матери, выдержки из которых я позволю себе привести.

Отцу он писал: „...Не мне говорить, Мориц Григорьевич, какой прекрасный человек была Маруся... Вы потеряли только дочь, а я потерял все...“

Письма к матери отличаются еще большим отчаянием:

„...Встречу Христа в кладбищенской церкви, около своей Маруси и с ней первой похристосуюсь: теперь все надежды и радости там, за гробом... Бедная Маруся только раз поцеловала свою девочку и сказала мне про нее только одну фразу: „Митя, посмотри нашу девочку“.

Да, я буду на нее смотреть, буду для нее жить и вспоминать бедную мать... Я пишу и плачу. Каждое утро встречаю слезами...“

В другом письме он пишет: „...Счастье промелькнуло яркой кометой, оставив тяжелый и горький осадок. Благодарю имя той, которая принесла это счастье, короткое, мимолетное, но настоящее. Мое будущее в могиле рядом с ней...“

Я привел эти выдержки из писем для того, чтобы подчеркнуть глубину страданий, что лишний раз говорит о цельности и непосредственности его натуры, не знавшей середины.

В последний раз я встретился с Д. Н. в марте 1895 г. в Царском Селе, где он жил в это время и куда я приехал вместе с братом Владимиром, который имел в виду взять двенадцатилетнюю сестру Лизу[1], находившуюся у Д. Н. после смерти Маруси.

За промежуток времени со дня первых встреч, т. е. с 1890 г., бросилось в глаза происшедшее изменение не только в наружности (сильно пополнел, постарел), но и в характере.

Д. Н. стал более замкнутым, более сосредоточенным, но остался таким же милым, добрым, внимательным и предупредительным.

До сих пор, несмотря на прошедшие три года со дня смерти Маруси, он не мог вспоминать ее без слез, и говорил приблизительно

---

[1] Впоследствии вышедшую замуж за А. И. Куприна.

Аленушка (1895)

так: „Очевидно таков закон природы — большое счастье непродолжительно и влечет за собой бесконечное горе“.

Мне теперь 64 года, но я не видел ни одной матери, которая бы относилась к своему ребенку с такой любовью, с таким благоговением и заботой, с какими относился Д. Н. к своей Аленушке.

Ласкам, нежности и терпению, которые он проявлял к этому маленькому болезненному существу, не было предела. Это была какая-то особенная любовь, особенное отношение необыкновенного человека.

Я помню, как Д. Н. волновался, предполагая, что Абрамов, первый муж Маруси, в отмщение может предъявить права на Аленушку, так как она была записана под фамилией Абрамова, и потому торопился ее узаконить.

Он боялся не только того, что Абрамов может отобрать Аленушку, но и шантажировать его, а потому просил меня дать полную характеристику Абрамова.

Насколько мог, я его успокоил, сказав, что хотя он и плохой человек, но на такую подлость не способен, тем более, что о существовании Аленушки он не знает.

Когда перед отъездом зашла речь о желании брата взять к себе сестру Лизу, Д. Н. страшно заволновался и просил оставить ее ради Аленушки, которая к Лизе привыкла; да и он сам к ней привязался.

Вопрос для разрешения был предоставлен самой Лизе, которая, несмотря на очевидное желание поехать с братом, оставить Аленушку не решилась и таким образом осталась у Д. Н.

Приведенные черты характера Д. Н. были бы не полны, если обойти молчанием его необыкновенную доброту и благородство.

В 1890 г. отец Маруси заболел настолько серьезно, что лишился совершенно трудоспособности, почему Маруся и старший брат Владимир обязались каждый высылать ему по 25 рублей в месяц.

После смерти Маруси, Д. Н., узнав, что брат один не в состоянии поддержать отца, начал высылать ему ежемесячно по 25 рублей и просил не отказываться от этих денег „в память Маруси“.

Это он делал в то время, когда сам нуждался и во многом себе отказывал, лишь бы помочь больному отцу Маруси.

Много лет прошло с тех пор, я уже состарился и должен сказать, во имя справедливости, что таких людей, как Д. Н., я на своем жизненном пути не встречал. Это был действительно не только большой талант, но и большой человек, в лучшем смысле этого слова.

Свердловск. Февраль 1936 г.

С. Я. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ

ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ МАМИН-СИБИРЯК

Я встретил его в первый раз в 1893 г. на редакционном ужине у Н. К. Михайловского. У меня осталось в памяти бледное лицо, красивый белый лоб и в особенности глаза, большие, черные, прекрасные глаза. И особая ухватка, манера, интонация голоса, яркие словечки и неизменная трубочка. От него веяло нето что провинциализмом, а чем-то непетербургским, своеобычным и оригинальным.

С тех пор мне часто приходилось встречаться с ним в разнообразных литературных кругах и у меня только усиливалось и подчеркивалось это первое впечатление своеобычности и оригинальности. Он был всегда заметен во всяком обществе и всегда выделялся на фоне петербургских лиц своим тоном, своими манерами, своей ухваткой. И когда собиралось большое литературное общество, казалось, что он не принадлежит ни к одной из разнообразных групп, собиравшихся там, что он особняком и сам по себе. И позиция его в Петербурге была особая.

По своему направлению, по литературной близости, он примыкал ближе всего к „Отечественным запискам“ и „Русскому богатству“. Собственно, направление Мамина-Сибиряка нужно принимать с большими оговорками. С „Русским богатством“ его объединяла общая народническая линия, глубоко залегавшая в душе Мамина, но залегавшая не как формулированная, договоренная политическая и социальная программа, а как неискоренимая тяга к народу, глубокое проникновение в дух и характер народа. Большую роль играли и его личные отношения с людьми „Русского богатства“ и в особенности с Н. К. Михайловским, к которому Мамин относился с совершенно исключительным уважением и с какой-то особой нежностью, даже не гармонировавшей с общим, немного суровым обликом, Мамина. Такие же личные отношения с покойной издательницей „Мира божьего“ А. А. Давыдовой связали его на долгое время с этим журналом.

И к Мамину было особенное отношение разнообразных литературных кругов. Как-то по особому к нему подходили разные люди, и какое-то особое отношение установилось к Мамину у самых разнообразных людей. Он был прямой, иногда резкий в своих суждениях, его полновесные остроты, его яркие словечки, случалось, задевали людей,

и Мамину прощалось то, что не простилось бы другому, может быть, именно потому, что Мамин был прямой, открытый, не желавший обижать людей,— потому что Мамина любили. В нем не было отгороженного, резко отграниченного —„отсюда и досюда", что мешало бы ему вести знакомство и быть более или менее близким с широкими разнообразными кругами. И у него были обширные знакомства, начиная от старых людей, которые интересовали его, как типы, включая артистов и художников и всю сборную и разношерстную интеллигентскую петербургскую публику и кончая старообрядцами,— моими знакомыми нижегородскими старообрядцами, которые рассказывали мне, с какой приятностью проводили они долгие вечера с Маминым.

Главный круг его знакомства был, впрочем, литераторы,—и верхи и низы литературы, всяких обликов и направлений, кроме подлых. И по существу он был литератор, прежде всего и только литератор. У него не было отхожих промыслов и подсобных занятий, он не служил, не принимал участия в каких-нибудь учреждениях и организациях, помимо литературы, он был весь в литературе и в том, что связано с литературой.

Тоже одно из первых моих впечатлений и самое характерное для Мамина,— он был уральский человек. Мне пришлось четыре года прожить около Урала, у меня были обширные знакомства и докторские связи с уральскими заводчиками и купцами, служащими и рабочими, и когда я смотрел на Мамина, я невольно вспоминал уральские типы.

Уральские люди особенные. Может быть, оттого, что они потомки беглых людей, убегавших на Урал от государственного и барского гнета, от религиозных преследований, просто из жажды воли и широкой жизни; может быть, потому, что уральским людям всегда приходилось бороться с лесом и зверем, с горами и бурными горными реками, вонзаться в недра земли,— в розысках золота, руд и драгоценных уральских камней,— там сложился особый тип населения, резко отличающийся от коренного, срединного земледельческого крестьянства.

Может быть, не вполне точна прибавка-псевдоним к фамилии Мамина — Сибиряк, и было бы правильнее прибавление к Мамину — Уралец. Место, откуда он вышел, еще не настоящая Сибирь, это все-таки Урал, перевал, грань между Россией и Сибирью. Там нет той этнографической мешанины, какая есть в настоящей Сибири, там коренное старорусское население, и если на уральском облике сказываются уже некоторые сибирские черты, то главное, что определяет этот облик,— русское, старорусское[1].

---

[1] Вопрос о том, почему Мамин выбрал псевдоним „Сибиряк", а не „Уралец", вставал уже не раз, в особенности перед его земляками — уральцами. Псевдоним был взят Маминым в начале 80-х годов, точнее в 1883 г. В это же время известный путешественник-этнограф Максимов пишет: „Во всяком случае, несомненен тот факт, что в северной, лесной России, до Нижегородской ярмарки и московского Гостиного двора включительно, Сибирь принимается в старинном, истинном смысле и признается за Сибирь весь восток России по ту сторону реки Камы и еще вернее — все местности от левого берега Вятки с неизбежным подозрением и на ближайших к ним по соседству... („Исторический вестник", 1884, кн. 2, „В немшоной стране").

Правда, дальше Максимов говорит, что Екатеринбург „все-таки не Сибирь, хотя и торгует сибирскими самоцветными камнями, салом, шерстью прямо из киргизских степей, даже сибирским мясом и медом". Но уже самая постановка

Там живы легенды про Ермака и Пугачева, старые сказания о лесных подвижниках, о старых отчаянных людях, о всяких искателях, о землепроходах. Там нет русской покорности, смирения и незлобивости, мягкости и гибкости,—там люди более суровые, с большим чувством собственного достоинства и более смелые, нередко бесстрашные люди. Там еще сохраняются старинные русские песни, и особая старая интонация голоса, и редкостные слова, давно забытые в центральной России, которые можно встретить в старой новгородской летописи. Там говор на о, там меньшее количество слов, короткие фразы, старинные крепкие остроты, сильные жесты, суровая нежность. И издревле там укрывалось и хранилось древлее благочестие, древний уклад жизни в постройках, в манерах, в обычаях.

Там сильные люди. Я не встречал в России таких могучих тел, как на уральских заводах, такого роста, такой силы, такого идеального мужского сложения. Когда я изумлялся необыкновенным фигурам забойщиков на золотых приисках Енисейской тайги, тех, кто идет впереди траншеи и отбивает кайлой породу, провожавший меня золотопромышленник ответил мне, как нечто, совершенно не требующее дальнейшего объяснения: „Да ведь это екатеринбургские“.

Мамин был уральский человек. Кряжистый, словно сколоченный, сильный и смелый человек. Он был весь полностью от Урала,— обликом, ухваткой, чувствованием, думанием. В нем много было от мглистых еловых лесов и белорадостных березок, от горных вершин и угрюмых скал, от уральского камня, от бурных горных речек, от всей уральской жизни, от людей и зверя, от старых преданий.

Он знал Урал, как, может быть, редко кто. Он знал еще старый Урал, дореформенный древний Урал. Ему было двенадцать лет, когда была объявлена воля, на его глазах входила в Урал новая жизнь, начиналась и развертывалась ломка старого, и входило новое, разрушавшее это старое. Уже сложившимся человеком он наблюдал, как приходил на Урал господин капитал, как ломал он старые устои жизни, как появлялись на Урале новые, хищные типы,— вставали изнутри, прилетали извне.

Он юношей и взрослым человеком с ружьем за плечами исходил Урал по горам и лесам, изъездил его верхом, исколесил в лодках и на баржах, по бурным рекам, бродил по старым заводам, по глухим деревням, где хранился еще старый уклад жизни, по старым могилкам, среди старых людей.

вопроса говорит о том, что Урал, в частности Екатеринбург, многие были склонны считать Сибирью. Слово Урал, а отсюда и уралец в то время если и употребляли, то в отношении той территории, которую занимало уральское казачество, территории по реке Уралу.

В глазах обеих столиц, куда направлял свои произведения Мамин, он был и чувствовал себя сибиряком. К. В. Боголюбов сообщает со слов одной из старожилок (жены И. Н. Климшина), что фамилия Мамин (по словам Д. Н.) вызывала очень часто, особенно в семинарии, смех и реплики: „Мы все Мамины... у каждого мама есть... А почему не Тятин?“ Это будто бы и заставило его взять себе предложенный Фельдманом, одним из приятелей, псевдоним „Сибиряк“.

Одно из первых произведений „Неудача“, написанное еще в студенческие годы (напечатано много позднее), в рукописи подписано псевдонимом Д. Рассказов, который очевидно не привился.

Так он и донес до могилы Урал в своей душе... Да, он прожил целую петербургскую жизнь, он вращался среди той сборной русской интеллигенции, которая шла в Петербург с юга и севера, востока и запада, жил общей с ней жизнью, но до самого конца оставался Маминым-Сибиряком, уральским Маминым. Он был породистый, сильный человек, цельный и целостный, неломкий, негибкий, негнущийся. Он был как обломок яшмы, красивой, узорчатой яшмы, занесенный далеко от родных гор. Он имел общий интеллигентский облик, но за полированной поверхностью яшмы была глыба цельной породы, чистой, твердой, без трещин и излучин.

И он претворил в своем художественном творчестве Урал, весь Урал, и вернул его своей родной земле прошедшим через великое художественное восприятие, претворенным ярким художественным творчеством. Он отразил в своих писаниях все, что внес в его душу Урал, его суровость и поэзию, буйную радость уральской весны и угрюмую печаль окутанных мглою узких долин и темных лесов, и душу уральских людей, хищных и кротких, отчаянных и молитвенных. Он не был тем, что называется этнографический писатель,— слишком яркими и широкими красками рисовал он, слишком много общерусского в нарисованном им Урале,—и, можно сказать, он вернул Урал не только Уралу, но и России, в особенности вернул старое, древнерусское, исконное, что лежало в старом Урале.

Он все дал в своем художественном творчестве: и новую жизнь, которая развернулась на Урале за последние сорок-пятьдесят лет, всю ту капиталистическую, духовную и бытовую, эволюцию, которую Урал переживал вместе со всей Россией, и новые типы, и новый уклад жизни, вызванный этой эволюцией, но особым художественным любованием была обвеяна у него старая Россия, старый Урал. Детские и юношеские впечатления,— особенно крепкие и цепкие, и они особенно глубоко залегли в душе Мамина. Он особенно любил или, вернее, облюбовывал людей старого воспитания, старого уклада, коренные, цельные, исконные русские типы,—будут ли то дореформенные безумно дикие исправники, заводские управители и владельцы, охотники и лесные люди, молитвенники в темных лесах, бурлаки и сплавщики, бабы раскольницы с своим старым строгим укладом души.

У Мамина был большой талант, я позволил бы себе сказать, специально русский талант, стихийный, даже немножко дикий, с древним неутраченным непосредственным чувством природы, напряженным особым чувствованием леса и горы, реки и долины, зверя и человека, как у родственного с ним Куприна, у которого такой же стихийный талант, такое же непосредственное, напряженное чувствование природы. И Мамин не однотонный художник. На его палитре всякие краски, у него есть юмор и лирика, суровая сила и огромная нежность, яркий быт и тонкие и глубокие духовные переживания.

У него была и особая манера писания,— сразу, быстро, иногда без помарок. У него все было — и широкие огромные полотна: „Горное гнездо“, „Приваловские миллионы“, „Три конца“, „Хлеб“,— и были тонкие миниатюры, как „Могилки“, как эпизоды из его скитаний, где все только улыбка или вздох, или жалоба. У него были картины широкого разгула, озорства и дикой отчаянности и кроткие фигуры одиноких брошенных людей и молитвенных созерцателей, у него были картины

обывательской жизни и „Аленушкины сказки“, такие детские сказки, та полные переживания детской души, и Емеля-Охотник, и про Воробья Воробеича...

Была еще особенность в его художественном творчестве,— правда. Он никогда не руководился в своих писаниях так называемыми течениями в русской литературе, чужими влияниями и требованиями рынка, он сам всегда был судья над собой. Он отражал в своем художественном творчестве жизнь, как она отражалась в его художественном восприятии; он не был фотографом и всегда претворял жизнь в своем художественном изображении. Он не относился к явлениям народной жизни с порицанием и осуждением или похвалой и оправданием; он не возвеличивал и не преуменьшал народную жизнь, но и не был безразличным писателем.

Повторяю, он был народник, народник по кровной связи с народом, которую он не мог, если бы и хотел, отделить от себя, как нельзя самому отодрать кожу от своего тела. Он был народник, потому что он сам вышел из народа, по близости к нему, по любви сердца, и главная струя симпатий его была направлена на то, на что направлена была у многих других старых русских писателей,— на народ, на рабочих, на крестьян, на обездоленных, на страдающих людей. Их он обвеял своей лаской, своей суровой нежностью, своим жалением.

Мамин был человек старого воспитания, старых устоев. И не потому только, что помнил крепостную жизнь, знал старую жизнь. Он любил все настоящее, старорусское, натуральное, истовое, коренное. Он искренне любуется, как ест в буфете старый, типичный русский барин, только потому, что барин цельный, настоящий и по-настоящему, по-барски ест,— и заглавие рассказу Мамин пишет: „Настоящий...“ И в этом объяснение, почему так часто и с такой авторской любовностью обращается Мамин к старообрядчеству, где так много настоящего, коренного, истового, где старорусское так тщательно сохраняется, так ревниво оберегается...

И как писатель,—он был старого воспитания, старых, уходящих из жизни литературных традиций.

Для него литература была не только „выявление“ своего „я“, но и миссия, святость, служение родине. Он шел туда, где ему роднее, он, живший „от строчки“, никогда не вводил коммерческого расчета в свою литературную деятельность, и трудно представить себе, чтобы Мамин торговался из-за гонорара и пошел в чужое место только потому, что там больше дают. И, сам нуждаясь, он как Крез раздавал направо и налево бесплатно свои рассказы в многочисленные литературные сборники, появлявшиеся одно время с благотворительной целью, и когда задумывались те или другие сборники — первым упоминалось имя Мамина, как неизменного поставщика.

Он любил и ценил только литературу старых традиций, так сказать, общерусскую литературу, обращавшуюся ко всей России, к широким массам населения, не забывающую о народе.

И ненавидел глубокой маминской ненавистью то утонченное, вернее истонченное, что вскрылось в литературе за последние годы,—глубокую оторванность от жизни и от народа, обращение не к широким слоям русского населения, а разговоры промежду себя, обращение к малой кучке утонченных и истонченных людей, стилизацию, жертвующую со-

держанием стилю, доходящую до того, что остается один стиль и исчезает не только содержание, но и смысл.

Теперь идет отбой, но тогда, во время моего близкого знакомства с Маминым, был медовый месяц этого нового направления в русской литературе и не было пределов негодованию и презрению Мамина.

В высокой степени характерен для Мамина его язык, позволительно сказать, маминский слог. Ему не нужно было обращаться к словарю Даля и заимствовать оттуда народные выражения, как теперь практикуется, для того, чтобы стилизовать слог под народ. Я уже упоминал, что у Мамина еще сохранилось давнее народное непосредственное чувствование природы,— у него сохранилась и народная манера думать образами и образно выражать свои мысли. По своей писательской манере он примыкал к старшему поколению, к мастерам слога, сделавшимся классиками; у него та же благородная простота великолепного русского языка, та же сдержанность, так сказать, скромность языка в пейзаже и жанре, в изображениях поэзии природы и человеческих чувствований,— но у Мамина была и ярко выраженная индивидуальность, свой маминский язык. Уже масса уральских слов, драгоценных, крепких, старых русских слов делает его язык особенно богатым, оригинальным и колоритным, и потому его слог был волнующий, сильный и гибкий, так ярко передававший суровое и сильное, нежное и молитвенное. Не будет преувеличением сказать, что такой яркий, цветной, узорчатый и коренной образный народный язык можно встретить только у немногих русских писателей прошлого и настоящего.

В особенности настоящего...

Может быть, рост городов, новая концентрация интеллигенции, огромная роль Петербурга в литературе создали или, вернее, создают тот новый, утонченный, стилизованный, чисто интеллигентский язык, я бы назвал, петербургский слог, которым пишут теперь многие писатели,—не простой язык, не скромный, вывихнутый и, несмотря на все вывихи, в существе плоский и скучный, лишенный красок и аромата подлинного, вечно возрождающегося и обновляющегося великолепного русского языка.

Ближе я сошелся с Маминым в Ялте, куда он приезжал гостить[1]. В приятельство он вступал очень легко и быстро, но редко подпускал к себе близко людей и, чувствовалось, с некоторой опаской.

В Ялте,— потому ли, что его не дергала петербургская жизнь и все то, что связано было у него с писательством, потому ли, что около него сразу образовался кружок ялтинских людей, чтивших и полюбивших его,— он был другой, не петербургский, менее сторожкий, спокойный, умиротворенный и — как бы сказать — ясный. И в Ялте я узнал, какой был Д. Н. Мамин, несмотря на свою кажущуюся суровость и даже некоторую резкость, милый, хороший и простой человек и, в особенности, какой он был внутренно интересный, своеобычный и оригинальный человек.

Скоро у нас образовались правильные заседания в городском саду, или днем, когда мы, врачи, оканчивали приемы и освобождались от спешных визитов, или вечером, когда все были свободны и можно

---

[1] Мамин был в Крыму в 1896 и 1900 гг.

было посидеть подольше. Тогда к нашей беседе присоединялись знакомые дамы, и общество делалось шире. Когда Д. Н. был в добром расположении духа, он набивал и закуривал трубочку и говорил:

— О-отец дья-якон рассказывал...—И Мамин своими огромными черными глазищами оглядывал публику.

Тогда мы знали, что будет веселое собеседование. О. дьякон был уральский человек и всегда рассказывал веселые вещи, иногда посоленные крупной уральской солью, но всегда яркие, остроумные, рассказывал короткими фразами, неожиданными и яркими образными выражениями. Когда я слушал рассказы Мамина, когда вставал предо мной его необыкновенный запас наблюдений, удивительные типы людей, с которыми он встречался и которых он умел обрисовывать короткими штрихами,—я невольно думал, как много неиспользованного осталось из богатства его наблюдений и силы его творчества. От Мамина никому не хотелось уходить, так остроумен он был, так весел и оживлен делался общий разговор. Об одном он избегал говорить в обществе — о себе, как писателе, о своих литературных произведениях.

Он не сделался приверженцем Ялты,— слишком много было в нем Урала и слишком глубоко сидел в нем Урал. Д. Н. одобрял море и горы, а ту красоту ялтинской растительности, которой мы любовались, не одобрял. И кипарисы, и мудреные привозные ливанские и гималайские кедры, и магнолии и „слишком много роз“,— и кажется, единственное исключение делал для чудесной лиловой глицинии, которая длинными пахучими гроздьями увивала его балкон в „Джалите“. И не раз корил меня, что я, тоже северный человек, изменил своему северу и перекинулся на сторону юга. Всю свою антипатию к ялтинской растительной пышности он изливал на уксусное дерево — бедное, всеми гонимое, но милое, удивительно неприхотливое и цепкое дерево с перистыми листьями, и когда я пробовал заступиться за Крым и за уксусное дерево, он начинал донимать меня:

— Вот увидите, напишу!.. Непременно напишу роман из ялтинской жизни... Так и начинаться он будет,—двое возлюбленных или „он и она“— сидели под тенью уксусного дерева... И весь роман совершаться будет,— он растягивал слова,— по-од тенью уксу-у-сного дерева.

Ему недоставало уральской елочки, белой березки, того, что ему милее было и пальм, и каштанов, и великолепных магнолий. Раз, я помню, разговорились мы вдвоем про наш север, и как-то затих он, полез в карман, достал оттуда аккуратно сложенный пакетик в тряпочке и разложил на столе уральские камешки,— должно быть, носил он пакетик постоянно в кармане,— чудесные редкостные уральские камни, золотистые топазы и изумруды, и хризолиты, и таинственный александрит, что горит то красным, то зеленоватым огнем, и рубины, и сапфиры. Сбежало с его лица обычное насмешливое выражение и, мягкий и сосредоточенный, стал он подавать мне по камешку и ронял короткие фразы,—где на Урале родился камешек, как при нем вынули его из земли, у кого покупал, кто и почему подарил ему тот или другой камешек и как живут люди, добывающие камешки, и как работают над ними. И забыл про уксусное дерево, под которым как раз сидели мы, и, должно быть, весь был там, где родятся его камешки...

Он мало интересовался ялтинской публикой и, кажется, кроме нашего тесного кружка, ни с кем не вел знакомства. Кроме базара... Ка-

жется, тотчас же после приезда в Ялту Д. Н. пошел на базар разыскивать „российских“, натуральных людей. И нашел. Прежде всего старика-квасника, кажется Степаном звать, с которым и вступил в приятельство. Я нередко по утрам, когда приходилось рано выезжать из дома, встречал на набережной Дмитрия Наркисовича, с неизменной трубочкой, медлительно и важно шествовавшего по направлению к базару.

— Куда?—спросишь.

— Квас пить.

Всякое утро ходил он пить квас у Степана, и вели они по душам долгие, должно быть, обоим приятные, разговоры, а в городском саду в тот же день мне сообщались все базарные новости, неизвестные мне, постоянному жителю Ялты.

Раз он встретил меня в городском саду особенно оживленный.

— Сейчас тамбовских встретил... Артель пришла, мост строить через Черное море в Царь-Град.

С тамбовскими людьми познакомил Мамина тот же квасник, и тамбовские люди объяснили Мамину, что у них слухи прошли, что русский царь велел строить мост через Черное море к Царь-Граду, и что мост будет длинный, и поэтому работы будет вдосталь. В тот день Д. Н. был очень оживлен и весел. Великолепно изображал он мне почтеннейшего с чудесной бородой седого старика-крестьянина, стоявшего во главе артели и державшего всю артель в ежовых рукавицах и глубоко верившего в постройку моста через Черное море к Царь-Граду.

И было видно, как он обрадовался, что разыскал коренных российских людей в Ялте, натуральных, исконных русских людей.

Есть задачливые люди и есть незадачливые. Одним жизнь — скатертью дорога, другим — вся загорожена волчьими ямами, проволочными заграждениями.

Литературный успех иногда сразу завоевывается первыми же произведениями, иногда, лишь постепенно нарастая, все выше и выше возносит человека...

Жизнь не задалась Мамину. И личная жизнь... Хотя бы из его в значительной мере автобиографического рассказа „Черты из жизни Пепко“ видно, как тяжко и горько складывалась молодая жизнь Мамина. А потом наладилась было. Свил он себе гнездо, по своему сердцу, по своей душе. А жена умерла после родов, оставивши ему девочку... Мамин был человек глубокого чувствования, и я знаю от покойного Н. К. Михайловского, какую муку перенес Д. Н. Мамин. И, может быть, нежная забота, которою окружил его Михайловский, поддержка мужественной души помогли Мамину пережить этот тяжкий удар. Сам Мамин в свойственных ему сдержанных выражениях говорил мне, что отсюда пошло хорошее отношение его к Михайловскому, исключительная его любовь к Михайловскому.

Незадачлив он был и в литературе. Он сам рассказывал мне в Ялте, как он девять лет посылал в разные редакции и рассказы, и романы, и повести и девять лет получал отовсюду отказы. И не вспыхнул он сразу успехом и славой и не нарастали и не наросли до могилы слава

и успех Мамина даже приблизительно в той мере, в какой приличествовало ему. Да, Мамин... признанная величина, но какая-то неподвижная, сразу остановившаяся на мертвой точке. И размеры этой величины в широких слоях публики не повышались и не понижались, а именно оставались на мертвой точке признания и забвения.

Есть в этом нечто удивительное. У него не было перепевов с чужого голоса, он сразу вышел в литературу не подражателем кому бы то ни было, а ярким, оригинальным и своеобычным писателем, и первое, помню, обратившее на себя общее внимание, произведение „Бойцы", напечатанное в „Отечественных записках" (1883 г., кн. 7—8), отличалось не только талантливостью, но и яркостью и оригинальностью темы, и манерой использования темы.

Он был большой талант и не однотонный талант, у него была большая палитра красок,— и все-таки он не имел должного успеха. Нельзя объяснить это и тем, что он поздно пришел, что он попал на безвременье, когда вкусы публики ушли от старых бытовых приемов в русской беллетристике. В некоторых отношениях он даже попал в исключительные условия. Старые беллетристы сходили со сцены и не вставали еще новые, начинал он в том журнале, который задавал тон русской публике, и всегда печатался в наиболее распространенных журналах, и, повторяю, успеха не имел,— приличествующего яркости и оригинальности таланта Мамина.

Да, он знал, что верхи литературы всегда чтили и по-должному ценили его талант, но почему-то не писали о нем критики и, кроме статьи Скабичевского в „Новом слове" (1896 г., кн. 1—2) и статьи Альбова в „Мире божьем" (1900 г., кн. 1—2), я не запомню больших общих статей, посвященных Мамину. И публика шла мимо. Не то, что не осаждали его интервьюеры, не снимали его за обедом, за завтраком, в ванне, в спальне для иллюстрирования в журналах — это все явления самоновейшего времени; но никогда не создавалось шума около него, яростных споров,— шума, может быть, бестолкового, но неизбежно сопровождающего всякий успех. Да, в провинции любили, знали и чтили и читали его; там спорили и обсуждали, но этот провинциальный шум не доходил до Петербурга и Москвы и не сказывался в столичных толках.

Сколько он написал и как он написал, мало кому теперь известно... Мимо него шли люди в академию, шли на свои юбилеи, а он оставался на Верейской улице, забытый и покинутый... И я не знаю другого — как бы сказать — более иронического или трагического юбилея, как справленный над Маминым, над умиравшим и лишь изредка приходившим в сознание писателем. Люди вспомнили о забытом и покинутом писателе, когда лежал он распростертым на смертном одре, когда звуки жизни уже не доносились до него, и прочитали над ним адрес, как отходную молитву. Так юбилей и закончил писательскую жизнь Мамина-Сибиряка, завершивши и подчеркнувши его литературную судьбу.

Он лежал в гробу, и ничего не осталось от живого Мамина, которого я так близко знал, которого я только два года не видел. Мне много приходилось провожать в могилу близких людей. Изменяла их

болезнь, изменяла смерть, но я в первый раз видел, как в мертвом ничего не осталось от живого, как по-другому и даже по-противоположному перестроилось мертвое лицо.

Это было так поразительно, что потом мне невольно приходило в голову, что если бы судебная власть заставила меня показать под присягой, кто лежит в гробу, я бы с глубоким убеждением присягнул, что это не Мамин. Не в том дело, что он был худой и бледный и что лицо из круглого стало продолговатым, а в том, что не осталось ничего, совсем ничего от Мамина, которого я знал двадцать два года, от его смелого облика, его насмешливого выражения лица. Закрыты были большие его глаза, и грустно, и жалобно, и как-то покорно сложились губы под незнакомыми мне редкими усами. Не было бороды у него, и старые буйные волосы легли мягкими тонкими волосиками над его высоким лбом. И, что было самое поразительное, лицо его приняло древний иконописный облик долго постившегося и много молившегося человека,— русского человека из давнего прошлого, старого письма. И так подходили к этому лицу и монахиня, что читала в углу протяжным голосом старые протяжные молитвы, и альт, удивительным надрывным и болезненным голосом певший „Вечная память", и ладан, и кадило, и свечи... Строгое скорбное лицо словно наблюдало с подушки, так ли все, по-старому, истово, как должно...

Было сиро и бедно людьми около гроба. Все старики, седые люди, которых непременно встречаешь на похоронах. Больше дам, чем мужчин,— искренно горюющих, соболезнующих дам. А молодежи совсем не было.

На другой день, когда выносили гроб,— собралось больше людей, изредка виднелась молодежь, но тоже больше не молодые лица, сверстники, немножко постарше, немножко помоложе. И когда процессия двинулась, я услышал разговор в толпе:

— А знаете, я только что еще две телеграммы получил. Трогательные — одну от курсисток, другую от учительниц.

Мне послышалось слово — из Варшавы.

— Это по случаю смерти?

— Нет, по случаю юбилея.

Немножко запоздал юбилей, немного опоздали телеграммы.

Мамин умер, но не умерли его художественные произведения.

Нужно думать, что и не умрут, что к Мамину еще вернутся люди. Да, он недостаточно признан, но не всех признают при жизни, и мы знаем не один случай, когда людей признавали даже и не к сорокалетнему юбилею, а долго спустя после смерти. На наших глазах в общем признании встает Тютчев, мало оцененный широкими слоями современников. Да, учащаяся молодежь не пришла хоронить Мамина, очевидно, мало читает, мало знает его, но странное явление наблюдается в настоящее время в России. Есть многочисленные свидетельства, что учащаяся молодежь ушла от старых писателей и редко читает Тургенева, Гл. Успенского, Салтыкова, и тоже есть многочисленные свидетельства, что новый читатель, встающий из народа, идет именно к старым русским писателям. Близко знакомый мне депутат-рабочий, вполне осведо-

мленный в фабричном районе, пославшем его в Думу, и в крестьянстве, примыкающем к его фабричному району, рассказывал мне, что рабочие и крестьяне усиленно читают не только Толстого и Некрасова, но и Тургенева и Салтыкова, и что именно Салтыков становится их любимым русским писателем.

Вернее будет сказать, что к Мамину пойдут. Будут итти и писатели, и интеллигентные люди, которые отвернутся от острого и пряного и будут искать здорового и сильного, чудесных ярких образов и которые в особенности будут у него искать настоящего, художественного русского языка.

Признает его народ. Придет к нему коренная Россия, которая встает в своем понимании, та будущая читательская масса, которая скоро будет иметь свое властное суждение о литературе, которая потребует от писателя содержания, ответа на свои духовные запросы.

Она придет к Мамину, такому родному и близкому, такому яркому и художественному, такому ясному и понятному для широких масс.

И, может быть, он скоро сделается там классиком, может быть, будет избран там академиком.

„Русское богатство“, 1912.

Н. Д. ТЕЛЕШЕВ

ИЗ ВСТРЕЧ

В самом начале моей литературной работы я однажды попал в литературный кружок, собиравшийся по субботам в квартире Тихомировых, издателей журнала „Детское чтение". Один из моих рассказов был только что напечатан в этом журнале, и вот я оказался вдруг среди писателей и журналистов с известными именами.

Секретарь редакции Н. А. Соловьев-Несмелов, добродушный, но угрюмый старик, бородатый, с седыми кудрявыми волосами, взял меня, как новичка, под свое покровительство и все время подводил меня то к одному, то к другому — знакомить.

Среди собиравшихся бывали писатели: Альбов, Баранцевич, Златовратский, Станюкович, Вас. И. Немирович-Данченко, драматург Невежин, профессора московского университета, критики, народные учителя, редактора газет и журналов, артисты оперы и драмы, литературная молодежь... Здесь же у Тихомировых обычно останавливался и гостил, когда приезжал из Петербурга, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Как раз в это время в „Детском чтении" начались печатанием его рассказы, полные сердечности и тихого легкого юмора, составившие потом прекрасные книжки для детей под общим названием „Аленушкины сказки" и „Светлячки".

Много раз и не мало лет встречал я Мамина-Сибиряка на этих тихомировских субботниках, и никогда не замечал, чтобы он был не в духе. Напротив, всегда приветливый и сдержанно-веселый, он любил рассказывать о всяких людях, о встречах с ними, о разных пустяках и курьезах, и рассказы его бывали всегда забавны, остроумны и талантливы. Не любил он только говорить о своих литературных делах и держал себя так, как будто был он кем-то иным, но только не писателем.

Во время ужина Мамин не садился обыкновенно в почетные углы, к знаменитостям, возле хозяина, а предпочитал середину стола, среди простых смертных, хотя его всегда пытались пересадить на видное место, но он не шел. Зато перед ним, в виде исключения, ставилось пиво, до которого он был большой охотник, и выпивал его не мало, хотя и говорил в шутку своим соседям по столу:

„Из-за него, окаянного, я всю свою прежнюю красоту потерял".

Через несколько лет после нашей первой встречи у Тихомировых, когда в 1900 г. образовалась уже литературная „среда“, объединившая почти всех выдающихся писателей той эпохи, во главе с молодым Горьким, имевшая не малое общественное значение, Мамин вошел членом в эту среду и бывал иногда на наших собраниях как желанный гость, во время приездов его в Москву.

Когда мы издавали от нашей группы сборники, Мамин всегда бывал с нами. В одном из писем он писал мне: „Очень рад, что ваш товарищеский сборник состоится, а также и тому, что мое имя появится на его страницах...“

В 1900 г. мы встретились с Дмитрием Наркисовичем в Ялте. Вспоминается наше нашествие на Антона Павловича Чехова,— конечно, с его предварительного согласия и зова. Целая группа явилась к нему из Ялты в его Аутку. Были здесь, помнится, Горький, Мамин, Елпатьевский, Бунин, Куприн, художник Нилус, писавший в то время с Чехова портрет, и еще, если не ошибаюсь, артисты Художественного театра: старик Артем и Книппер, ныне народная артистка республики — Книппер-Чехова.

Помню, что Крым не произвел чарующего впечатления на Мамина, как на человека „северного“, и он в знаменитой книге автографов в книжном магазине Синани, где расписывались за многие годы многие знаменитости искусств, науки и литературы, написал: „Ехал в Ялту с радостью, уезжаю из Ялты с удовольствием“.

Синани был очень изумлен такой оценкой Ялты, в которую был влюблен, и всем знакомым говорил:

— Вот Мамин-Сибиряк большой писатель, а про нашу Ялту написал такое, что даже верить не хочется.

Правильно и очень метко характеризовал его наш общий друг С. Я. Елпатьевский. Он говорил:

— Мамин — это уральский человек, кряжистый, словно сколоченный, сильный и смелый человек. Он весь полностью от Урала — обликом, ухваткой, чувствованием, думанием. В нем многое от мглистых еловых лесов и белорадостных березок, от горных вершин и угрюмых скал, от всей уральской жизни, от людей и зверя, от старых преданий...

Всегда спокойный и в меру шутливый, с большими черными красивыми глазами, с непослушной прической седеющих волос и с неразлучной трубочкой в руках или в зубах, Дмитрий Наркисович Мамин производил впечатление беспечального россиянина, прожившего недурно две трети жизни и очень спокойного за последнюю треть. Он был уже автором многих романов, печатавшихся в лучших журналах того времени. Произведения его читались публикой с большой охотой. Одни интересовались интригой и разнообразием действия, другие — характерными типами, иные природой, бытом, этнографией.

Но в то время как другие, менее заслуживающие внимания, возводились хотя бы на недолговременные пьедесталы, Мамин оставался в тени. И эта несправедливость несомненно чувствовалась и им самим, хотя он не показывал даже вида, что ему это больно.

Москва. Май, 1936.

М. ГОРЬКИЙ

ИЗ ОЧЕРКА „ЧУЖИЕ ЛЮДИ“[1]

Однажды, не встретив Д. Н. Мамина-Сибиряка в городском саду. Ялты, обычном месте наших свиданий, я пошел к нему в пансион и, войдя в комнату Мамина, сразу наткнулся на выпуклые глаза. Яркий блеск их тотчас напомнил мне вечер на Лабе, босяков и доктора в чесунче.

— Вот, знакомьтесь,— сказал Дмитрий Наркисович, махнув на гостя короткой, толстой рукою,— интересная мнаэма!

Гость приподнял голову и снова опустил ее, упершись подбородком в край стола; так — голова его казалась отрезанной. Сидел он согнувшись, далеко отодвинув стул, руки его были скрыты под столом. С обеих сторон лысого черепа рогато и задорно торчали вихры сивых волос, открывая маленькие уши. Мочки ушей оформлены резко, как будто вспухли. На бритом лице воинственно топорщились серые усы. На нем синяя рубаха, оторванный ворот ее не застегнут, обнажает кусок грязной шеи и мускулистое правое плечо. Сидит он так, как будто приготовился перепрыгнуть через стол, а под столом торчат его босые ноги в татарских туфлях. Зорко присматриваясь ко мне, он говорит знакомым, ленивеньким баритоном:

---

[1] Впервые очерк „Чужие люди“ был напечатан в журнале „Беседа“, 1923 г., № 2. Берлин. В очерке Горький говорит о двух встречах с босяком-доктором А. И. Рюменским, из которых вторая произошла в Ялте, у такого же любителя наблюдать „живого“ человека, как Горький, у Мамина-Сибиряка.

Немногими штрихами, буквально мимоходом, так как главное внимание его обращено на Рюменского, Горький дал нам фигуру Д. Н. именно такой, каков он был в ту минуту, застигнутый врасплох, каким, к сожалению, к концу жизни его все чаще и чаще видели современники.

Но болезненная склонность Мамина-Сибиряка к вину, так хорошо известная Горькому, не мешала, однако, ему очень высоко ценить его талант и литературную работу.

„Ваши книги,— пишет он в письме, находящемся в Свердловском областном музее, к Мамину-Сибиряку в день его юбилея в 1912 г.,— помогли понять и полюбить русский народ, русский язык. Почтительно и благодарно кланяюсь вам, писателю воистину русскому. Когда писатель глубоко чувствует свою кровную связь с народом — это дает красоту и силу ему. Вы всю жизнь чувствовали творческую связь эту и прекрасно показали вашими книгами, открыв целую область русской жизни, до вас незнакомую нам. Земле родной есть за что благодарить вас, друг и учитель наш.“

— Есть такой грибок, по-латыни его зовут: мерулиус лакриманс,— плачущий; он обладает изумительной способностью втягивать влагу воздуха. Дерево, зараженное им, гниет с чудовищной быстротой. Достаточно, чтоб одна балка построенного вами дома была поражена этим грибком, и — весь дом начинает гнить.

Подняв голову, доктор стал медленно высасывать пиво из стакана, двигая острым кадыком, кадык и щеки его были покрыты темной густой шерстью.

Мамин, уже сильно выпивший, внимательно слушал, выкатив свои огромные круглые глаза. Под его армянским носом дымилась любимая коротенькая трубка, он покачивал головою и сопел, втиснув круглое, тучное тело свое в плетеное кресло.

— Все врет, миазма,— сказал он, когда гость начал пить, а гость, опустошив стакан, снова наполнил его и, облизывая намокшие в пене усы, продолжал:

— Так вот: русская литература нечто очень похожее на этот грибок; она впитывает всю сырость жизни, грязь, мерзость и неизбежно заражает гниением здоровое тело, когда оно соприкоснется с нею.

— А?—спросил Мамин, толкнув меня локтем.—Каково?

— Литература такое же болезнетворное, гнилостное начало, как этот плачущий грибок,— невозмутимо и настойчиво повторил гость.

Мамин начал тяжело ругать злого критика и, схватив пустую бутылку, застучал ею по столу. Боясь, как бы он не стукнул по лысому черепу гостя, я предложил ему пойти гулять, но гость встал и бесцеремонно — кажется, искусственно — зевнул.

— Это я пойду гулять,— сказалон, усмехаясь, и ушел, шагая легко, быстро, как привычный пешеход.

Дмитрий Наркисович рассказал мне, что человек этот привязался к нему в порту, заинтересовал его своим злоречием и второй день раздражает, всячески порицая литературу.

— Присосался, как пиявка. Отогнать — духа нехватает, все-таки он интеллигентный подлец. Доктор Аркадий Рюменский, фамилия от рюмки, наверное. Умная бестия, злая! Пьет, как верблюд, а не пьянеет. Вчера я с ним целый вечер пил, он рассказал мне, что пришел сюда повидаться с женой, а жена у него будто бы известная актриса...

Мамин назвал имя, громкое в те годы.

— Действительно, она здесь, но, наверное, эта миазма врет!

И, свирепо вращая глазами, он стал издеваться надо мною:

— Этот ваш товар, ваш герой, очень хорош! Лгунище. Все неудачники—лгуны. Пессимизм — ложь, потому что пессимизм — философия неудачников...

. . . . . .

Мамин-Сибиряк написал рассказ о встрече босяка-доктора с его женою, знаменитой артисткой, но не помню, как озаглавлен этот рассказ. Босяк изображен в нем несчастненьким пьяницей и не похож на человека, каким доктор Рюменский захотел показаться мне.

Д. Н. Мамин-Сибиряк в Ялте среди писателей М. Горького и Телешева (1900 г.)

Г. ПЕТРОВ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Лет десять тому назад в Петербурге образовались и лет пять продолжались товарищеские литературные обеды. По средам собирались наиболее крупные писатели-художники, жившие в столице. Случалось, навертывались дорогими гостями и приезжие из Москвы или провинции писатели.

Помню, в середине одного из таких обедов кто-то из служащих сообщает, что пришло несколько студентов, которые желают видеть господ писателей.

— Кого именно?— спросило несколько недоумевающих голосов.

— Всех вообще,—пояснил докладчик.

— Попросите войти,— чуть не в один голос радушно пригласили все обедавшие.

Были покойный романист-историк Д. Л. Мордовцев, В. И. Немирович-Данченко, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Потапенко, Баранцевич, еще человек десять писателей с именами на всю Россию.

Минут через пять явились гости, три-четыре франтоватых молодых безусых студента. Непринужденно раскланялись, назвали свои фамилии и с большой развязностью заявили:

— Мы к вам, господа, представителями от молодежи, студенчества. Назревают события, нужны веские слова. У студенчества также есть что сказать, и мы решили говорить: хотим издавать журнал. Обсуждая программу и вообще ведение журнала, мы, между прочим, и надумали, что не лишнее было бы пригласить и писателей с именами. Направились сегодня, наведались в двух-трех местах,— нет никого дома. Спрашиваем: где? Говорят: „На литературном обеде". Мы и решили: „Дай,— думаем,— сразу захватим всех". Поэтому и решились побеспокоить вас здесь.

„Писатели с именами" любезно пригласили молодежь к столу, охотно обещали свое содействие.

— Тогда наша миссия исполнена,— быстро поднялись юные гости.— Мы торопимся далее по делам. Приносим благодарность.

Бойкие молодые люди вышли, а писатели остались в каком-то недоумении. Чувствовалась в душе легкая горечь. Все молчали,— кто потупясь в раздумье, кто оглядывая исподлобья соседей.

— Каково?—тряхнув головою и с искрами юмора в живых глазах, глянул Д. Н. Мамин вслед ушедшим.— Какой смелый народ пошел! На губах материно молоко не обсохло, усами еще не обзавелись, а уже журнал свой затевают, собираются говорить свое слово на всю Россию и, между прочим,— заметьте — между прочим, считают не лишним пригласить несколько писателей с именами. Осчастливили, удостоили, а затем мотнули хвостиками и адью: им некогда!

— Да я в их годы, на их месте, попади студентом в общество, подобное нашему теперь,—я бы под стол спрятался от смущения, не знал бы куда притулиться, сидел бы хоть сутки, а тут, глядите-ка, какие моншеры: сразу не меньше, как с журнала, и всю крупную литературную рыбу только на пристяжку. Эти далеко пойдут. Не догонишь. Свезти,— ничего не свезут, ничего и не вывезут, но сами далеко проберутся. Резваки!— посвистал Дмитрий Наркисович Мамин.

Я вспомнил эту сцену накануне литературного праздника Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка не для определения развязных молодых людей, которые ничего и не сказали, и не написали, и даже не начинали, а для выяснения настроения заслуженного литературного гвардейца, старого писателя действительно доброго старого литературного времени.

— Имейте уважение к литературе и к вашей литературной работе,— писал В. Белинский Ф. М. Достоевскому в начале литературной деятельности последнего.— Только уважая сами литературу и вашу творческую работу в литературе, вы сможете заслужить уважение читателя к вам.

И вот в горьком юморе Д. Н. Мамина по поводу нежданного налета развязной молодежи нежданно сказалось глубокое уважение истинного писателя к великому служению художественным словом.

Сами мы, как люди, как человеки божьи, обшитые кожей, может быть, и такие, и сякие,— можно сказать в духе добродушного юмора Дмитрия Наркисовича,— но наше творчество, наша литературная работа, писательство, это, это... это — служение, священнодействие: ни наездничества, ни наскока, ни базара, ни забеганья напоказ тут быть не может.

И если бы в пояснение приведенных слов нужна была живая иллюстрация, то, как пример строгого литературного целомудрия, смело можно было бы привести Д. Н. Мамина, автора „Золота“, „Приваловских миллионов“, „Черт из жизни Пепко“ и чудных „Аленушкиных сказок“.

Газета „Русское слово“
№ 245, 1912 г. М.

Ф. Д. БАТЮШКОВ

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

„Во-первых, не следует подлаживаться под публику...“ —писал Д. Н. Мамин-Сибиряк издательнице журнала „Мир божий“ Ал. Арк. Давыдовой в 1894 г., когда он заведывал беллетристическим отделом журнала.

„Я пишу для самообразования, а не для тех, кто ищет только развлечения. Как автору, мне выгоднее пикантные темы, но всему свое время и место...“

Это „во-первых“ чрезвычайно характерно в устах Мамина: оно было для него и „во-вторых“, и „в-третьих“, и т. д., вообще во всех случаях, определяя одну из основных черт его облика, как писателя, шедшего своим путем и задававшегося серьезными задачами „самообразования“, чуждаясь модных и „пикантных“ тем.

Сам Дмитрий Наркисович во многом выказал это геройство, и приведенная цитата из его частного письма отнюдь не была у него пустой фразой. Он обладал достаточным мужеством, чтобы бороться с требованиями „улицы“, а в результате обрек себя на сравнительное одиночество еще в лучшую пору расцвета своего таланта. Незадолго до смерти он, правда, получил, по поводу исполнившегося 40-летия литературной деятельности, приветствия со всех концов России и мог убедиться, что его ценят и любят, но это позднее признание застало его больным, приговоренным, еще не старым, но уже изжившим свой век. Юбилей Мамина разве что помог скрасить томительные часы неизлечимого недуга как бы прощальной улыбкой земли, сознанием, что человек жил и трудился не даром, что его будут помнить, что его творенья живы,— весь он не умрет...

Мамин, несомненно, занимал весьма почтенное место в нашей новейшей литературе с 70-х годов. Он был и выдающимся художником, и вдумчивым бытописателем восточных окраин Европейской России, но над всей его литературной карьерой словно легла какая-то пелена, не давшая ему возможности развернуться в полном блеске первоклассной величины. Были и другие причины, кроме вышеуказанной стойкости в борьбе с „улицей“, обусловившие его не столь значительную популярность.

Он начал свою литературную деятельность, когда в зените творчества были „великие“: Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой; более

ярко светили и его сверстники „меньшие“—Глеб Успенский и Гаршин; едва развернувшись, он уже оказался предтечей иных, заслонивших его славу — и современников и преемников — Короленко, Чехова, Горького, Куприна...

Мамин словно не доходил до какой-то черточки, чтобы закрепить своим именем художественные образы и мотивы, которые, однако, он первый умел уловить и наметить. Так, например, есть у него целый ряд рассказов из жизни бродяг и беглых с сибирской каторги, но когда появился „Соколинец“ Короленко и его же „Рассказы сибирского туриста“, они отодвинули на второй план описание Мамина, и за Короленко осталась слава наилучшего изобразителя быта ссыльных в Сибири. Есть у Мамина талантливые и вдумчивые очерки о босяках и сбившихся с круга людях, но когда стали появляться яркие, выпуклые, красочные рассказы Горького, предшественники героев Горького были как бы забыты, и ему вменили честь открытия целого мира босяков и „бывших людей“. И самый этот термин „бывших людей“ не принадлежит Мамину, который добросовестно выписывал и разные названия оборванцев, а Горький остановился на одном обозначении, и термин „босяк“ облетел всю Россию. Есть у Мамина и вполне чеховские настроения и мотивы, но „певцом тоски по идеалу“ провозглашен был Чехов, а Мамин не создал своей полосы творчества в соответствии с целым периодом жизни русского общества. Сравните описание самосуда крестьян в „Бойцах“ Мамина с картиной самосуда над конокрадством у Куприна; у последнего много ярче, рельефнее, сильнее. И вопрос не в меньшем таланте Мамина, а в том, что, верно схватив и описав сюжет, он, как пионер и инициатор, еще не достиг нужной выразительности, вполне законченного образа; чего-то чуть-чуть нехватает, так, чтобы нельзя было ничего ни прибавить, ни убавить, как в наиболее совершенных образах у Куприна.

Конечно, идя сперва впереди, потом рядом с названными писателями, Мамин занимал в их среде самостоятельное место. Сознание своей как бы обособленности местного бытописателя было ему присуще, и мне довелось слышать от него весьма определенную самооценку.

В 1897 г. пришлось мне впервые с ним встретиться по одному литературному делу, когда Дмитрий Наркисович жил в Царском. Я живо помню это первое знакомство: сидел он за письменным столом, покуривая короткую трубку, ласково, приветливо знакомясь с новым для него лицом.

„Читайте мои уральские рассказы,—говорил Дмитрий Наркисович.— Это лучшее, что у меня есть. Вырос там, впитал в себя. А то пишу я также романы, знаете, такие большие, длинные... Но свои рассказы с Урала я больше люблю. Вы что от меня хотите — новый рассказ или роман?“

Я ответил, что по типу издания, которое желало его сотрудничества, форма рассказа была бы более подходящей.

„Ну, вот и отлично: рассказ дам, но ведь и рассказы теперь требуют все покороче, ну как там Чехов пишет, с воробьиный нос...“

Через два месяца Мамин завез мне небольшой прекрасный рассказ „Грех“— из воспоминаний об Урале — из быта духовенства — встреча с бродягой, но в корректуре хотел непременно сделать еще сокращения, против которых я уже протестовал: то ему казалось, что есть длин-

ноты, то слишком определенно, как он выражался, поставлены точки на і,—одним словом, он боялся расплывчатости, длиннот, недостаточной художественной экономии, сжатой выразительности образов, недочетов,—которые знал за собой, и шутя приговаривал: „Хочу, чтобы было по-новому, чтобы не отставать...“

Он чувствовал уже тогда, что кто-то его обгоняет, или уже обогнал.

„Голос минувшего“ № 1. Январь, 1913 г.
Стр. 265—267, статья не вся.

И. Г. ОСТРОУМОВ

МОИ ВСТРЕЧИ И ОТНОШЕНИЯ С Д. Н. МАМИНЫМ-СИБИРЯКОМ

Следя за творчеством и жизнью Дмитрия Наркисовича после его отъезда с Урала уже только по печатаемым им произведениям, а частью и по сведениям, получаемым изредка от его сестры и младшего брата, я все более убеждался, что безоглядное увлечение случайно встреченной Марией Морицевной, без знания ее характера и прошлой жизни, не дало ему ни новых импульсов и материалов для творчества, ни благоприятных условий для проявления последнего. Но еще драматичнее оказалось положение Мамина, когда Абрамова неожиданно скончалась, оставив мужа с беспомощным ребенком на руках.

Повидимому, смерть жены порвала те цепи, которые много лет удерживали его от алкоголя, склонность к которому, обнаруживалась у Дмитрия Наркисовича в годы неудачного начала его писательской деятельности.

Вместе с этим он как бы теряет способность воспринимать впечатления с прежней ясностью и перерабатывать их в как бы чеканные образы и картины. К тому же, оторванный от Урала, Мамин потерял почву, которая обильно давала ему материалы для творчества. Как писатель, он стал погасать, не дав больше уже ни одного крупного произведения.

Вновь встретиться с Дмитрием Наркисовичем мне пришлось много лет спустя в Петербурге при обстоятельствах, вытекавших из фактов, имевших место в Перми.

Летом 1900 г. в Пермь приехал Н. К. Михайловский. Он хотел побывать на Урале, но благодаря знойной погоде почувствовал себя настолько ослабевшим, что решил, отдохнувши дня два в Перми, вернуться в Питер.

Таким образом создалась возможность товарищеской встречи пермяков-читателей с видным представителем столичной печати, почтенным публицистом, имевшим связи с первыми деятелями „Народной воли".

Намеченная встреча состоялась, при чем участвовало до ста человек, в том числе представители города и земства; был произнесен ряд речей, начатый Михайловским, на тему о положении печати, деятелей ее

и о взаимоотношениях последних с читателями. По окончании встречи Михайловский, заехав в сопровождении А. С. Сигова и меня к Мешкову[1], где последний выдал ему крупный чек на усиление средств „Литературного фонда“, сел на пароход, идущий в Нижний-Новгород.

Общественное чествование Михайловского в Перми в годы жестокого преследования всякой общественности получило широкую огласку, особенно в литературных кругах Петербурга и главным образом среди сотрудников „Русского богатства“, в числе которых состоял и Мамин-Сибиряк.

Спустя некоторое время я приехал в Питер на очередной съезд русских естествоиспытателей и врачей и навестил Н. К. Михайловского, лично знакомого мне; в конце краткого свидания он пригласил меня, пока я живу там, посещать „четверги“, устраиваемые еженедельно сотрудниками в редакции журнала.

Так как я был давно знаком с другим редактором этого журнала — Короленко[2], то в ближайший же четверг пошел в редакцию. Кроме Короленко, встретившего меня словами: „А, пермяки приехали“, и Михайловского, там собрались: поэт Якубович-Мельшин, публицисты д-р Елпатьевский и Мякотин, каррикатурист Каррик, А. И. Куприн, присяжный поверенный Коробчевский, защищавший вместе с Короленко вотяков в известном „мультанском процессе“, и некоторые другие.

Позднее всех пришел Д. Н. Мамин, подвыпивший, с растрепанной шевелюрой. Обративши на это внимание, Елпатьевский шутливо, но громко спросил меня: „Много ли у вас на Урале подобных сибиряков?“, на что я с серьезным видом ответил, что Мамин-Сибиряк у нас единственный. После этого Дмитрий Наркисович подошел ко мне и очень любезно заговорил о том, какое большое впечатление лично на него и на весь литературный мир произвело чествование Михайловского в Перми, а кончил разговор приглашением меня на другой же день на квартиру (как будто бы Пантелеймоновская, 15).

Помню также, что в этот вечер Короленко и Коробчевский весело вспомнили о том, как им удалось устранить от личных показаний главного лжесвидетеля по делу мультанских вотяков (о человеческом жертвоприношении), предоставив ему возможность напиться так, что, уснув в каком-то укромном месте, он проспал весь день суда, и все усилия разыскать его были безуспешны.

Присутствовал я на этих „четвергах“ еще раза два, но ограничился лишь беседами — с д-ром Елпатьевским, который тоже принимал участие в съезде естествоиспытателей и их разнообразных экскурсиях, да с юношески восторженным тогда поклонником Михайловского А. И. Куприным, только что входившим в прогрессивные журналы.

На одном из „четвергов“ я приобрел от Каррика фотографии — шарж на сцену поздравления Николая Константиновича, по случаю его юбилея, А. М. Калмыковой и „легальным марксистом“ Струве, изображенных детьми (т. е. марксята, а не марксисты).

---

[1] Известный пермский меценат Н. В. Мешков.

[2] Я познакомился с ним еще в 1880 г., когда он, находясь под надзором полиции, жил в Перми, и с тех пор мы поддерживали сношения, то письменно, то видаясь в Нижнем-Новгороде, через который я почти ежегодно проезжал на пути в Москву или Петербург. Незадолго до своей смерти В. Г. прислал мне свой портрет с надписью на нем: „На память о давних годах в Перми“. [*Автор*].

На другой же день после первого „четверга“ я посетил Дмитрия Наркисовича часов около двенадцати дня. Он был трезв, любезен, но уже не так радушен, как накануне. Разговаривали мы в его обширном и хорошо обставленном кабинете. Вновь выразив удовлетворение неожиданным теплым приемом Николая Константиновича в Перми, он заявил, что меняет свое мнение о Перми, как захудалом только административном центре Урала и признает мою правоту в защите высокой, сравнительно, культурности этого города. Это было заключением мира после многих годов борьбы по этому вопросу. Поговорили еще об Урале и о современной жизни Екатеринбурга и Перми.

Прощаясь с Дмитрием Наркисовичем после полутора-двухчасовой беседы, я по его внешнему виду никак не мог подумать, что это уже последняя встреча с ним.

Закончу воспоминания о Мамине сообщением, что еще в 1887 г., когда я работал в „Екатеринбургской неделе“, В. Г. Короленко в своем первом письме ко мне просил передать Дмитрию Наркисовичу свой товарищеский привет,— очевидно, не сомневаясь, что я с Маминым часто встречаюсь в таком небольшом городе, как Екатеринбург в те годы.

Упомянув о последнем, Владимир Галактионович с большим увлечением сделал характеристику творчества своего более старшего собрата по литературной деятельности, при чем особенно восхищался яркой очерченностью выводимых им типов: „они точно высечены из уральского мрамора“,— писал Короленко. К сожалению, я не могу воспроизвести эти строки письма полностью, так как, не имея возможности своевременно выполнить просьбу, в виду создавшихся отношений с Маминым, я много позднее передал это письмо в музей имени Чехова в Москве. Таким образом, оставшись неизвестным Мамину при жизни, письмо это все-таки не пропало и, будучи напечатано, оживит литературную славу его спустя десятки лет после смерти. Характеристика творчества Мамина-Сибиряка, сделанная Короленко на полулисте почтовой бумаги в частной переписке, это поистине яркий цветок в венке писателя, уроженца Урала, но почему-то выдававшего себя за сибиряка, т. е. уроженца Сибири.

Пермь. Январь, 1936 г.

С. ЯКОВЛЕВ

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

В 1922 году, 3 декабря, во Владивостоке, кучка почитателей таланта Мамина-Сибиряка, взрослых и юношей, в день десятилетия его смерти собралась почтить его память.

Из земляков этого писателя оказался только один, пишущий эти строки.

Трогательно было слышать, как на краю света, у берегов далекого Тихого океана, говорили о нашем Д. Н. Мамине, как о близком, родном человеке, и с какой любовью и почитанием упоминали его имя.

От прочитанных кратких выдержек из его произведений опять повеяло крепким запахом уральских сосен, опять перед глазами предстали спокойные контуры лесистых гор, местами обезображенных приисковыми раскопками, которые заботливая мать-природа старается скорее задрапировать молодой веселой зеленью. Дивной волшебной вереницей потянулись знакомые картины этого чудесного края, где внешняя красота природы как будто бы спорит с богатством, заключающимся в недрах этих невысоких гор.

В результате этого собрания в очередном номере местного журнала „Юность“ появилась прочувствованная статья П. П. Ерофеева, посвященная посмертному десятилетнему юбилею Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Вспоминая Д. Н. Мамина, сейчас же представляешь себе его красивую, крупную фигуру, ставшую к старости еще более могучей, с открытым лицом и чудными, немного задумчивыми глазами под тяжелыми, как он сам называл, „восточными“ веками.

Красив был покойный Д. Н. Мамин, и его наружность вполне гармонировала с его незлобивым, добрым нравом и почти детским простодушием. Безобидно иронизируя над кем-либо, он также подчас простодушно подтрунивал и над собой.

Уже в 1901 г., когда Д. Н. жил безвыездно в Петербурге, автору этой заметки, приехавшему с Урала, приходилось бывать у него, и разговор нередко сводился на тему о киргизских лошадях.

Д. Н. Мамин, наблюдая жизнь родного Урала, конечно, не мог не обратить внимания на значение лошади в заводской работе, а также и в домашнем хозяйстве уральского населения.

Издавна завелось, что большинство лошадей на Урале были киргизской породы, благо степи находятся рядом. Статные, горячие степняки

не всегда были удобны для тяжелой заводской работы — подвозки руды, топлива и пр., но отдельные из них представляли богатый материал дававший рысаков, иноходцев и бегунов (скаковых). Это развило на Урале широкий конский спорт, нередко в отдельных случаях переходящий в область криминального: хороший киргизский „бегунчик", могущий скакать 10—15 верст или сделать в упряжи, „не кормя", в легких саночках в одну ночь 150—180 верст, наводил на грешные мысли какого-нибудь мирного заводского обывателя или богатого зауральского поселянина использовать такого коня для грабительских целей или при торговле краденым золотом.

Кровь новгородских ушкуйников, разных разбойничьих элементов и вообще неужившихся на родине людей — этих первых посельников Урала, конечно, давала обильный материал для создания типа этих охотников, среди которых были легендарные герои, ставшие героями в народных сказках, песнях и баснях. Само собой разумеется, что Мамин-Сибиряк не мог пройти мимо такой исторической черты быта Урала, а будучи сам страшным охотником до лошадей (суровая судьба, державшая его в ежовых экономических рукавицах, позволяла ему держать в Екатеринбурге лишь одну невзрачную белую, лошадку—„конь-ветер")— во всех своих произведениях дал яркие описания и эпизоды, где фигурирует такой „конь-ветер".

И вот однажды Д. Н. предложил мне посмотреть петербургских троечников, стоявших тогда у цирка Чинизелли на Фонтанке. Троечники встретили Д. Н. как давно знакомого им любителя лошадей. Он велел выехать одной упряжке, чтобы показать образцовую охотничью тройку мне, земляку, тоже горячему лошаднику, как он иногда называл меня в шутку.

Когда двинулась огромная, черная как ночь, коренная под золоченой дугой, а мастные пристяжные, гремя серебряными колокольчиками на „подгорках", блестя длинными, от „трока до земли" наборными „переметами", взметнули стройными ногами и узорная „кошева" тронулась с места, то действительно получалась красивая картина в старорусском стиле, чему дополнением служил и ямщик с павлиньим пером на шляпе.

Как сейчас вижу лицо Д. Н., когда он жадно впился горящими глазами в красавицу-тройку, безмолвно приглашая меня тоже полюбоваться ею. Вороные кони были действительно великолепны, но каждый взятый порознь, так как они шли немного в „разнобой", что почти обычно для таких крупных лошадей, сведенных в тройку.

Я сообщил Д. Н. мой вывод и напомнил ему о наших уральских охотничьих тройках, подобранных „волос в волос" и по масти, и по росту, и по темпераменту из небольших, широкогрудых, длинных киргизов, которые на ходу в глазах знатоков и охотников представляют один и законченный аккорд, „один дружный вздох", не то, что эта бутафорская тройка, тяжелые кони которой „сядут на хвост" после 20—25 верст хорошей езды. Д. Н. сознался, что у него в Петербурге все уральское „начинает выдыхаться", как он выразился и повторял это потом по всякому поводу и в других случаях, видимо, сознавая и чувствуя, как уральскому писателю необходимо бывать на родном Урале.

Но ему так и не пришлось увидеть родного Урала. Не однажды он упоминал с некоторой долей горечи, что его „мало читают на родине,

а вот здесь, в Петербурге, рабочие охотно берут мои книги,— хотят узнать, какова жизнь уральского рабочего".

Простое, ласковое обращение со всеми, без различия рангов и происхождения, бесконечная доброта к окружающим создавала вокруг Д. Н. атмосферу доброжелания и любви к нему. И вероятно, его доброта принимала иногда и более реальную форму.

Я помню такой случай: в доме на Пантелеймоновской ул. № 13, где жил Д. Н. в годы 1900—1901, потерялась в общей вешалке дорогая дамская ротонда, за что должен был отвечать швейцар, еще молодой ярославец, Исаакий, как его все называли. Шуба стоила 800 рублей. Исаакий был в отчаянии, и понятно: его могли лишить места и задержать его залог 200—300 рублей, если он не уплатит за утерю. Д. Н. горевал не менее Исаакия, сочувствуя ему. Я имею основание предполагать, что сочувствие Д. Н. было далеко не платоническим, так как Исаакий остался служить на том же месте и при всяком случае, встречаясь со мной, особенно восторженно отзывался о Д. Н., называя его „человеком, каких теперь нет".

Большой художник был Д. Н. Мамин-Сибиряк, вместе с тем он был отзывчивый, прямой и по-хорошему гордый человек.

Я помню, когда-то мне пришлось жить на одном закинутом в глушь Северного Урала, заброшенном прииске, где, кроме меня, был только один живой человек — неграмотный сторож.

Найдя на книжной полке томик Мамина-Сибиряка, я нередко коротал скучный зимний день, читая моему одинокому слушателю чудные рассказы, которые он слушал с выражением мучительного внимания на бородатом лице. Когда эта литература была исчерпана и мы перешли к другим авторам, каких я нашел на той же полочке, то внимание моего бородача значительно упало, видимо, он все еще находился под впечатлением Мамина-Сибиряка и никак не мог сосредоточиться на чем-нибудь другом. Уж потом, рассуждая о прочитанном, я услышал его определенное мнение о произведениях, даже скорее о самом авторе:— „Справедливый человек, справедливый".— Это была большая похвала непосредственного человека.

Владивосток[1]. *Июль 1926 г.*

---

[1] Статья взята из отдела рукописей Свердловского областного музея. Папка 3-я, № 148.

В. ВАРИЛЬЕ

ВСТРЕЧИ С Д. Н. МАМИНЫМ-СИБИРЯКОМ

Редактор „Мира божьего“ В. П. Острогорский, узнав, что я переезжаю в Царское Село, обрадовался:

— Вот как кстати! Зимой сам туда ехать боюсь, а нужно вырвать ответ от Мамина: писал ему раза три,— молчит. Вот вы там к нему и зайдите с записочкой!

Мне это поручение было особенно приятно: Д. Н. Мамин-Сибиряк уже давно был одним из самых любимых моих писателей; но видеть его мне не доводилось ни в Петербурге, ни Москве, где я знал его первую жену, актрису М. М. Абрамову, одно время державшую там драматический театр.

В ближайшую поездку в Царское решил разыскать Мамина. Опыт научил меня, что в провинции лучший адресный стол и руководитель — вокзальный буфетчик.

— Дмитрий-с Наркисович-с?!— с какой-то особой радостью откликнулся обходительный ярославец.— Да помилуйте-с! Вон они-с у столика пивком утешаются собственноручно: там у них завсегда абонированная ложа на всех проходящих.

Я оглянулся: у окна одиноко сидел грузный мужчина в каком-то своеобычном архалуке из верблюжьего сукна. В обрюзглом, словно дымом покрытом, лице я все же сразу узнал знакомые по фотографиям черты писателя.

— Вон оно, дело-то какое!— тихо, с хрипотой проговорил он, свертывая записку Острогорского.— Не любитель я до писем-то, так Виктору Петровичу и не ответил, вот старик и серчает. Надо, стало быть, утихомирить.

Взяв от официанта карандаш, Мамин на обороте той же записки ответил и попросил меня вручить ответ „по принадлежности“. Взглянув на большие часы над стойкой, он приказал тому же официанту:

— До поезда-то с полчасика будет, так ты спроворь им кружечку.

Я приготовился к разговору, но он шел туго. Мамин больше пытливо посматривал на меня из-под шапки и только задал два-три вопроса про Острогорского. Видно было только, что он, как и большинство пишущей братьи, любил и ценил его.

Дня через два, опять на том же вокзале, мне снова пришлось ждать

поезда. Мамин сидел в той же позе, словно не сходил с места за эти дни. Я хотел было только поклониться ему, но он подманил меня пальцем и опять распорядился насчет кружки пива. И опять перекинулись двумя-тремя пустыми замечаниями насчет погоды, пива и т. п. С тех пор вошло в обычай, чтобы при всяком ожидании на вокзале,— а ждать там приходилось очень часто и по расписанию и еще чаще без расписания,— я садился за стол Мамина. Это распространялось еще на несколько человек: два учителя местной гимназии, начальник телефонной станции, врач придворного госпиталя. Мамин больше помалкивал, отделываясь короткими замечаниями. Зато слушал он мастерски: видно было по его живым, блестевшим глазам, что не только всякая мелочь рассказа доходила до него, но что он по-своему переживал каждый такой рассказ. Это заменяло ему газеты. Однажды я предложил ему свежий номер газеты с какой-то забористой статьей. Мамин недовольно отмахнулся.

— Не любитель я до этого овоща! Пустяков много пишут, а суть знакомые перескажут! Ну, вот скажите, что вы мне любопытного показать хотите?

И так заставил рассказать ему вкратце содержание статьи.

Еще внимательнее глядел он на все, что, как в панораме, проходило перед его глазами непрерывной лентой. А лента была любопытная, красочная. Тогда в Царском стояло четыре гвардейских полка, с гусарами во главе. По зимам жил двор. И из-за этого сюда ежегодно наезжали министры, особы, представлявшиеся ко двору, а еще больше всякие любители потереться вокруг „сфер“ и проникнуть к той влиятельной челяди всяких сортов и калибров, которой так много наседает вокруг всякого двора. Гусары, кирасиры со своими дамами ехали из скучного Царского в Петербург ради столичного воздуха. И все это множество развязного, коротко друг друга знавшего и перекликавшегося по-русски и по-французски народа кучилось на маленьком деревянном вокзале: новый громадный каменный, с подземными переходами „под путями“, тогда еще только был начат постройкой.

Видно было по лицу Д. Н., как отвратительна была ему вся эта публика: он своей мимикой, на редкость выразительной, движением одних бровей или пальцев давал беспощадную оценку тому, что проходило перед нашими глазами и что из разговоров доходило до нашего стола.

Как-то раз, после того, как поезд унес все это „общество“ в Петербург, а мы засиделись за столом, Д. Н. разошелся и произнес нечто в роде монолога:

— Какой ужас! Эта человечья тля, полная вырождения, пропившаяся, проигравшаяся, не знающая и не желающая знать ни страны, ни народа,— наши верхи, откуда и только откуда выбирают наших правителей, хозяев судьбы великого народа. Пощелкает он вот так годиков пять шпорами перед размалеванными дамами, и они же пристроят его в губернаторы, а потом в министры, и росчерк пера такой пустышки будет определять жизнь и судьбу многих миллионов. Не надо и слушать, что они лопочут между собой: по рожам видно, что под их касками никогда никакая мысль не ночевала. Спросите вон в киоске у барышни, что они покупают? Кроме „Стрекозы“ да „Конского вестника“, во всю жизнь никакого печатного листа у них в руках не бывало, а судачить и рядить о чем угодно будут с полной верой в свою непо-

грешимость. Вот намедни такой верзила в красных рейтузах прощался с приятельницами: в командировку посылает дядя — переселенцев за Байкал направить; такой туда направит, где не то, что переселенцу, а собаке притулиться негде будет! Он станет покрикивать, а народ будет гибнуть да разоряться... Послать бы его денщика, так куда больше проку бы вышло... А сколько форсу зададут, сколько денег казенных просадят...

— Так вот и надо, стало быть, так повернуть дело, чтобы этих соколиков в бобровых шинелях убрать в сторонку, а их денщиков поставить на их место,— заметил один из собеседников, восторженный почитатель Глеба Успенского.

Мамин ничего не ответил, опустил голову ниже к кружке с пивом и, видимо, о чем-то думал после необычной для себя ораторской вспышки. Затем поднял голову и заговорил снова.

— За что свои „Приваловские миллионы" ценю? Удалось в них подметить черточку, что везде оправдывается! Бабой семья держится, как там все на плечах у старухи. Посмотрите на здешних барынь! Все светлейшие да баронессы. А сравнить их хоть бы с теми девицами легкого разлива, что сюда же к милым дружкам наезжают! Охтенские да лиговские мещанки, а и телом, и обращеньем сколько очков вперед дадут баронессам-то! Да и по нарядам-то больше пристойности; баронессам-то не мешало бы позаимствовать! Иной раз сидишь вот так да и сравниваешь какую-нибудь графиню Зорникау с Катькой Паучком и не знаешь, кто же из них двух — дама из Амстердама? Одним словом, одна гниль у нас поверху плавает, и кто и когда этому горю пособить сможет?

Кто-то заметил, воспользовавшись паузой, что умная и дельная женщина может вывести иного мужчину на правильную дорогу.

— Ну, конечно! — подхватил Мамин.— Все мы на бабьем поводу ходим, и велико счастье того, кому судьба по дороге дельную бабу в поводыри послала... Зато потерять ее да одному остаться — не доведись никому! — прибавил он каким-то осевшим голосом, и мне подумалось, не вспомнил ли он при этом свою первую жену (М. М. Абрамову), которую, повидимому, не мог забыть даже после вторичной женитьбы.

Вторая жена его была англичанка, что заставляло предполагать биографическую подкладку и того романа из столичного газетного мира, где фельетонист тоже женится на англичанке, при чем в характере этого безвольного, нуждающегося как раз в женской опеке, писателя не трудно приметить черты характера самого автора; но брак этот в романе — гораздо больше дань уважения очень почтенной, но и совсем далекой по душе особе, чем итог сердечного увлечения. Насколько в этом отразилась действительная жизнь автора, судить, конечно, не берусь, но за многие наши встречи ни разу не пришлось мне услыхать от него про эту вторую жену и намека на теплые слова, какими он часто поминал покойницу.

Быть у Мамина на дому довелось мне только раз. Жил он на одной из тихих улиц, далеко от придворных и гвардейских улиц, на даче весьма скромного облика. Какая-то угнетающая чистота и подчеркнутая опрятность бросались в глаза уже в передней: такой вид имеют не жилые дома, а образцовые клиники. И что-то больничное пропиты-

вало все его жилище: полное отсутствие звуков, зря брошенных, как подобает в обжитом доме, вещей, какие-то священнотрепетные движения прислуги. И сам хозяин, сидевший у окна с цветами, здесь совсем не походил на вольготно восседавшего за пивом вокзального завсегдатая. Говорил он как-то обо всем иначе, с виноватой улыбкой, без тех лукавых усмешек, какими так расцвечивалась его беседа. Казалось, будто кто посадил белого медведя под стеклянный колпак, и он сам дивится непривольной обстановке. Во время моего очень непродолжительного визита Мамин несколько раз взглядывал на дверь в соседнюю комнату.

Вернувшись на вокзал к своей компании, я поделился этими впечатлениями, не могу сказать, чтобы слишком отрадными: ничего дурного я там не видел и не слышал, хозяин был даже, пожалуй, слишком ласков, а все-таки еще раз сходить к нему не хотелось. Оказалось, что такое впечатление от его домашнего житья-бытья осталось чуть ли не у всех. Одни видели здесь отражение настроения, какое вносила в домашнюю его обстановку хронически больная дочь его от М. М. Абрамовой, Аленушка его дивных сказок, а кой-кто видел мертвящее влияние жены-англичанки, от которой он будто бы и спасался на вокзале.

Однажды утром я пошел побродить по царскосельскому парку. Я был уверен, что погуляю в одиночестве, как вдруг на скамейке у самого озера я увидал Мамина. Я хотел было пройти мимо, но он окликнул меня...

— Вот только в такую пору и можно как следует наслаждаться этим дивным парком. Много за него грехов отпустится матушке Екатерине, но редко кто им пользуется по-настоящему: днем его пакостят светские тараторки, велосипедисты и всякая иная нечисть, не говоря уже про соглядатаев, которыми здесь хоть пруд пруди. А в эту пору вся эта публика еще почивать изволит, и вот тут-то нашему брату и раздолье: дыши воздухом да гляди на воду. Лучше этого ничего на свете и быть не может...

И, словно заправский художник-пейзажист, он стал восторгаться и красками деревьев и бегущими линиями облаков, с их отражением на поверхности озера. Но похвал его хватило не надолго.

— Хорошо, очень хорошо, а все не то, что у нас там, за Уралом. Кто не видел тамошних лесов, не любовался Камой и Чусовой, не дышал тем воздухом, каким летом по утрам пьянят тамошние озера, тот не знает красоты природы. И вот каждый раз, как поброжу здесь да начну вспоминать сибирские леса и реки, так и расстроюсь: только рану старую разбережу, что не могу там жить. И люди там под масть природе; крепкие, цельные, не чета здешнему народишку, насквозь испаскуженному столичной слякотью...

— А чего бы вам там не поселиться? — спросил я. — Ведь до столичных забав охотник вы небольшой, а рукописи посылать отовсюду можно: живет же вон Короленко в Нижнем.

— Во-первых, Короленко — особь статья! Такого другого кряжа во всей нашей литературе нет, да, пожалуй, и не было. А затем и его, пожалуй, не без причины бранят, что больно мало пишет. Тут, хоть и погано, да все-таки раз в неделю, хочешь — не хочешь, а петербургские редакции сам навестишь, да и оттуда послы частенько жалуют: то Николай Федорович Анненский, то Ангел Иванович Богданович, то

Федор Дмитриевич Батюшков, а получишь с родных мест свежих настоек да нельмы, так и Виктор Петрович явится, ну и расшевелят. А там, на приволье-то, от письменного стола совсем, пожалуй, отстанешь. Да и перед глазами нужно всю эту пестроту видеть. Посердишься вот этак с приятелем, поддаст он каким-нибудь анекдотцем жару, а сядешь потом за стол, так гнев-то наш на бумагу сам и ложится да нить рассказа и тянет. Не даром Салтыков говорил, что нашего брата следует на сковородке поджаривать, чтобы жиром не зарастали. Сибирская жизнь кондовая, веками устоявшаяся и на версту в землю корнями ушедшая. Пока с нее не снимут цепей, какими ее заковали, поворачивается она медленно, и поэтому про нее писать я могу и здесь: воспоминаний да прежних встреч на мой, не больно-то длинный, век, авось, хватит. А здесь, хотя и больное, а все-таки сердце, и бьется оно быстро, даже, пожалуй, слишком быстро. Когда я студентом сюда приехал, одни студенты да фельдшерицы 8 февраля по кухмистерским шумели, если не выпадало какой-нибудь оказии вроде похорон Тургенева. А теперь, слышу, каждые полгода университет градоначальник осаждает, устраивая тут же правильные атаки и вылазки. А что творится на каждом заседании Общества грамотности, Союза писателей или Вольно-экономического общества? За студентами двинулись рабочие. Это все новое, а во что оно выльется, что из этого получится, знать не только любопытно, но и необходимо. Стало быть, нужно быть на месте, и смотреть, и слушать. Иначе и сибирских делов не поймешь. Это еще покойник Ядринцев твердил: „Здесь за нитку дергают, а мы там у себя корчимся“. Посмотрю у себя на вокзале, как какой-нибудь благодетель человечества „имел счастье представляться его величеству“, и почти без ошибки могу судить, каких делов там, за Уралом, наделает такой столичный слёток. От этих „даров центра“ туже всего приходится тамошнему народу.

— Вы, стало быть, автономист? — спросил я в шутку Д. Н.

— Заморскими ярлыками обклеивать себя не мастер,— ответил он совершенно серьезно,— а знаю, что хозяйство, да и вся жизнь там так сложны и своеобычны, что наладить их с пользой для дела может не чужак, а только человек, там родившийся и вплотную подошедший к коренному населению. Пока же всем будут править за тысячи верст из столичных канцелярий люди, точно не знающие, что ближе, Иртыш или Обь, и не вполне уверенные, что это: нето гора, нето город, проку от таких порядков ожидать едва ли приходится...

Прошло больше четверти века с тех пор, как я в последний раз видел любимого писателя[1]. Не пересказываю здесь множества его рассказов из прекрасно знакомого ему прошлого Сибири: большинство их он сам напечатал. Только в устной передаче он всех называл подлинными именами и приводил подробности, какие из-за цензуры приходилось опускать. Но рассказывал он куда бледнее, чем писал. Краски у него, видимо, родились на бумаге. Зато становилось ясно, как мало вымысла было во всем, что печатал этот глубоко правдивый и искренний знаток далекой окраины...

„Сибирские огни“ № 5, 1928 г., сентябрь-октябрь, стр. 169—172.

---

[1] Встреча была в 1902—1903 гг. *Автор.*

Г. А. БУЛЫЧЕВ

ПОЕЗДКА К Д. Н. МАМИНУ-СИБИРЯКУ В 1909 ГОДУ

С Зеленой улицы, Петербургской стороны, на трамвае, с главным бухгалтером правления Алапаевских заводов Н. В. Мухиным, моим добрым гением, едем в Царское Село к Д. Н. Мамину-Сибиряку. Только по протекции я мог попасть к нему.

Царское Село — сплошной сад. У небольшого деревянного, обитого тесом, желтого домика остановились.

— Здесь. Идите. Устроено все. Буду ждать в ресторане пить чай.

— А вы?

— Зачем мешать встрече.

Как во сне я вошел в маленький дворик и спросил молоденькую девушку, скромно одетую:

— Могу ли я видеть писателя Мамина-Сибиряка?

— Можно. Ждет.

Просто остолбенел от неожиданности.

Так вот где живет старый орел Урала! Забытый, заброшенный коротать последние дни своей жизни вдали от своего родного края!

Вспомнил свой поход в марте 1899 г. к графу Л. Н. Толстому и встречу там. Там — барское равнодушие, здесь — желанный гость.

С трепетом вошел в чистую, уютную комнатку.

Навстречу поднялся сутуловатый, среднего роста, ядреный старик, с ярким пронзительным взглядом, с длинными седыми зачесанными по-поповски волосами, с редкой растительностью на лице. Левая рука висела на повязке. Одет он был в рабочую блузу.

Это был он — автор „Горного гнезда“, „Приваловских миллионов“, „Золота“, „Трех концов“ и др.— Д. Н. Мамин-Сибиряк.

— Добро пожаловать. А я вот сижу дома, сломал руку. Давайте рассказывайте об Урале. Оторвался. Живу в стороне. Многого не знаю.

Как мог, обрисовал положение на Урале.

— А народ? Просыпается ли?

— Просыпается, но плохо.

— Не сразу хорошее дело делается.

— Веками его мозолили...

Когда речь зашла о моей бродяжнической жизни, о моем

ученье, о писательстве, Д. Н. сказал: „Пишите только для детей; это самый лучший читатель, а для взрослых...“ Он махнул здоровой рукой.

— Бросьте вы свое ученье. Сколько вам лет?

— Тридцать девять.

— Ну вот, зря вы тратите золотое время: вы врач молодой, здоровый, сильный. Ступайте на Ухту. Ищите нефть. Нет нефти, ищите медь, руды, минералы. Наша промышленность бедна, ее надо поднять. Идите на Урал — это сокровищница России. Это — природная крепость. Это жемчужина будущего.

Показал мне иридий и осмистый иридий и с гордостью добавил:

— Старатели бросали их в отвал, а я подобрал. Сделали анализ, оказались ценнее и дороже платины. Ах, да! — спохватился он: — Чтобы не забыть, я напишу о вас письмо Клавдии Лукашевич: она — детская писательница; она — хороший человек и моя добрая знакомая. Я и сам грешу под старость — пишу сказки.

Написал письмо и подал мне.

— Познакомьтесь.

Я взял письмо и стал собираться.

— Не торопитесь. Поговорим. Редко бывают такие случаи. Скажите, как писатели Урала живут? Дружно?

Я замялся: для меня стало ясно, как он ушел от жизни Урала. Если что и доносится до него, то или в искаженном смысле, или же просто умалчивается. Вот он почему меня направляет к Клавдии Лукашевич. Была не была, надо говорить правду-матку.

— Мало сил. Распылены. За строками бегут; иногда ссорятся. При всем этом проклятая цензура в кулак зажала и остатки разваленного, теперь она в провинции еще злее.

— Вишь ведь, как петух разошелся.

— Простите, Дмитрий Наркисович, вырвалось, наболело.

— Пустяки, бывает. Объединяться надо.

— А сами вы? — ухватился я.

— Стар стал. Помочь — помогу. Не забывайте, я живу в Царском Селе.

„Да, — подумал я: — в клетке, окруженный вымуштрованными людьми, среди начальства, под его неусыпным оком“.

Мне до боли стало жалко этого милого, славного старика.

Как иногда бывает зла судьба к великим людям при жизни. Не много счастливчиков пользуются всеми благами бесперебойно, и под-старость Дмитрию Наркисовичу надо было работать, чтобы жить.

— Если бы вы на Урал... Жить... — чуть слышно, вслух докончил я свою мысль.

— Нет.

Я был прав в своем заключении.

Я рассказал Дмитрию Наркисовичу о своем походе к графу Л. Н. Толстому и как меня там приняли. Даже улыбнулся миляга.

— Так оно! Пишет одно, а делает другое.

— Да ведь я верил в него, как в бога.

— Чудак, поживешь, узнаешь больше.

Как не хотелось уходить, но и в тягость быть неловко. Расстались друзьями.

Это была моя первая и последняя встреча с отцом литературы Урала.

Так же дружески встретил меня в Челябинске в 1899 г. писатель-уралец А. Г. Туркин.

Последовать совету Дмитрия Наркисовича — бросить ученье и быть детским писателем — не пришлось; бросить ученье, не докончить его, было свыше моих сил, а быть детским писателем, писать для детей богатых я не хотел; впечатление от прочитанных книжечек Клавдии Лукашевич, которыми наградила она меня в момент посещения ее мною в Петербурге, не соответствовало моим взглядам, книжки были пропитаны „духовным“ содержанием, а я до мозга костей — пролетарий.

„Не по дороге нам, старушка, катись в сторонку“.

Зато совет: искать руды, минералы и т. п. я выполнил с честью.

Через месяц после встречи с Дмитрием Наркисовичем, с Урала приехал П. И. Заякин, мой лучший друг и товарищ. Я рассказал ему о встрече с Маминым-Сибиряком. Решили издать уральский сборник. Бразды издательства взял на себя П. И. Заякин. Средства, под жалованье, достал я у Н. В. Мухина.

— Знаешь, Григорий, без Мамина-Сибиряка у нас книга не пойдет.

— Конечно,— соглашаюсь я:— соваться одним неизвестным работникам пера, без имени, нельзя. Действуй.

Павел побывал у Дмитрия Наркисовича и достал от него два, уже бывшие в печати, рассказа —„Погорелов“ и „Ответа не будет“.

Выпуск сборника он одобрил. Кроме этих рассказов в уральский сборник вошли стихи и рассказ П. И. Заякина, „Вечер“ — Остроумова, „На новую жизнь“— повесть Гр. Булычева, „Позднею осенью“— рассказ П. В. Мурашева, „Болото и невьянская башня“— Гадмер[1].

Выпущено было всего 300 экземпляров. Плохо ли, или хорошо, но начало объединения было сделано.

Алапаевск. Май 1936 г.

---

[1] Сборник вышел в 1909 г. в Петербурге.

П. (ЗАЯКИН) УРАЛЬСКИЙ

ИЗ БЕСЕД И ЛИЧНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

— Мы встретились с Д. Н. в Петербурге,— говорил мне А. К. Денисов-Уральский,— на похоронах Н. В. Шелгунова в 1891 г. Но знакомство началось в Екатеринбурге с 1883 г. Как писатель и уже автор „Приваловских миллионов“ он был тогда известен. В Екатеринбурге между нами не было тех отношений, которые создались впоследствии, именно в Петербурге. Он был здесь уже писателем с именем, а я лишь выбивающимся художником, но оба мы одинаково нуждались и страдали от необеспеченности.

А. К., между прочим, помнит такой эпизод:

— Мне нужен был рубль, и я попросил его у Д. Н. Он горько улыбнулся и сказал: „Я богат, могу не только денег дать, но еще и угостить тебя“. Мы пошли и выпили по кружке пива. Д. Н. заплатил за пиво двугривенный и дал мне рубль. Но после этого у него в кошельке не осталось ни копейки.

В столичной сутолоке, под ярмом нужды, в постоянном труде, волнуясь и мучаясь, Д. Н. не терял бодрости духа и оставался цельной натурой, с широкой, доброй русской душой, прямотой характера и свободой суждений.

— Однажды мы были,— рассказывал А. К.,— у доктора Х. Общество собралось большое. В числе гостей были Д. Н. и отец доктора сенатор Х., бывший председатель суда, разбиравшего в 70-х годах политическое дело 126-ти. В беседе зашла речь об этом деле. Сенатор и судья вспоминали подробности дела и рассказывали. Говорили также и другие. В заключение коснулись подвигов Разина и Пугачева. Сенатор выразил удивление, что Разин однажды был помилован. Между тем его следовало сразу повесить. На эти слова Д. Н. вдруг выпалил: „А я бы вас вот первого повесил“. Это было настолько неожиданно, что все вдруг замерли, как пораженные громом. Сенатор побледнел, но, быстро овладев собой, свел все на шутку.

Дмитрий Наркисович горячо любил Урал, прежде часто ездил туда, даже занимался там археологическими раскопками, но в последнее время не раз говорил А. К.:

— Я туда не поеду. Там меня не читают... Ни в одном городе не расходится так мало моих книг, как в Екатеринбурге... Между тем я больше других любил на родине этот город...

Мне лично пришлось бывать у Д. Н. Мамина-Сибиряка лишь с 1909 г.

Он чаще всего принимал меня в своем кабинете. Это была небольшая комната. В ней, кроме письменного стола да нескольких стульев, стояли книжные шкафы и кожаный диван. На стенах висели картины. На полу, у дивана, лежала медвежья шкура. Стул, на котором всегда сидел писатель, был особенный, со спинкой в виде резной дуги. Я нередко заставал Д. Н. за работой. Но он при моем появлении откладывал в сторону мелко исписанные листы, закуривал трубку и охотно разговаривал.

Когда я пришел к Д. Н. в первый раз, был ранний час утра. Он работал. Едва я сделал шаг в комнату, как он быстро поднялся из-за стола. На меня взглянуло знакомое мне по портретам лицо. Я пожал протянутую мне руку.

— Рад видеть уральца. Садитесь, поговорим.

С первых же слов нашей беседы, касающейся жизни Урала, для меня стало ясным, что Дмитрий Наркисович живо интересуется судьбой родного края. Мы долго говорили о кризисе, о причинах, вызвавших его, о бедственном положении рабочих. В голосе Д. Н. слышались нотки сарказма и глаза загорались особенным огоньком, когда он говорил об уральских набобах, бестолково прожигавших миллионы за границей.

— Жизнь теперь на Урале изменилась, но рутина осталась... Все идет по-старому... То же убогое устройство... Те же землянки для рабочих... То же круглое невежество...

Д. Н. закурил трубку и, попыхивая, не спеша, красочно, ярко обрисовал мне обстановку прииска, на котором, экскурсируя по Уралу, он жил некоторое время, и в заключение рассказал любопытный случай:

— Брожу по свалкам, собираю камешки для коллекции, нахожу нечто такое, чего не видывал и... не знаю... Спрашиваю у администрации прииска — понятия не имеют. Привожу находку в Петербург... Встречаюсь с Х., показываю ему... Тот удивлен: — Где вы нашли? — Там-то. — Да ведь это осьмистый иридий. Он дороже золота... Во Франции ему цена такая-то. — А на нашем Урале этот иридий и потом многие годы выбрасывали на свалку.

Собеседником Д. Н. был очень интересным. Говорил выразительно с интонацией, мимикой и жестами, употребляя иногда уральские, меткие слова: „загривок", „уставщик" и пр.

Перед уходом я заинтересовался картиной, на которой был изображен завод, и, рассматривая ее, прочел надпись: „Д. Мамину — дорогому земляку на память о дорогой родине. А. Денисов-Уральский".

Д. Н. мне пояснил: „Это Висимо-Шайтанский завод. Там я родился".

В одно из последующих посещений Д. Н. показывал мне коллекцию уральских камней, вспоминая при этом, какие камни и где и когда приобретены.

Дал мне на память маленький александрит и сказал:

— На память об Урале.

Тогда же показал, как редкость, старообрядческий иконостас-складень, относящийся к XVI—XVII веку, купленный у одного из уральских старообрядцев.

Среди предметов старины я заметил деревянную статую и спросил:

— Это не божок пермяков?

— О, нет, — сказал смеясь, Д. Н., — это Будда... Бывают металлические и каменные и их много, а это деревянный — и потому — редкость.

Антиквариий, у которого я купил эту фигуру, говорил мне: „Практишная вещь... Останетесь довольны“.

И затем, удовлетворяя мое любопытство, показал мне еще много вещей, добытых им при раскопках на Урале.

Однажды я застал Д. Н. Мамина-Сибиряка за переписной рукописей.

— Вы сами переписываете, Д. Н.?— не без удивления спросил я.

— Никогда ни одной строки никто мне не переписывал,— ответил он.— Когда переписываю, то, случается, пишу совсем не то, что было ранее написано[1].

— Вы столько написали, Д. Н., что подумать страшно, какая была работа...

— Да, работал, нужно работать.

Говорили мы, конечно, много о литературе.

Начало своей литературной карьеры Д. Н. мне обрисовал так:

— Я был студентом, занимался репортажем для газеты. Писал урывками роман. В первый день газетной работы меня командировали на заседание Энтомологического общества. Я недоумевал: что буду там делать? По части энтомологии — мало смыслю. Знал только, что это наука о жуках, бабочках, козявках. И в то же время вставал вопрос: в чем пойду туда? Обычно ходил я в серой визитке и высоких сапогах бураками. Товарищ дал мне ботинки, а об остальном сказал: „Напрасно тебя смущает визитка. Другие будут думать, что ты оригинал: все в черном, а ты не признаешь этого, и только...“ Сходил на собрание, написал отчет, сдал, его урезали наполовину. Меня это огорчило: я священнодействовал, а секретарь вычеркивает.

В литературу попал случайно. Написал рассказ и понес рукопись в редакцию. Меня встретили сурово. Редактор взглянул на заголовок и говорит: „Надо переделать. Не выразительно... Вот у меня рукопись— „Поцелуй Иуды“... вот это громко. За одно заглавие можно напечатать“. Взял мою рукопись, сказав: „Уйдет на затычку“. С той поры я стал писать. Позднее был в редакции „Отечественных записок“ у М. Е. Салтыкова-Щедрина. Он принял меня тоже сурово. Но на другой день, когда прочел мою рукопись, обласкал меня: „Пишите, молодой человек, работайте, совершенствуйтесь. Искра есть, со временем будет пламя“.

Я вышел от него взволнованным и настолько был счастлив, что забыл надеть калоши и вспомнил о них только у себя на квартире“.

М. Е. Салтыков-Щедрин был прав — искра дала яркое пламя.

„Уральская жизнь“ № 238. 26 октября 1912 г.[2]

---

[1] Из рукописей, хранящихся в Свердловском областном музее, за исключением двух-трех, все переписаны самим Д. Н.

[2] Эта же статья под заглавием „Самоцвет-беллетрист“, помещенная в „Солнце России“ № 142 (43), октябрь 1912 г., имеет следующий конец:

„Теперь Д. Н. прикован тяжелым недугом к постели, но духом бодр, и недавно говоря о себе, шутил:

— По-славянски сказано: „износихося, до конца истекахося“, а я перевожу — в слякоть превратился.

И помолчав добавил:

— Тело умирает, а дух живет.

Таков в немногих штрихах уральский „беллетрист-самоцвет“.

Кроме этой статьи в этом номере „Солнца России“ помещена статья Вл. Лодыженского „Бурный талант“ и портреты: 1) портрет 90-х годов; 2) Мамин-Сибиряк, Фидлер и Н. К Михайловский на Кавказе; 3) Мамин-Сибиряк с Алеиушкой; 4) Мамин-Сибиряк, Чехов и Потапенко.

Д. И. ТИХОМИРОВ

ИЗ ЖИЗНИ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

(Родился в 1852 г., умер 2 ноября 1912 г.)

„Братья писатели! В нашей судьбе что-то лежит роковое...“

Эти горькие слова Некрасова, этот суровый приговор судьбы над русским писателем с особенною жестокостью тяготели над писателем „разночинцем“, выступившим на литературном поприще в шестидесятых годах, и выстраданы были прежде всего самим поэтом; оправдались они и на Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке. „Даром ничто не дается: судьба жертв искупительных просит...“ Пошлость жизни не легко и не скоро мирится с мыслью свободною и независимым трудом; и не розами усыпан, не лаврами повит, а всего чаще колючими терниями путь мыслителя и художника по призванию. А Мамин был еще притом и писателем „самородком“ из среды „разночинцев“.

Восьмилетним мальчиком покидает Мамин родное гнездо и отправляется на барже с железом по Чусовой в Пермь учиться в духовной семинарии. С этой минуты он уже „отрезанный от семьи ломоть“, предоставленный самому себе, одинокий в чужой и неласковой среде, как дикая былинка в поле, сам за себя ответственный во всем человек.

Начались долгие годы,— на двенадцать лет,— страдной поры семинарского ученья... Припомните „Бурсу“ Помяловского, прочитайте „Из далекого прошлого“, рассказ Мамина для детей, во многом еще смягченный и значительно урезанный по условиям детской литературы, и вам вчуже станет жутко за детей и подростков старой бурсы. Как могла только остаться неискалеченной живая душа в человеке!.. „Темно было и холодно, угрюмо, строго, голодно“ житье и ученье семинариста в те годы.

Но припомните вслед за этим некрасовский образ идеалиста Грищи-бурсака, и вы поймете, что и здесь не все гибли, а нарождались для жизни и драгоценные жемчужины.

„Годы ученья минули...“ Только и могла научить бурса — железному терпенью в жизненных невзгодах да закалила характер, приучила к упорному труду, дала навык с формальной стороны к „сочинительству“. „Годы ученья минули, и юноша, отмеченный печатью дара божьего“, стремится к свету, к знаниям: с крепкой юношеской верой в свои силы, с полной надеждой на успех, но с пустым кошельком, Мамин едет в Москву, перебирается потом в Петербург.

Но как жить и учиться, учиться и жить в столице без всяких средств, без всякой опоры для себя? Как не затеряться среди миллиона совсем чужих и незнаемых людей, как не погибнуть без всякого опыта жизненного, без уменья добывать себе хлеб насущный?

Одинокого в столице провинциала выручило и поставило на верный путь прирожденное призвание к писательству: Мамин сделался репортером. Заработок, по тогдашнему времени, в буквальном смысле грошевый, работа суетливая, хлопотливая, отнимающая все время и днем, и ночью. Припомните одно из последних славных произведений Мамина-Сибиряка — „Черты из жизни Пепко", и вы ярко, в живых образах и картинах представите себе, как жил Мамин-репортер, как жили тогда все мелкие писатели семидесятых годов. Жили в полном смысле слова, как птицы небесные, без определенного и устойчивого заработка; работа „сдельная" — что сегодня заработал, то завтра и прожил, и так изо дня в день, из года в год.

Но в горе жить, некручинну быть, — и репортерская семья жила беспечально, даже весело, не беспокоясь о завтрашнем дне; удачи и неудачи, горести и радости — все делилось пополам. Мамин любил жизнь и людей, не боялся труда и лишений, верил в свои силы. Его призвание определилось, недолго пришлось ждать и успеха. Его сибирские рассказы печатают в газетах и лучших „толстых" журналах.

Содержание для своих рассказов и романов Мамин больше всего черпает из родного ему Приуралья; как зоркий наблюдатель жизни людской, как страстный охотник среди лесов, Урал он знал и любил всей душой, а по красоте природы считал лучшим краем в мире. Не даром же он и назвал себя „Сибиряком". Вольною кистью, широким размахом, красочно и ярко, реально и правдиво рисовал художник живые образы и картины живой природы, живой жизни людей. В художественные формы он облек социально-бытовую жизнь неведомого дотоле края в переходное после раскрепощения время разрухи, когда вековые цепи распались, патриархальные устои пошатнулись, а жизнь раскрепощенной личности и общества, хозяев и работников не сложилась еще по-новому для всех, небывало, не нашла еще себе своего определенного русла.

Впечатление от нарисованных мастером-художником картин социально-бытового положения уральского населения получилось бы безотрадное, если бы автор не был так богат чисто юношеской верой в торжество света, правды и справедливости, не проповедывал бы необходимости знания, не возбуждал сочувствия к обездоленным, словом, не проводил бы в своих сочинениях светлых гуманистических взглядов.

Беззаветная любовь Мамина к детям, его выходящие из ряда вон художественные произведения, написанные для детей, обязывают нас рассказать здесь о скорбном событии в личной жизни писателя, с которым находится в тесной связи его творчество для детей.

Не судила судьба Мамину счастливо и прочно устроить себе семейное гнездо в пору первой молодости. Должно быть, „некогда было..." Полюбил он женщину, когда ему уже было под сорок лет, и полюбил всей душой, горячо, страстно, безгранично, — боготворил ее. Это была Абрамова, красавица-артистка одного из московских театров, с большим талантом, горячо преданная искусству, идейно увлекавшаяся им, неудержимо рвущаяся вперед и вперед. Любовь Мамина нашла отклик.

Сошлись. Зажили вместе. Это было в пору полного расцвета таланта Мамина, и он пользовался уже громкой известностью. Увлечение было так сильно, что писатель, с выдающимся крупным талантом и славным именем, готов был забыть о своем истинном призвании, решил поступить на сцену и являлся уже на подмостках театра, чтобы всегда и во всем быть заодно с любимой женщиной[1].

Но судьба судила иначе: страстная любовь скоро окончилась роковой развязкой. Абрамова готовилась быть матерью. Ребенок явился на свет преждевременно. Пришлось прибегнуть к тяжкой и рискованной операции: стоял вопрос о жизни и смерти или матери, или ребенка, а то, быть может, и обоих. Мать умерла. Ребенок спасен, но с грозными повреждениями и для физического, и для духовного развития.

Можно представить себе весь тот ужас терзаний, какой пережил тогда Мамин. Он был на пороге к помешательству. Готов был покончить с жизнью. Приготовил себе и место в могильном склепе рядом с любимой женщиной. Неотлучно целые дни проводил на ее могиле.

Грозовая туча понемногу прошла, но осталось надолго горькое чувство тяжелой утраты и страх за судьбу ребенка: выживет ли он? Как пойдет его развитие? Врачи говорили загадочно: все определится к шести годам. А потом назначили новый срок ожиданий—к двенадцати, а потом отложили и еще на несколько лет... Так и жил Мамин между страхом и надеждою.

Маленькая Аленушка стала единственным существом, которое обязывало его жить, привязывало к жизни, давало жизни содержание. „Меня не долюбили",—вырвалось как-то признание Мамина. Не изжилась, значит, до конца и его любовь. И весь запас этой любви своей, всю нежность мягкой, отзывчивой, доброй души своей он отдавал осиротевшей Аленушке. „Аленушка—отцовская дочь",—называл он ее. Он пристально следил за развитием ребенка, радовался и бережливо сохранял в сердце своем всякое проявление мысли и чувства девочки. С чувством тихой радости он, крайне редко говоривший о себе и о своих чувствах,— как-то коротко обмолвился: „Прочитал Аленушке сказку „О рыбаке и рыбке", а она и говорит мне: „Я старуху-то палкой прибью, зачем она старика обижает!"—И в другой раз рассказал: „Сидим мы с ней на диване, играем: а она и говорит: „Давай, папа, бороться, я ведь сильнее тебя!" и еще говорит: „Давай, папа, с тобой вдвоем жить, ты да я,—и больше никого!" Читал он своей Аленушке и свои сказки.—„Это ты, папа, сам написал? А я знаю, кто тебя научил писать, Потапенко!" Все такие проявления мысли и чувства ребенка глубоко радовали Мамина, оживляли его надежды на светлое будущее дорогой сердцу Аленушки.

Нежная скорбь собственной души за душу ребенка-дочери, проникновенная любовь к нему изощрила и без того зоркую наблюдательность писателя, открыла ему душу ребенка, объяснила интересы и запросы пробуждающегося сознания, указала таланту художника и средства задушевного общения с душою ребенка, воздействия на эту душу и создала, явила миру творца бессмертных произведений детской литературы. В области литературно-художественных воздействий на душу детей Мамин был истинным воспитателем; он знал, чем и как воздействовать

---

1 Этот факт нигде, ничем не подтверждается. *Составитель.*

на детскую душу, и с этой стороны детская литература Мамина, как откровение вдохновенного художника, заслуживает внимательного изучения педагога.

Мы едва ли ошибемся, если выскажем убеждение, что без рокового события в жизни Мамина не было бы „Аленушкиных сказок“ и других многочисленных перлов его детской литературы.

Он создал для Аленушки, а вместе с нею и для всех детей, светлую и красивую, гуманную и поэтичную, оригинальную детскую литературу. Мало того, он отдался этому новому для него творчеству всецело, только им одним и увлекался, на нем отогревал свою душу.

И опять едва ли мы ошибемся, если скажем, что со времени катастрофы совершился в писателе перелом, и он уже не мог дать общей литературе ничего равного своим прежним произведениям... „Детские тени“, написанные в это время (1892 г.), вызваны теми же скорбными о детях душевными переживаниями.

Детские рассказы выливались у Мамина сразу, писались легко, прямо „набело“ и без всякой помарки.—„Телеграфируй мне, когда срочно понадобится рассказ для журнала,— говорил он,— и на третий же день получишь“.

Работоспособность Мамина была вообще поразительна. Он мог работать без передышки целый день. Работал в будни и в праздник, у себя дома и в гостях. После весело проведенной с друзьями ночи, в семь часов утра он уже за письменным столом и радуется, что к утреннему чаю у него уже написано бисерным почерком несколько больших страниц. В нем как-будто скрывался неистощимый запас пережитого уже литературного материала и всегдашняя радостная готовность, при всяких условиях и без всяких усилий, перевести готовое в душе содержание на бумагу. „Тем у меня записано в памятной книжке,— говорил он,—сколько хочешь, на целый век хватит, и еще останется“. И это была правда.

Труд за письменным столом доставлял ему высшее наслаждение, это была потребность его души, это были лучшие часы его жизни, когда он забывал все свои горести и невзгоды.

Страстное желание писать не покидало Мамина — даже и во время долгой и тяжкой болезни, приковавшей его к постели и сведшей в могилу. В каждом своем письме, написанном уже каракульками, он неизменно прибавлял: „Скоро пришлю рассказ, непременно пришлю, жди“. За год до смерти на столике перед кроватью, вместе с лекарствами, лежала записная книжка с начатой страничкой.—„Пробовал... Не то выходит“,—заметил он.

Работал Мамин, не помышляя о славе: писал не в угоду читателю и критику: свободною дорогой шел независимый художник. Пришлет рассказ и всегда скажет в письме: „Не знаю, понравится ли,— посылаю, как печь испекла!“

Совершенно чужды были Мамину и корыстные расчеты: не продавал он не только вдохновения, но и рукописи: за гонорар не торговался, авансов не брал и нередко делал литературные подарки нуждающейся в средствах редакции. А сам он жил при самой скромной обстановке и всегда был более чем ограничен в своих денежных средствах. Его большие романы расходились не бойко; он часто говорил: „Мой „Хлеб“ меня не кормит, мое «Золото» в карман ко мне не попадает“. В по-

следние годы жил без нужды исключительно почти на счет детской литературы. Об издателях вообще,— как говорит один из близких друзей Мамина,— он отзывался так: „Это люди с зубом... Умеют делать дела". Но всегда выделял одного московского издателя Т.: „Вот ему я благодарен: он меня поддержал и морально, и материально, когда мне было очень трудно, и я помышлял о развязке с жизнью".

Что-то, роковое, жестоко несправедливое сопутствовало Мамину и в личной его жизни, и в делах литературных. Человек бережливый, неутомимый работник, плодовитый и славный писатель часто переживал крайнюю нужду. Человек любящий и с нежной душой, не знавший врагов и всеми искренне любимый и уважаемый, утверждал при конце своей жизни: „Меня не долюбили..." „Не долюбили" Мамина и „братья-писатели". До сего времени мы не знаем в литературе более или менее подробных сведений о жизни Мамина.

В энциклопедических и литературных словарях нет даже полного перечня всех произведений Мамина-Сибиряка; биографические сведения— полтора-два десятка строчек, а перечень произведений оканчивается словами: „и многие другие". Кроме двух статей Скабичевского: одной общелитературной и другой — о сказках и рассказах для детей, и статьи Саввина о детских книгах, мы не знаем ни одного обстоятельного критического очерка литературной деятельности Мамина-Сибиряка. И это не потому, что критика не признавала крупного таланта писателя и выдающегося значения всей его деятельности. Признавать это все без исключения признавали, а обстоятельной оценки не было. В одной дружеской литературной беседе, обращаясь к Николаю Константиновичу Михайловскому, Мамин обронил слова: „А вот обо мне ты ничего не написал". Михайловский на это ответил приблизительно так: „К тебе не так-то легко подойти, не легко изучить и обнять... Я много об этом думал".— И, действительно, не легко было подойти к Мамину: он писал о жизни неведомого в литературе края,— кто же мог быть его судьею?

Он при этом рисовал такие оригинальные социально-бытовые картины жизни переходного времени и с таким широко и глубоко захватывающим размахом, открывал такие перспективы будущего, что обычная мерка к нему не подходила. „Стихийная сила", „Черноземная сила", „Землепроход",— так обыкновенно его между собой называли „братья-писатели". В последние дни один из серьезных литературных обозревателей в серьезной газете заметил, что если бы Мамин писал в наши дни, то он нарисовал бы нам картины и современной разрухи, и многое бы нам объяснилось.

Не удостоился Мамин при жизни своей и публичного чествования; в чужих юбилеях он охотно принимал участие, а празднования своего юбилея не дождался. В беседе вдвоем, с глазу на глаз, об одном шумном литературном юбилее он как-то сказал, шутя: „А вот меня никогда не уважили и бутербродом". Быть может, это объясняется, между прочим, и тем, что хоть и дружен он был со всеми, ценим и уважаем, но не принадлежал всецело ни к какой партии, ни к какому литературному кружку или журналу; жил сам по себе, думал и чувствовал по-своему.

Ровно за неделю до смерти, когда Мамин не мог даже и приподняться в постели, был прочитан ему адрес от литераторов и почитате-

лей. В ответ на запоздалое приветствие он не проронил ни слова. А перед этим, когда у него спрашивали согласия на „празднование юбилея сорокалетия“, он промолвил: „Поздно!“ И всю ночь после этого „юбилея“ больной провел так тревожно и мучительно, что окружающие его думали, что пришел конец. Не адрес запоздалый ему как будто прочитали, а преждевременно пропели умирающему „вечную память“.

Над открытой могилой и при спущенным над нею гробом Мамина сказано было не много: две коротких речи и стихотворение. Художник Денисов-Уральский, близкий друг покойного, боясь разрыдаться, как он заметил вначале, прерывающимся голосом развивал справедливую мысль об одиночестве Мамина, как бы в упрек окружавшей могилу толпе. И действительно, Мамин был одиноким среди литературных друзей, а лучшую часть своей жизни — и в семье своей. Только в последние годы он неотлучно имел при себе заботливого и искренне преданного друга — жену Ольгу Францевну Мамину; на нее, с полною верою, покинул он и Аленушку. Открылись на могиле и незнакомые при жизни друзья,—молодежь, студенты и курсистки, неумолкаемо певшие вечную память...

Будем всегда помнить его заветную мысль о труде на пользу детей: „Это дело я считаю очень важным. „Оно важнее всего остального... Дети — будущее человечество; в них — будущее человечества; в них— будущие возможности...“

„Педагогический листок“, журнал для воспит. и народн. учителей. 1912 г., кн. 8.

Д. УДИНЦЕВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МАМИНЕ-СИБИРЯКЕ

Чувство громадной любви к народу было сильным двигателем для таланта Мамина-Сибиряка.

Был еще один объект любви: это дети...

Для нашего писателя это был совершенно особый мир...

Мир этот был создан для него его Аленушкой. До Аленушки он детей не знал.

Потом, когда появилась на свет Аленушка и когда он остался с ней один, он сразу вошел в „детскую", как бы в свою комнату...

Он почувствовал себя с ребятами сразу, как рыба в воде.

Приезжая часто в Петербург, я имел возможность бывать в доме Александры Аркадьевны Давыдовой, т. е. в редакции журнала „Мир божий".

Марья Карловна Давыдова — теперь издательница „Современного мира",—тогда была еще „Мусей"... Тут же была Лиза Гейнрих — теперь жена Куприна. Появлялись в доме Давыдовой и другие дети.

Вечерами у покойной Давыдовой часто собирались писатели: покойный Михайловский, тоже покойный — Засодимский, Скабичевский и др. И, конечно, Дмитрий Наркисович... Он был всегда необходимым гостем на этих маленьких журфиксах. Покойный Михайловский всегда волновался, когда долго не было „Наркисыча".

Помню, как сейчас, сидим мы все за ужином: сидят и ребята.

Дмитрий Наркисович — в центре детей, как всегда...

В самый разгар беседы взрослых раздается громовой хохот ребят...

Детей — Мусю и Лизу — выводят из-за стола, а Дмитрий Наркисович сидит, как ни в чем не бывало...

Но покойная Александра Аркадьевна Давыдова великолепно знала, кто виноват в „неприличном" поведении детей...

Многое, многое еще нужно было бы сказать о Дмитрии Наркисовиче...

Но я кончаю пока свои воспоминания... Пусть зарастет могила...

Могила зарастет, а память о художнике-бытописателе останется.

Иллюстрированное приложение к газете „Уральская жизнь" № 3, 1913 г. Январь.

Л. А. КУПРИНА[1]

ВОСПОМИНАНИЯ О Д. Н. МАМИНЕ-СИБИРЯКЕ

Покойного Д. Н. Мамина-Сибиряка я знала совсем маленькой. Помню, как он одевал медвежью шкуру и пугал меня. Я от него убегала, а он догонял на четвереньках, влезал под рояль и прятался за стулья. Когда я подходила к нему пожелать доброго утра, он делал вид, что не замечает меня и закрывался газетой, я начинала сердиться и барабанить руками по газете, желая, чтобы дедушка (так я называла Д. Н. Мамина) поборолся со мной, на что он почти всегда соглашался. За столом Д. Н. делал гримасы, острил и всех смешил. Когда я не слушалась, он говорил, что съест меня. И играл он со мной в куклы и в солдаты, как ребенок.

„Урал“, первый сборник „Зауральского Края“, 1913 г. Екб.

---

[1] Автор — дочь А. И. Куприна и Е. М. Гейнрих, жившей после смерти сестры долгое время с Маминым и Аленушкой.

В. ГЛИНСКИЙ

ПАМЯТИ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Пишущий настоящий очерк состоял с покойным писателем в близких и дружеских отношениях, начиная с 1890 г., когда Дмитрий Наркисович появился в редакции „Северного вестника“ с объемистой рукописью, предназначенною для областного отдела журнала и посвященною описанию добычи на Урале золота и платины. Желание Мамина принять участие в журнале доставило мне не малую радость, и между мною и этим, тогда уже известным писателем, скоро завязались дружеские отношения. Высокий, статный, с умным красивым лицом, выразительными глазами, он сразу располагал к себе, вызывал симпатию и естественно заставлял думать, что пред тобою находится отмеченный божественною печатью человек с большим талантом и широкою, любвеобильною душою. С тех пор наши отношения с Маминым бывали временами очень тесными, и мне приходилось в разные периоды его жизни становиться к нему в особенную близость.

Свежий холод могилы не позволяет мне поведать здесь многое интимное, что мне известно из жизни этого выдающегося человека, и рассказать о том близком и сердечном участии, которое он мне выказывал в разные тревожные периоды моей жизни. Тут пришлось бы вдаться в область автобиографическую, где обоюдные наши драмы смешивались и переплетались, где между собеседниками лились долгие речи и оказывались друг другу те или иные услуги. Все это главным образом имело место в первую половину 90-х годов, когда в жизни Мамина разыгралась большая семейная трагедия и когда над моей судьбою висели серые тучи.

Как живой, стоит передо мной Дмитрий Наркисович по прибытии в 1890 г. в Петербург, когда он рука об руку с артисткой М. М. Абрамовой свивал свое уютное гнездышко на Миллионной улице, где чувствовалось столько задушевного тепла и где взор с любовью останавливался на этой красивой парочке из литературно-артистического мира, перед которой, казалось, развертывалась такая широкая, светлая жизненная дорога.

Но горе подкралось нежданно, и преждевременная смерть унесла подругу жизни нашего писателя, оставив на его попечение малютку-дочь, которой он и отдал всю силу своей любящей души, всю силу своих

дум и забот. Тяжелый период жизни наступил у него; горе могло его совершенно поглотить, но близкие люди, успевшие к тому времени полюбить этого выходца с Урала, сумели его поддержать и в том числе, главным образом, тоже ныне уже покойные, Александра Аркадьевна Давыдова и Н. К. Михайловский. Давыдова на первых же порах приняла на себя попечение и заботу об осиротевшей Аленушке,— так звали дочь Мамина,— и избавила его от тех хлопот, которые не всегда бывают под силу мужчинам. За эти услуги Мамин чувствовал себя бесконечно обязанным Давыдовой, и когда она основала журнал „Мир божий", впоследствии перекрещенный в „Современный мир", он оказал ей своим художественным пером сильную поддержку, работая на издание на самых льготных условиях.

Я помню посещение Маминым издательницы „Мира божьего" в Лесном в 1895 г. и видел всю ту бесконечную признательность, которую он ей дарил в ответ за все то доброе, что когда-то Давыдова сделала и для него, и для его дочери. Равным образом отдавал он и свои лучшие чувства Михайловскому, которого высоко ставил и как писателя, и как общественного деятеля, и как человека.

Когда на последнем писательском съезде среди некоторых литературных кружков говорили, что на съезде не участвуют крупные литературные силы, Мамин, обращаясь к своим провинциальным коллегам, говорил:

— А где они, крупные-то силы? За свою многолетнюю литературную деятельность я знал только одного крупного писателя — и этим писателем был покойный Николай Константинович Михайловский.

Последний питал к Сибиряку чувство большой любви, высоко ставил его „стихийный талант" и всегда любовался проявлением его оригинального ума, меткостью его определений и живописностью его речи, как в личной беседе, так и в писании. Но рядом с этим за Михайловским перед Маминым был тяжкий грех: он не удосужился в своих критических работах дать должную характеристику литературного творчества Мамина, поставить его в нашей журналистике на надлежащее место и тем самым своим авторитетом критика-публициста освободить его от того замалчивания и непонимания нашей общей критикою, которыми она провинилась перед почившим писателем.

Кроме личной раны, о которой упомянуто выше, замалчивание Мамина критикой было также больным местом в его жизни, и иногда в этом отношении, при всей скрытности своего характера, скупого на автобиографический материал, он невольно давал волю своему накипевшему больному чувству. Так, в одну из наших последних встреч в Павловске у умиравшего А. М. Скабичевского он прорвался после лишнего выпитого стакана вина. Вспоминая свое прибытие в Петербург и „представление" корифеям нашей критики, Мамин со смехом, в котором, однако, слышались ноты нето обиды, нето сарказма, отметил, как несколько свысока отнесся к нему Скабичевский и как последний пришпилил к нему кличку „беллетриста-этнографа". Эта кличка казалась ему обидною, и он раздражался, что критика в его произведениях не находит ничего более замечательного, как элемент этнографии. Более сдержанно отнесся он к тому, что Михайловский просто замолчал его, отметив лишь „стихийность" его дарования, и однажды в беседе со мною в Москве, где мы одновременно очутились по литературным де-

гам, уже после смерти знаменитого социолога-публициста, Мамин просто с огорчением подчеркнул этот факт. Узнав, что Михайловский как-то в разговоре со мной удивлялся даровитости автора „Уральских рассказов“ и выдвигал с особенною силою своеобразность его таланта, не укладывавшегося ни в какие шаблонные рамки, он упорно требовал от меня восстановить в памяти все то, что редактор „Русского богатства“ про него говорил. Видно было, что он дорожил каждым его словом, как словом не только выдающегося писателя, но и человека, к которому он крепко был привязан. Мне кажется, что, останься жив Михайловский еще некоторое время, и жизнь Мамина не скоро прекратилась бы; он сумел бы удержать своего младшего друга от тех грехов и ошибок, в которые он впадал все чаще и чаще в последнье годы и которые ускорили роковую развязку его жизни.

Человек удивительно общительный, стоявший вне всяких партий, наш беллетрист имел много приятелей, но друзей, настоящих друзей, перед которыми бы он развертывал всю широту своей прекрасной души, у него было мало, и одиночество в идейном, культурном смысле было, на мой взгляд, несомненным спутником его жизни. При всей шумности своего поведения на людях, шумности, покрытой постоянным смехом, бравурными речами, вечными шутками и прибаутками, в нем таилась какая-то тоска, которую он глубоко оберегал в своей душе, не давая к ней прикасаться чужим рукам. Его произведения, рассмотренные под этим углом зрения, могут дать в распоряжение изучающих их богатый материал. В обилии вы найдете этот материал и в автобиографическом романе „Черты из жизни Пепко“, где автор нарисовал не мало страниц из ранних лет своей жизни, первого периода пребывания в Петербурге, некоторыми страницами которого мы в дальнейшем воспользуемся для характеристики писательской физиономии почившего беллетриста.

Я помню большой портрет, висевший в 90-х годах над его письменным столом, изображавший собою почтенного перея,— это было изображение его отца. Среднее образование прошел он в той же родной духовной среде, а для получения высшего приехал в Петербург, где учился то в ветеринарном институте, то в университете, но ни в одном из заведений курса не окончил — того не позволили ему средства, и он с молодых лет погрузился в тяжелую мелкую газетную работу. Каждый день брался с бою построчной платой мелкого репортажа, который иссушал силы, но не давал необходимой пищи молодому организму. „Какая это ужасная вещь — голод, особенно в молодые годы, когда организм так настойчиво предъявляет свои права на питание,— говорит он в своем автобиографическом романе „Черты из жизни Пепко“.— Средним числом мне пришлось прожить впроголодь около десяти лет, и я отлично понимаю, что значит вечно недоедать“. Вспоминая об этом репортерском периоде своей жизни, писатель далее повествует: „Мое репортерство быстро пошло в ход, и в какой-нибудь месяц я превратился в заурядного газетного сотрудника. Меня уже не смущала больше моя пестрая визитка, потому что были и другие репортеры, которые настойчиво желали быть репортерами. Громадное неудобство этой работы заключалось в том, что она отнимала ужасно много времени. Приходилось в день заседания уходить из дому в семь часов вечера и воз-

вращаться в час, а затем утром писать отчет и нести его в трактир. Одним словом, уходил почти целый день. Такая работа в результате давала от рубля до двух за отчет. Считая от десяти до пятнадцати ученых заседаний в месяц, мой заработок колебался между двадцатью и тридцатью рублями. Цифра для меня являлась громадной, особенно принимая во внимание, что это были первые заработки, дававшие известную самостоятельность и некоторое уважение к собственной особе. Да, я уже являлся составной частью того живого целого, которое называется ежедневной газетой. Про себя я очень гордился своей первой литературной работой и был рад, что начал службу простым рядовым. Теперь для меня раскрывалась другая сторона жизни газетного дела, которая для обыкновенного газетного читателя не существует,— за этими печатными строчками открывался оригинальный живой мир, органически связанный вот именно с таким печатным листом бумаги. Настоящий газетный сотрудник, в общежитейском смысле,— погибший человек, потому что после пяти-шести лет газетной работы он настолько въедается в свое дело, что теряет всякую способность к другой работе. Я видел настоящих фанатиков газетного дела, как тот же полковник Фрей. Меня поражала прежде всего его изумительная аккуратность,— аккуратность настоящего старого газетного солдата, который знал только одно, что „газета не ждет". Мне пришлось проработать с ним вместе около трех лет, и не было случая, когда бы он опоздал хотя на пять минут.

Газетное братство распадалось на целый ряд категорий: передовики, фельетонисты, хроникеры, заведующие отделами вообще и просто мелкая газетная сошка. В сущности получались две неравных „половины": с одной стороны, газетная аристократия, как модные фельетонисты, передовики и „наши уважаемые сотрудники", а с другой стороны — безыменная газетная челядь, ютившаяся на последних страницах, в отделе мелких известий, заметок, слухов и сообщений. Особенно сильная борьба шла именно в этом последнем отделе микроорганизмов, где каждая напечатанная строка являлась синонимом насущного хлеба. Я быстро понял эту газетную философию: каждая напечатанная мной строка отнимала у кого-нибудь его кусок хлеба. Отсюда своя подводная борьба за существование, свои бури в стакане воды, свои интриги, симпатии и антипатии".

Одновременно с этой репортерской работой Мамин задумывает и писание романа и все в тех же очерках „Из жизни Пепко" дает характерные картины процесса своего творчества и отмечает, каким путем и каким методом работы он шел к намеченной цели. Он повествует: „Мои занятия шли своим чередом. Все свободное время, которое у меня оставалось, шло на писание романа. То была работа Сизифа, потому что приходилось до десяти раз переделывать каждую главу, менять план, вводить новых лиц, вставлять новые описания и т. д. Недоставало прежде всего знания жизни и технической опытности... У этого первого произведения прежде всего было одно достоинство: оно дало привычку к упорному самостоятельному труду. Да, труда было достаточно, а главное — была цель впереди, для которой стоило поработать. Время от времени наступали моменты глухого отчаяния, когда я бросал все. Ну, какой я писатель? Ведь писатель должен быть чутким человеком, впечатлительным, а я чувствовал себя самым заурядным, средним рабо-

чим — и только. Я перечитывал русских и иностранных классиков и впадал в еще большее уныние. Как у них все просто, хорошо, красиво и, главное, как легко написано, точно взял бы и сам написал то же самое. И как понятно — ведь я то же самое думал и чувствовал, что они писали, а они умели угадать самые сокровенные движения души, самые тайные мысли, всю ложь и неправду жизни. Что писать после этих избранников, с которыми говорила морская волна и для которых звездная книга была ясна...“

„Первоначальная форма романа была совершенно особенная, без глав и частей. Кажется, чего проще — разбить поэму на части и главы, а между тем это представляло непреодолимые трудности — действующие лица никак не укладывались в предлагаемые рамки, и само действие не поддавалось расчленению. Одним словом, мне приходилось писать так, как будто это был первый роман в свете и до меня никто не написал ничего похожего на роман. Действие получалось самое запутанное, так что из каждой главы можно было сделать самостоятельный роман. А затем действующие лица так мало походили на живых людей, начиная с того, что резко разграничивались на два разряда — собственно героев и мерзавцев по преимуществу. Это было то же, если бы в мире было всего два цвета — белый и черный, а спектр не существовал. Настоящая жизнь еще не давала красок. Да и какая это была жизнь: описывать свое родное гнездо, когда Гоголь уже навеки описал юг, описывать свою школу, студенчество, репортеров, Федосью, Пепку, фельдшера, как он жужжит мухой, пухленькую Надю,— все это было так серо, заурядно, и не давало ничего. Вообще было достаточно оснований для отчаяния... Да и что можно было написать, сидя в нашей проклятой мурье? Я начал ненавидеть свою комнату, Федосью, всех квартирантов; это была та стена, которая заслоняла от меня настоящую жизнь. Оставалась надежда на будущее, и я хватался за нее, как утопающий хватается за соломинку.

Впрочем, была одна область, в которой я чувствовал себя до известной степени сильным и даже компетентным:— это описания природы. Ведь я так ее любил и так тосковал по ней, придавленный петербургской слякотью, сыростью и вообще мерзостью. У меня в душе жили и южное солнце, и высокое синее небо, и широкая степь, и роскошный южный лес... Нужно было только перенести все это на бумагу, чтобы и читатель увидел и почувствовал величайшее чудо, которое открывается каждым восходящим солнцем и к которому мы настолько привыкли, что даже не замечаем его. Вот указать на него, раскрыть все тонкости, всю гармонию, все то, что благодаря этой природе отливается в национальные особенности, начиная песней и кончая общим душевным тоном. Свои описания природы я начал с подражания тем образцам, которые помещены в хрестоматиях, как образцовые. Сначала я писал напыщенно-риторическим стилем а-ля Гоголь, потом старательно себе усвоил манеру красивых описаний а-ля Тургенев и только под конец понял, что и гоголевская природа и тургеневская — обе не русские, и под ними может смело подписаться всякая другая природа, за очень немногими исключениями. Настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, и горная — у Лермонтова,— эти два автора навсегда остались для меня недосягаемыми образцами. Над выработкой пейзажа я бился около двух лет, при чем мне много помогли русские худож-

ники-пейзажисты нового, реального направления. Я не пропускал ни одной выставки, подробно ознакомился с галлереями Эрмитажа и только здесь понял, как далеко ушли русские пейзажисты по сравнению с литературными описаниями. Они схватили ту затаённую, скромную красоту, которая навевает специально русскую хорошую тоску по северу; они поняли чарующую прелесть русского юга, того юга, который, в конце концов, подавляет роскошью своих красот и богатством светотени. И там, и тут разливалась специально наша русская поэзия, оригинальная, мощная, безграничная и без конца родная... Красота вообще вещь слишком условная, а красота типичная — вещь определенная. Северные сумерки и рассветы с шелковым небом, молочной мглой и трепетным полуосвещением, северные белые ночи, кровавые зори, когда в июне утро с вечером сходится,— все это было наше родное, от чего ноет и горит огнем русская душа; бархатные синие южные ночи с золотыми звездами, безбрежная даль южной степи, захватывающий простор синего южного моря — тоже наше и тоже с оттенком какого-то глубоко неудовлетворенного чувства. Бледная северная зелень-скороспелка, бледные северные цветки, контрастирующая траурная окраска вечно зеленого хвойного леса с его молитвенно-строгими готическими линиями, унылая среднерусская равнина с ее врачующим простором, разливы могучих рек,— все это только служило дополнением могучей южной красоты,— горевших тысячью ярких живых красок цветов, смуглой, кожистой, точно лакированной южной зелени, кругливших купы южных деревьев. С каким удовольствием я проверял описания природы по лучшим картинам, сравнивал, исправлял и постепенно доходил до понимания этого захватывающего чувства природы. Мне много помогло еще то, что я с детства бродил с ружьем по степи и в лесу и не один десяток ночей провел под открытым небом на охотничьих привалах. Под рукой был необходимый живой материал, и я разрабатывал его с упоением влюбленного, радуясь каждому удачному штриху' каждому удачному эпитету или сравнению".

Возвращаясь в другом месте к первым шагам на пути своей беллетристической работы, Мамин говорит: „Я опять перечитывал свой роман и начинал находить в нем некоторые достоинства, как описания природы, две-три удачных сцены, две-три характеристики. Есть авторы, которые выступают сразу в своем настоящем амплуа, и есть другие авторы, которые поднимаются к этому амплуа точно по лесенке. Вдумываясь в свое сомнительное детище, я отнес себя к последнему разряду. Да, впереди предстоял целый ряд неудач, разочарований и ошибок, и только этим путем я мог достигнуть цели. Я нисколько не обманывал себя и видел впереди этот тернистый путь. Что же, у всякого своя тернистая дорога... Ведь музыкант прежде, чем перейти к композиторству, должен пройти громадную школу, художник тоже, и одна теория ни тому, ни другому не дает ничего, кроме знания. Автору приходится сразу выступать композитором, и в этом громадная разница. Конечно, и у автора есть свой подражательный период, который только постепенно сменяется тем своим, что одно только и делает автора. В этом своем, как бы мало оно ни было, заключается весь автор; разница только в степени. Есть свои рядовые, офицеры, генералы и даже фельдфебеля и унтер-офицеры.

Все эти мысли и чувства проходили у меня довольно бессвязно,

путались, сбивали друг друга и производили тот хаос, в котором трудно разобраться. А нужно было жить, нужно было работать...“

Из приведенных выдержек мы усматриваем, как бережно, благоговейно наш писатель готовился к своему служению печатному слову, для которого у него в душе создалось и окрепло настоящее „какое-то мистическое уважение“. Он с особенною поэтому любовью вспоминал первые свои появившиеся в печати произведения и говорил по поводу них: „Первые печатные строки... Сколько в этом прозаическом деле скрытой молодой поэзии, какое пробуждение самостоятельной деятельности, какое окрыляющее сознание своей силы! Об этом много было написано, как о самом поэтическом моменте, и эти первые поцелуи остаются навсегда в памяти, как полуистлевшие от времени любовные письма“.

И благоговение к писательству, как к целомудренному долгу перед родиной, Мамин сохранил до конца своих дней.

Это как нельзя лучше характеризует Мамина как писателя-профессионала, и, быть-может, этим свойством его литературного дарования и литературного мировоззрения и объясняется то, что количество созданного им не совсем соразмерно с теми мощными силами, которые были заложены в него природою. Он не разменивался на мелкую монету, был щепетилен в выборе себе места сотрудничества и отдавал в печать только тогда свое произведение, когда оно было им всесторонне обдумано и сконструировано в воображении во всех подробностях. Тогда он садился за работу (по преимуществу по утрам) и создавал его на бумаге почти без всяких помарок и поправок. Работа шла у него удивительно легко, и просто можно было любоваться, с какою быстротою исписывались им листы почтовой бумаги большого формата.

Выносив и воспитав в себе перворазрядного беллетриста, он в 1882 г. дебютирует сначала в журнале „Дело“, а затем переходит в „Отечественные записки“, где появляются его большие произведения: „Бойцы“, „Золотуха“, „Горное гнездо“, „Приваловские миллионы“ и др. К концу 80-х годов количество им написанного достигает такого размера, что его рассказы выходят отдельно в двух томах („Уральские рассказы“), куда, однако, не вошли большие романы. Таким образом крупное литературное имя было создано, и писатель после многих лет мыканья по газетным задворкам вышел на широкую дорогу, где судьба увенчала его известностью и почетом. Но жизнь и работа в столичном городе не могла давать духовного удовлетворения былому провинциалу: его из городских тесных каменных гробов с их трактирной обстановкой, являющейся уделом по большей части наших начинающих писателей, борющихся за право жизни и право творчества, тянуло на простор, в тайгу, в лес, в степь, на лоно природы. Все в том же автобиографическом романе он по этому предмету пишет: „Я мечтал летом пробраться в свои степи: это повторялось каждую весну, и каждую весну эта надежда разбивалась о главное препятствие: не было денег на поездку. Таким образом мне пришлось провести два ужасных лета в Петербурге, и я утешал себя только расчетами на третье. Но, увы! — этой мечте не суждено было сбыться... Как раз перед последним экзаменом я получил письмо от отца, в котором было так много хороших советов и не было денег на поездку. Деньги, про-

клятые деньги! Они отнимают у нас даже родное небо, родное солнце, ласки любимых людей, — одним словом, все хорошее и самое дорогое. Я очень любил и уважал отца. Это был простой и добрый, но строгий человек, смотревший на жизнь серьезно. „Перебейся как-нибудь лето в Питере,— писал он: — конечно, это тебе покажется скучным, но нужно примириться... Сколько есть людей, которые всю жизнь мечтают попасть в Петербург, чтобы посмотреть своими глазами на его чудеса, да так и остаются в глуши. Пользуйся случаем... Кончишь курс, поступишь в провинцию на службу, и еще неизвестно, удастся ли тебе в другой раз видеть эту знаменитую столицу". Милый старик, как он мило ошибался... Чудеса Петербурга — верх наивности. С какой радостью я послал бы к чорту эти чудеса, чтобы умчаться туда, на дорогую родину".

И вот, что было для него недосягаемым в дни студенческого богемства и репортерского мыканья, становится достижимым с приобретением литературного имени[1]. Он посылает к чорту наши столичные чудеса и присоединяется снова к той уральской жизни, где у него были так живы и святы все впечатления молодого бытия, где перед ним снова в величественной панораме предстал Урал с его своеобразной жизнью, людьми, нравами и бытом откуда он почерпал широкою рукою содержание и темы для своего творчества. Урал, рядом с своеобразием своей бытовой жизни, дал ему богатое поле наблюдения над коренными типами русской жизни, из которых одна часть явилась представителями дореформенной России, другая — нового уклада вещей. Эта дореформенная Россия, примитивная, наивная, своеобразная, неповоротливая и непредприимчивая, ярко нарисована им в целом ряде произведений в момент ее распадения под напором новых веяний, взявших свое происхождение из тех начал цивилизации, которую принесли с собою освободительные шестидесятые годы. И рядом с этой отживающей стариной он поставил типы новейшей формации, жаждущие, ищущие, часто хищные и неприглядные, для которых ничто в старом не было дорого и которые старательно сметали это старое, не умея, однако, на очищенном месте создать ничего положительного, устойчивого и красочного, что бы привлекло глаз и вызывало сочувствие к своей внешней и внутренней стороне. Между этими двумя сторонами старой и новой России он вывел ряд промежуточных типов, „не готовых к сильной борьбе" и гибнующих в своем бессилье завоевать себе право жизни. Все эти стороны русской жизни и типы выведены им в ряде романов, к главнейшим из которых относятся „Три конца", „Золото", „Хлеб", „Приваловские миллионы", „Охонины брови", „Братья Гордеевы" и целый ряд других более мелких произведений, вошедших в отдельные сборники.

Творчество Мамина приковало к себе внимание читателей, и он уже к концу восьмидесятых годов стал одним из любимых русских беллетристов, чьего сотрудничества старательно искала наша ежемесячная журналистика, но о котором „партийная" критика не находила сказать ничего живого и оригинального. Он, печатаемый в наших жур-

---

[1] Здесь Глинский несомненно ошибается. Литературная известность пришла к Д. Н, позднее, во время его пребывания на Урале, после 1884 г., т.-е. после появления „Приваловских миллионов", и „Горного гнезда". *Составитель.*

алах левого лагеря („Вестник Европы“, „Дело“, „Отечественные записки“, „Устои“, „Русская мысль“, „Русское богатство“, „Мир божий“, „Русские ведомости“), стоял совершенно независимо в роли художника-моралиста без крикливого завывания и заигрывания с прихотливыми вкусами публики и живописал свои широкие полотна свободной кистью, выбирая краски не из заказных редакционных ящиков, а заимствуя из той сокровищницы, которою одарила его книга жизни.

Рядом с перечисленными романами большого бытового значения он дал серию произведений с более суженной сферой действия и берущих свое содержание из жизни русской интеллигенции. Таковы „На улице“, „Первые студенты“, „Надо поощрять искусство“, „Ученое горе“, „Черты из жизни Пепко“, „Детские тени“ и др. И в этой серии произведений мы видим все того же писателя-гуманиста, вырисовывающего, рядом с типами сильных, и слабых людей, которых он призывал щадить, любить, жалеть.

Эпоха семидесятых-восьмидесятых годов дала ему в распоряжение богатый материал, анализируя который, историк того времени уловит живое дыхание жизни, веяния времени и все то смутное, неопределенное, что понемногу подготовило буйное и развалочное время текущего столетия.

Возвращение на родину оживило Мамина, он, подобно мифическому герою, прикоснулся к лону родной земли и быстро встал во весь свой могучий рост, как областник и бытописатель коренной России. Эта последняя переливалась в его произведениях всеми своими причудливыми красками, ярко сказывалась в личных свойствах его характера и создавала из него тот притягательный тип, который нельзя было не любить всякому, кто к нему вплотную, близко-близко подходил. Живя на родине, он принял на себя поддержку своей осиротевшей семьи и предоставил из своего заработка средства к получению образования младшими ее членами. Он помогал всем обращающимся к нему, зная по опыту, как тяжело живется людям в материальной неволе.

В девяностых годах, после вторичного возвращения в столицу, вместе с артисткой Абрамовой, мы видим его ревностным сотрудником „Русской мысли“, где тогдашние руководители журнала, в лице Лаврова, Гольцева и Ремизова (все также ныне покойные), высоко ценили талантливого бытописателя Урала. Позднейшие эпигоны этого журнала уже на наших глазах, забыв свое литературное родство, вместе с тем забыли и Мамина, упуская из виду то многое и ценное, что им в свое время было сделано для московского издания. Он с горечью говорил мне, что ему даже перестали высылать журнал, точно его нет в списках живых писателей. „Коммерческие люди, — с обидной улыбкой говорил он.— Болен, не работаю, ну — и за окно, как выжатый лимон“. И он комически делал один из своих любимых жестов и присвистывал.

После своей драмы семейной жизни и после услуг, оказанных ему Давыдовой, он становится деятельным сотрудником „Мира божьего“, а также „Детского чтения“ Д. И. Тихомирова, журнал которого снабжает своими прелестными детскими рассказами. Но дружеская его близость с Давыдовой и с официальным редактором „Мира божьего“ В. П. Острогорским не распространяется на прочий редакционный состав, от которого он становится в изолированное положение, как бы

сматривая в его отношениях к себе недостаточные оценку и чувство дружбы. То же самое мы видим в его отношениях к „Русскому богатству“, где он близко стоял только лично к Михайловскому, ради которого он готов был при всяких условиях нести свое сотрудничество в этом журнале. Ему редакционная кружковщина просто претила; здесь он видел партийную узость, которая во имя известных программ готова уложить и его самобытный талант на прокрустово ложе. Исключением был в его глазах лишь С. Н. Южаков, тоже стоявший в последние годы в стороне от „молодой“ редакции „Русского богатства“.

Создав себе выдающееся имя бытописателя-романиста, Мамин после постигшего его семейного горя, под влиянием обожания своей осиротелой дочки, с особенной любовью отдает свое перо на служение детской литературе, создает свои знаменитые „Аленушкины сказки“ и прочую серию детских рассказов, становясь настоящим другом и учителем маленького народа.

— Я ехал из Петербурга в Москву. Тоска охватила душу в вагоне, хотелось плакать, и слезы подступали к горлу. Я вышел на платформу и задумался. И вот на изукрашенном морозными узорами стекле оконной рамы, в сиянии лунных лучей, мне как бы предстала покойная жена. Она мне точно заказала беречь Аленушку и работать для нее. Я задумался: что же я мог бы дать своей голубке? — отсюда эти сказки.

Таков был ответ скончавшегося писателя автору настоящего очерка на его вопрос о происхождении его „детской литературы“, которая стоит так особо, так вне общей связи со всей его прочей писательской деятельностью. Эта литература Мамина-Сибиряка так светла, красива, гуманна и поэтична, что, можно сказать, ничего другого, равного ей в нашем книжном детском деле нет. Это по всей справедливости наша родная гордость, уже достаточно отмеченная критикой. Не даром же эта категория литературного творчества почившего писателя так пришлась по душе нашим маленьким читателям, что „Аленушкины сказки“ и другие детские сборники вызывали уже не одно повторное издание. Психолог и гуманист, Мамин-Сибиряк, чистый своею душою и прямодушием, сумел близко подойти к детской природе и явиться для своих многочисленных маленьких читателей первым учителем и проповедником этических начал жизни. Такое положение мог занять только действительно хороший человек и талантливый писатель.

Другой наш гуманист и детский писатель А. К. Круглов в „Голосе Москвы“ № 255, поминая своего почившего собрата под углом зрения его заслуг перед маленьким народом, справедливо говорит:

„У нас вообще не ценится детский писатель. Так же у нас с непозволительным пренебрежением относятся к детской литературе, и заслуги в этой области не встречают к себе должного внимания. Почивший писатель любил детей и умел беседовать с ними. И он серьезно смотрел на свои рассказы для детей.

Помню, как он сказал мне в одну из встреч:

— Вы стали в последнее время мало писать для детей. Отчего?.. Для них надо и стоит писать. Ведь нас так немного — друзей их. Не будем их забывать!

Я ответил ему, что и не думаю „забывать“, но другие причины временно мешают мне писать для детей.

— Да, их надо любить, нельзя не любить! — задумчиво промолвил Дмитрий Наркисович.

Это было в начале настоящего столетия, в один из приездов Мамина-Сибиряка в Москву".

Не будет преувеличением, если я скажу, что Мамин-Сибиряк поднял до высокой художественности нашу оригинальную детскую литературу, облагородил ее и поставил своим преемником в этом роде такой уровень требований, при выполнении которых мы с нашей оригинальной детской литературой можем стать на ряду с первоклассными произведениями западно-европейского пера. Он с любовью и тщательно выбирал иллюстрации для своих детских рассказов и сборников, внимательно следил, чтобы его „маленькая" аудитория, обширная по размеру, не только находила в его книжках и брошюрах, ей посвященных, достойную ее духовную пищу, но и ту внешнюю оправу, которая содействовала бы развитию ее эстетического вкуса. Любовь к дочери была исходною точкою этой литературы, и именем ее же — Аленушки — он украсил один из лучших сборников своих детских повествований, наименовав его „Аленушкины сказки", и, таким образом, связал имя боготворимой им дочки навсегда с русской литературой.

Бессемейная одинокая жизнь была не в его природе, и он вторично женился и именно на той, которая отдала его дочери все свои заботы и попечения, заменив в ее жизни роль второй матери. Это была известная в литературных кружках „тетя Оля", или иначе Ольга Францевна Гувале.

События жизни нашего писателя, относящиеся к последним десяти-двенадцати годам, не блещут ни разнообразием фактов, ни плодовитостью творчества, а в последние пять-шесть лет он явно клонился к закату и сходил, как писатель, на-нет. Если литературная среда продолжала его радостно встречать, как доброго товарища, если издатели его книжек, из которых почти каждая выдержала по нескольку выпусков, дорожили им, как прибыльным автором, то редакции журналов и газет как-будто начали его забывать. Его имя, когда-то громкое и звучное, отошло куда-то вдаль, и образ писателя-бытовика и областника все больше тускнел. А тут подкрался тяжелый недуг, который несколько месяцев назад окончательно свалил его на одр тяжких страданий. Последние дни этих страданий совпали с сорокалетием его литературной деятельности, и только тут широкие общественные и журнальные круги встрепенулись и дали себе ясный отчет, какому крупному русскому таланту грозит серьезная опасность; тогда решено было среди друзей отметить этот день, выпадавший на день его ангела, скромным домашним торжеством с принесением ему надлежащих приветствий и поздравлений.

Вот тексты адресов, поднесенных умиравшему юбиляру от собратий и почитателей:

„Дорогой Дмитрий Наркисович! 40 лет назад нога ваша робко вступила на путь литературы, и вот сегодня вы и мы, друзья ваши, оглядываемся на пройденное вами многотрудное, но и многоотрадное поприще большого художника, имя которого приходит в голову, когда хочется назвать имена тех, кем гордится литература. Светлому богу правды и красоты вы служили с доблестью былого великого русского искусства, без суетливости и уступок духу времени. Назвать имя Мамина-Сибиряка

значит поддаться очарованию вековой русской были, размаху и силе широкого и мятежного русского человека и то тихой, то мощной прелести нашей природы. Вольный мастер, чуждый предвзятых тенденций, вы дали нам на своих живописных полотнах бесконечное разнообразие типов народа и интеллигенции. Вы первый пододвинули к нам далекий Урал, заставили нас жить его жизнью, познакомили нас с его своеобразными обитателями, донесли до нас его своеобразный говор. Этими художественными произведениями вы восхищали нас, взрослых, и наших детей, плененных поэтической сказкой, дышащей жизненной правдой. Вы открыли свою душу нашим детям, и они открыли вам свою. Вы поняли и полюбили их, и они поняли и полюбили вас. У вас существует неразрывная связь, и „Аленушкины сказки" будут читаться, пока на Руси не переведутся сибирский кот-Васька лохматый, и деревенский пес Постойко, и серая мышка-норушка, и сверчок за печкой, и пестрый скворец в клетке, и забияка-петух. Спасибо вам, дорогой писатель и сердечный товарищ, и пошли вам бог здоровья и счастья на многие-многие лета!" Адрес покрыт многочисленными подписями[1].

Всероссийское литературное общество с своей стороны поднесло Мамину-Сибиряку следующий адрес:

„Общество приветствует вас с 40-летием вашей литературной деятельности. Давно ваше имя стало дорогим широкому кругу ваших читателей и почитателей. Тепло и любовно описывали вы жизнь далеких маленьких людей, ставших нам близкими и понятными в художественном воплощении внимательного и зоркого наблюдателя. Вы приобщили уральскую окраину к общей русской жизни единением интеллектуальных и духовных интересов. Везде — свет и тени и много поучительного в ваших повествованиях, в вечной борьбе между исканиями наживы и человеческими чувствами. Ярко светится в вас это искреннее человеческое чувство и душевная чистота в общении с природой, которую вы так чудесно умели описывать, и с детским миром, который не потому ли вам так близок и доступен, что сердцем вы были и остались чистым наперекор всем жизненным испытаниям. Желаем вам бодрости и долгих лет жизни и чтобы ни вам, ни всей России не быть „в худых душах".

Были присланы приветственные телеграммы и адреса, в том числе от Разряда изящной словесности Академии Наук, наконец-то вспомнившей того, кто уже давно по всем своим литературным правам мог составить украшение ее состава.

Репетиция похорон состоялась 26 октября, а 3 ноября обширная толпа писателей, учащихся, читателей и почитателей молилась на краю могилы об упокоении души усопшего раба божия Дмитрия.

Особых специально-литературных речей сказано не было; только личный друг почившего, известный художник А. К. Денисов-Уральский помянул со слезами на глазах своего земляка, и Ап. Коринфский прочитал следующее стихотворение, посвященное его памяти:[2]

---

[1] Адрес находится в Свердловском областном музее.

[2] В уральских газетах в связи со смертью Мамина можно найти целый ряд стихотворений, посвященных поэтами-уральцами его памяти... Лучшими из них являются В. П. Чекина — „Голос Урала", № 209, 1912 г. и Некто-не — там же, № 197.

ПАМЯТИ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

С далеких гор угрюмого Урала,
Из глубины сибирских деревень,
Он к нам пришел, как витязь без забрала;
Избытком сил душа его играла,
В его груди лежал талант-кремень.
Огнивом бодрой самобытной воли
Ударил он по этому кремню,—
И сотни искр, предвестниц лучшей доли,
Усеяли родное наше поле —
Навстречу солнцем рдеющему дню.
Сверкал талант и сыпал самоцветы,
Не иссякала мощная руда
Во дни, когда закаты и рассветы
Сменялися, борьбой страстей согреты,
Над поприщем свободного труда.
Размаха ширь, захват сердец глубокий,
Стихийная народная душа
Сказались в нем, нашли исток широкий
И ринулись, как горных вод потоки,
В русло живого творчества спеша.
Он с нами жил, и жизнь вокруг кипела,
Жизнь — полная больных, тяжелых снов;
Толпа рабов оковами гремела,—
А перед ним — и здесь тайга шумела,
Звала мечту в родную глушь лесов.
И взор вперял в далекие он дали,
Туда, где мысли первое зерно
Взошло в душе, где очи увидали
На утре лет всю глубь, всю ширь печали,
Где понял ум, как людям жить темно.
И перенес — случайный гость столицы —
От Чусовой, с Тагила синих вод
На яркие и сочные страницы
Кряжистые героев вереницы,
Сибиряков приветливый народ.
По рудникам, по шахтам, по заводам,
По гребням гор, по стойбищам лесным,
По мощных рек волнующимся водам,
Среди прогалин, по тропам и бродам
Пошли его читатели за ним.
Сроднил он с нами чуждое нам небо;
Сроднил своих героев навсегда —
От скромного отца „Последней требы“
До сильных душ из „Золота“ и „Хлеба“
До коршунов из „Горного гнезда“.
Устои быта в их разладе с новью,
Бой „Миллионов“ с хмурой нищетой
Запечатлел живою сердца кровью,
И красоту с „Охониною бровью“,
И даже „Счастья дикого“ прибой,—

Все вызвал он из дум заветных сени...
А годы шли да шли путем своим,
Зовя на жизнь ряд новых поколений;
И „Детские“ оплаканные „Тени“,
Как стая птиц, взлетели перед ним.
Открылся мир пытливых светлых глазок,
Мир замыслов наивных и простых,—
Чуждаяся затверженных указок,
Заветный мир „Аленушкиных сказок“
Он воплотил в созданиях своих.
Недуг подкрался тяжкий и сурово
Холодное забвенье наложил
На все, чем жил, чем жить хотел он снова;
Последнее дум заповедных слово,—
Не лучшее ль?— он детям посвятил...
Его посевов не заглохнет нива,
Как ни темнит ее туманный день,
Как ни глушит бурьян ее ревниво,
Не даром било звонкое огниво
В былые дни в его талант-кремень!
Теряяся в тревогах и в сомненьях,
Мы забываем зори светлых лет,
Меняемся во вкусах и во мненьях;
Но верю я: в грядущих поколеньях
Ты будешь жить, уральский самоцвет!

Затем рядом с могилой Гончарова Александро-Невское кладбище украсилось новым литературным крестом — Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка...

„Исторический вестник“
Декабрь 1912 г.

А. Т. МИХАЙЛОВ

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

(Из воспоминаний)

Лично пришлось познакомиться мне с Дмитрием Наркисовичем года за два до его смерти. Закат его, как известно, был далеко не из ясных. Когда-то сильный организм нашего славного бытописателя-уральца был вконец подточен недугом — последствие, как признавался сам Д. Н., „неосторожного обращения с вином". В нормальном состоянии его уже трудно стало заставать и надо было приходить к нему с утра, буквально ловя часы, чтобы иметь возможность побеседовать с ним.

Меня, старого уральского журналиста, давно тянуло ближе познакомиться с Д. Н., но все как-то откладывалось в безобразной сумятице петербургской жизни. Наконец случай представился. За мной специально зашел один знакомый Д. Н., и мы отправились по Загородной до Технологического института, в районе которого жил писатель. Нас встретила последняя супруга Д. Н. и с немецким акцентом указала, как пройти в кабинет. Из боковых дверей выглянула бледная, с русалочьим взглядом, девушка лет 15, но под строгим взглядом немки смущенно удалилась в соседнюю комнату. Это была любимая дочь Д. Н. Аленушка, оранжерейное существо.

В кабинете, под полуспущенными шторами, увидя нас, тяжело поднялся с кресла высокий, плотный старик с ласковыми бархатными глазами и радушно протянул пухлую руку:

— А, земляк-уралец. Очень рад.

У него сидел его брат Владимир Наркисович, екатеринбургский адвокат (ныне покойный), по какому-то делу приехавший в Петербург. Понемногу завертелась беседа. Сначала перебрали, как водится, общих знакомых, покритиковали их дела, посмеялись. Вспомнили старое. Прошлись по современной литературе. Д. Н. как-то косо улыбнулся.

— „Скребцы" — сказал он после некоторого молчания, и большие круглые глаза его засветились огоньком: — сидит скребец и все скребет и скребет перышком, на этом и выезжает. Смотришь, писатель появился.

— Я уже теперь ничего не пишу, — сказал он на мой вопрос. — Что-то охоты не стало. На отдых, видно, пришла пора...

Мне показалось, что Д. Н. силился затаить в себе тяжелый вздох.

— Впрочем, детские сказки. Сочинения мои купил Тихомиров. Вот и живем. Куда же вы? Посидели бы...— тепло улыбаясь, проговорил он, заметя наше движение, чтобы встать.

Сидеть уже дольше было нельзя, хозяин уже сделал не одно возлияние и с каждой минутой размякал.

— Закусили бы немножко...

Помутневшими глазами он заглянул в зал, что-то словно спрашивая у снующей хозяйки, и, видимо, прочитав на ее лице отрицательный ответ, замолчал и подал нам мягкую, слегка опухшую руку.

Встречался я с Д. Н. на собраниях Петербургского общества журналистов, происходивших еженедельно в клубе инженеров на Николаевской улице. Читались доклады, преимущественно на литературные темы, в заключениях давались литературно-концертные отделения, на которые приглашались артисты Александринки, выступали и литераторы. На этих собраниях нередко приходилось видеть Д. Н., сидевшего рядом со своей дочкой Аленушкой. Приходил он уже в „настроении" и, не взирая на публику, с риском нарушить тишину, шутил с Аленушкой, дурачился, трепля ее за косу, щекотя шею. Аленушка робко улыбалась своим бледным русалочьим личиком и словно не смела противиться нежным отеческим ласкам в неподходящей обстановке. По обыкновению Д. Н. не дослушивал доклада и удалялся под руку с дочерью в буфет, где и досиживал до конца за бутылкой пива. Увидя во время перерыва меня, он жестом приглашал подсесть и наливал стакан пива. Беседа, однако, уже не вязалась. Он молчал, устремив глаза куда-то вдаль, по временам дополняя пивом стакан. Аленушка глядела ему в глаза, наивно улыбаясь, и тоже молчала.

Помню раз, после какого-то доклада, начались оживленные прения. Из дверей буфета показалась крупная фигура Д. Н. Он сел на стул и через минуту попросил слова. У председательствующего на собрании Батюшкова по лицу пробежала тень, сменившаяся тотчас же любезной улыбкой, и слово было предоставлено. Д. Н. грузно поднялся и начал оппонировать докладчику. Говорил долго, не по существу, отвлекаясь в сторону. В общем получалось впечатление какого-то бессвязного набора слов. Батюшков застыл в своей снисходительной улыбке. Все чувствовали себя в довольно неловком положении. И слушать было тяжело, и протестовать нельзя. И всем было ясно, что когда-то крупный талант популярного писателя погибает и спасти его уже невозможно.

За несколько месяцев до смерти Д. Н. петербургская литературная братия задумала чествовать его по случаю, кажется, исполнившегося 60-летия. Это было, если не ошибаюсь, в 1912 г. Была сделана подписка и куплен какой-то подарок. В квартиру писателя прибыла депутация, но юбиляр был тяжело болен и не вставал с постели. Он лежал, широко раскрыв свои большие, когда-то красивые, глубокие глаза, и молчал. В жуткой тишине, в которой, казалось, веяла тень смерти, раздавалось чтение приветственного адреса с обычной юбилейной трескотней. Юбиляр продолжал глядеть остановившимся тяжелым взглядом и не проронил ни слова. Депутация постояла несколько минут и, красноречиво переглянувшись, поспешила уйти. Слышал ли он тогда содержание адреса и что означало это тяжелое молчание? Был ли это предвестник конца, запечатавший уста уходящего в другой мир страдальца, или тут своеобразно выявилась сознательная воля для протеста против официальной юбилей-

Д. Н. Мамин-Сибиряк (1911 г.)

ной мишуры, против фарисейства, против дружбы в кавычках? Кто разъяснит?

Умер Д. Н. зимой. За гробом шла большая масса публики, преимущественно литераторы, учащиеся. Весь Урал, закинутый судьбою в холодную столицу, собрался проводить своего любимого писателя, певца Урала. Среди провожающей массы можно было видеть известного уральского художника Денисова-Уральского, издателя „Уральской жизни“ и „Современника“ Певина, выделялась массивная фигура с русской большой бородой книгопродавца-издателя Тихомирова, близкого друга Д. Н., экстренно прибывшего из Москвы на похороны. Во время шествия вдруг откуда ни возьмись затрещал киноаппарат... Схоронили Д. Н. в Александро-Невской лавре. Было произнесено несколько речей. Поэт Аполлон Коринфский прочитал стихотворение, где назвал покойного „уральским самоцветом“[1]. Страстную речь произнес Денисов-Уральский, сказавший по адресу некоторой части петербургских литераторов: „Вы все время гнали нашего Дмитрия Наркисовича, все время травили его, и вот он не захотел лечь на вашем Волковом кладбище, и мы хороним его в Александро-Невской лавре“[2]. Вскоре умерла и Аленушка, и легла рядом с отцом[3].

Как-то вскоре после смерти Мамина-Сибиряка Батюшков сделал публичный доклад о творчестве его, где проводил ту мысль, что Мамин-Сибиряк не может быть поставлен на ряду с нашими лучшими беллетристами, что это просто был бытописатель небольшого района, хотя в произведениях его порой и просвечивает некоторая доля таланта. Батюшкову горячо возражал Аничков, доказывая, что почивший писатель несомненно крупный талант и своими высокохудожественными произведениями он заслужил место рядом с нашими корифеями изящной литературы; если же находятся литераторы, которые его не признают, то этому совсем другая причина: Мамин-Сибиряк держался в стороне от определенных литературных лагерей, шел своей дорогой, и не прав Батюшков, говоря, что через несколько лет Мамин-Сибиряк совсем будет забыт читающей публикой. Это неправда. Мамин-Сибиряк — крупный талант, настоящий художник слова, а не только бытописатель восточной окраины. И читающие массы его не забудут. Слова Аничкова сбылись.

---

[1] См. Глинский „Памяти Д. Н. Мамина-Сибиряка“.

[2] „Как упомянул в своей речи один из говоривших на могиле Д. Н. Мамина друзей его,— пишет Неведомский („Зачинатели и продолжатели“, Петроград, 1919 г., стр. 338—339),— покойный не хотел, чтобы его хоронили на Волковом кладбище, этом нищенском по внешности, но бесконечно дорогом каждому интеллигентному русскому „пантеоне“ русской литературы. Он пожелал лечь поблизости к Гончарову на кладбище Александро-Невской лавры.

Пусть русская литература и в первую голову русская критика — действительно в долгу перед покойным... „Уральский самоцвет“ заслуживал большего, даже гораздо большего. Об этом не может быть спора. Но, конечно, можно только пожалеть, что он посмертно как бы отделен от тех, кто лежит в нашем „пантеоне“— от Белинского, Добролюбова, Писарева, Успенского. Грустному любителю жизни, неподкупно честному художнику, Мамину следовало лечь рядом с ними. Он имел полное право на это единственное воздаяние за жизненную страду, которого удостаиваются лучшие русские люди.

Глубокая обида на русскую критику заставила Мамина-Сибиряка отказаться и от этого воздаяния“.

[3] Дочь Мамина-Сибиряка умерла в 1914 г. 5 сентября.

Произведения Мамина-Сибиряка до сих пор охотно читаются не только стариками, но и нашей молодежью, на ряду с Чеховым, Гончаровым и другими русскими литературными корифеями.

Пермскай краеведческий сборник. Вып., IV издание кружка по изучению Северного края при Пермском университете. Пермь 1928 г. стр. 235—238.

Проф. Ю. М. КОЛОСОВ

ИЗ ЖИЗНЕННЫХ ВСТРЕЧ

Мои петербургские встречи с Маминым были мимолетны. Он приехал в Петербург после того как женился на драматической артистке Марии Морицевне Абрамовой, интересной женщине, которая, как шутливо передавал он сам, предпочла его полицмейстеру города барону А. А. фон-Таубе. Но она недолго жила с ним, так как умерла при первых родах (в марте 1892 г.). Передают, что врач-акушер, приглашенный к больной, сообщил Дмитрию Наркисовичу о неизбежной смерти, грозящей кому-либо одному: либо матери, либо ребенку, и спросил, чью же жизнь ему нужно спасать. Дмитрий Наркисович просил спасать мать, но врачебная помощь здесь оказалась безуспешной, и умерла именно мать, а ребенок, наоборот, остался жив.

Для ухода за осиротевшим ребенком была приглашена молодая женщина — Ольга Францевна (упоминавшаяся бегло в „Аленушкиных сказках“ как „тетя Оля“), на которой вскоре Мамин и женился, говоря, что, сделавшись женой, она более любовно и внимательно будет относиться к ребенку.

Дмитрий Наркисович жил скромно и уединенно, круг старых беллетристов редел, молодым писателям он стал настолько чужд, что сам несколько раз с горечью замечал, что его забыли, и был, раздражаясь, резок, даже груб в оценках новых, выдвинутых современностью беллетристов.

Одно время Дмитрий Наркисович изредка был ответственным распорядителем студенческих, так называемых земляческих, вечеров, где аффектированное внимание молодежи льстило его самолюбию, хотя известный процент отчислений с доходов вечера в пользу революционных организаций вызывал его неудовольствие в виду ответственности его, как распорядителя.

— Трусоват был Мамин бедный,— зло подшучивали над ним за-глаза. Не из-за этой ли робости впоследствии и подобные приглашения прекратились, так что связь Мамина со студенчеством оборвалась, едва ли не один племянник его Борис Дмитриевич Удинцев, студент-юрист петербургского университета посещал писателя.

Живя замкнуто, Мамин сохранял любовь к музыке, церковному пению, праздничному звону колоколов. Да осталось еще прежнее увлечение алкоголем, приведшее к роковому последствию — параличу.

В 1912 г. возникла мысль организовать торжественное публичное чествование 40-летия литературной деятельности Д. Н. Мамина. Оно состоялось 26 октября, когда здоровье Дмитрия Наркисовича резко ухудшилось и, утомив больного, только ускорило печальный исход, не принеся никакого удовлетворения юбиляру, поскольку жизнь уже покидала его, сменяясь прострацией разума, чувства и воли.

Через Б. Д. Удинцева к чествованию было привлечено и студенчество, фактически представленное лишь екатеринбургским землячеством при петербургском университете, сколотившем в заседании своем 29 сентября 1912 г. на скорую руку актив для оформления и проведения чествования. Привожу повестку этого заседания:

„Ю. М. Колосову. Милостивый государь! Бюро екатеринбургского землячества, в С.-Петербурге, доводит до вашего сведения, что в субботу 29 сентября назначено собрание членов екатеринбургского землячества во второй аудитории университета ровно в 3 часа дня.

Порядок дня: 1) чествование Мамина-Сибиряка, 2) к юбилею мужской гимназии в Екатеринбурге, 3) о ссуде высылаемому товарищу, 4) доклад о совете представителей, 5) выборы новых членов.

За председателя В. Замятин".

Вышеупомянутый актив составили, кроме Удинцева, его же знакомые: два юриста, мой двоюродный брат Михаил Федорович Коровин и его постоянный собутыльник Сергей Алексеевич Железнов да один естественник — я, вертевшийся в то время около них, а потому только и попавший туда. Мы получили громкое название комиссии по составлению адреса Мамину-Сибиряку (а затем механически оказались и депутацией по его подношению), собрались, как всегда собирались у Коровина в квартире № 10 дома № 12 по Шамшиевой улице, выбрали его, как наиболее импозантного, председателем, и по его заданию я составил адрес, утвержденный комиссией почти без поправок 22 октября. Дату могу установить точно благодаря сохранившейся записке: „Сегодня в 6 час. вечера 22 октября ко мне для редактирования адреса. М. Коровин".

При составлении адреса я постарался схватить суть требования, каковое устроители чествования могли предъявить к нему. Исходя из этого, я решил оттенить демократические тенденции и общественные идеалы писателя-реалиста, а имея такую „канву", не трудно уже было вышивать по ней соответствующие „узоры".

Вот текст адреса в том виде, как он сохранился в моих бумагах:

„Дорогой Дмитрий Наркисович!

Нам, жителям вашей далекой родины, богато одаренного природой Уральского края, особенно приятно приветствовать сегодня вас, почти единственного, притом самого блестящего, его бытописателя (трафарет. Ю. К. 19. IV, 1936 г.). Урал с его своеобразным культурно-экономическим и социально-политическим бытом, с его хищными искателями наживы, бешеной расточительностью и самодурством Расплюевых — золотопромышленников и заводовладельцев, с одной стороны, — и уральским рабочим мастеровым, этим белым невольником нашего времени, изне-

могающим под гнетом посессионного права (а что такое по существу это посессионное право — я, признаться, и по сей час не знаю! Ю. К. 19. IV, 1936 г.), тем рабочим, над головой которого и после реформы 19 февраля 1861 г. висят пережитки средневекового института постыдного крепостного рабства (но убей меня на месте, если бы я мог сказать конкретно, какие пережитки имел в виду, кроме разве института урядников! Ю. К. 19. IV. 1936 г.) — с другой,— нашел в ваших произведениях достойную оценку и художественное отражение. Особенно нам дорого то, что все эти общественные антагонизмы и отношения от уральского сатрапа, горного начальника до мелкого приискового люда — освещены вами в духе передовых идеалов человечества и лучших заветов русской интеллигенции с ее демократической тягой к народу. Принося вам за все это искреннюю признательность, мы считаем своим долгом, кроме того, поблагодарить вас и за то сочувственное отношение к нашим землякам, какое последние всегда видели с вашей стороны — был ли то подававший большие надежды писатель Казанцев или наше екатеринбургское землячество в целом.

Примите же в сегодняшний день 40-летия вашей литературно-общественной деятельности наше искреннее и горячее пожелание еще долгие годы работать на ниве общественности и неизменно связанной с ней литературы, нуждающейся во время переживаемого в настоящий момент литературного распада в мощном голосе таких писателей-реалистов, как вы.

С.-Петербург. 26 октября 1912 г.

Екатеринбургское землячество при
С.-Петербургском университете".

Все делалось настолько наспех, что адрес не был даже отпечатан в типографии, как того требовал декорум, и был переписан на пишущей машинке. О папке для адреса тоже забыли и опять-таки мне, накануне юбилея, пришлось лететь к художнику-земляку и соученику по екатеринбургской гимназии, окончившему курс в 1910 г., студенту Сергею Васильевичу Приселкову, прося его „хоть что-нибудь сделать" и „не подводить". Он согласился, работал ночью, в результате чего и появился набросок штрихами, хранящийся теперь в Свердлгосмузее, обложки адреса с изображениями, как символа творчества Мамина-Сибиряка, уральского писателя, контуров гор, долженствующих, конечно, представлять Уральские, и пристроившегося тут же на первом плане факела, с каким обычно изображалась муза, вдохновлявшая творчество поэта или писателя-художника. Разумеется мы были рады хоть чему...

Но екатеринбургское землячество при университете в нашем лице все же что-то делало, прочие же студенты-уральцы и совсем почили в бездействии. Мамин был им чужд, тратить время на него никто не имел охоты. Выбранные кое-где делегаты оказались настолько инертны, что в лучшем случае пытались просто отделаться своей подписью на уже готовом нашем адресе, ведь это было всего легче. В моих бумагах сохранилась копия любопытного в этом отношении письма. Привожу его полностью:

„20/X. 1912 г.

ЕВБ Господину Коровину Михаилу Федоровичу.
Здесь, СПБ-ая сторона, Шамшиева ул. 12, кв. 10.

Уважаемый Михаил Федорович!

На собрании Совета Представителей 19/X был поднят вопрос о чествовании Мамина-Сибиряка от лица всего землячества г. Екатеринбурга в СПБ, для каковой цели были избраны 3 делегата в Комиссию от Университета для выработки адреса и направили этих делегатов к Вам. Но приватно от Р. Воронцова я узнал, что адрес, кажется, напечатан только от Университета. В виду этого прошу сообщить, согласна ли университетская комиссия принять 3-х делегатов, избранных Советом Представителей, и согласна ли адрес напечатать не от одного Университета, а от всего землячества. С почтением к Вам Александр Мыслин.

P. S. На собрании было постановлено, что расход по печатанию адреса и папки принимается только в том случае, когда этот адрес будет от лица всего землячества.

Мой адрес: Лесной, Болотная 11, кв. 2, А. М. Мыслину.

Пожалуйста прошу ответить при первой возможности, дабы было можно выполнить план, намеченный Советом Представителей, если почему-либо Университетская Комиссия не согласится на наше предложение. А. Мыслин".

Но я проявил активность и решительно протестовал против расширения объема адреса от имени всего землячества, считая в простоте душевной подобных делегатов просто лодырями и лежебоками, а не общественными деятелями, где нужна самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива. Кроме того, я полагал, что несколько адресов безусловно будут импозантнее одного. В результате у прочих студентов и вовсе ничего не вышло, так что мы декларировались sui generis.

Впрочем для юбилея это оказалось не важным: сам юбиляр, умирая, находился в прострации, и мы, как впрочем и все остальные, были ему безразличны[1], а для отчета о чествовании нужна была лишь определенная внешняя форма: наличие депутации учащегося юношества, как такового, в каковую форму затем можно было вкладывать любой объем. И действительно, газеты безразлично описывали нас—то, как представителей студенчества вообще (статья в газете „Голос Урала"), то как сибирское студенческое землячество (статья Измайлова в „Русском Слове"), то как университетское сибирское студенческое землячество (статья в „Биржевых ведомостях"), при чем в последней статье автор не смутился упомянуть тут же, несколькими строками ниже,

[1] Мне могут возразить, что такому заключению противоречит документ: опубликованная в периодической прессе 28 октября 1912 г. благодарность Мамина-Сибиряка, где мы найдем такие строки: „Больной Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк просит передать особенную свою благодарность читателям своим уральцам... учащемуся юношеству... отозвавшимся на знаменательный в его жизни день" (цитирую из газеты „Голос Урала"). Но документ этот не может иметь юридической силы, так как написан помимо Мамина и только от его имени. *Автор.*

Последний портрет Д. Н. Мамина-Сибиряка (1912 г.).

ёще и приветственную телеграмму от петербургского сибирского землячества студентов.

Самый юбилей оставил во мне такое впечатление.

Наша депутация, за исключением Б. Д. Удинцева, который, в качестве родственника, должен был принять участие в хлопотах по дому, прибыла к трем часам дня на квартиру Мамина. Он жил на одной из Подъяческих, насколько помню, на углу Малой Подъяческой и Екатерининского канала. Мы явились последними, когда подношение адресов и приветствий уже закончилось. Невыразимо гнетущее впечатление испытал я, когда нас ввели в просторную комнату, служившую кабинетом, а теперь превращенную в спальню Мамина, и в полумраке от спущенных штор я рассмотрел юбиляра. Фотография его, относящаяся именно к этим дням и воспроизведенная в сборнике „Урал", дает лишь бледный абрис тяжелой картины.

Дмитрий Наркисович, как чествуемый, должен был отображать тоже известный декорум, и потому не нашли ничего лучше, как придать ему сидячую позу на кровати, для чего нето кто-то поддерживал его сзади за плечи, нето его подперли сзади же подушками. Я смотрел на совершенно безжизненное, безразличное ко всему лицо с седыми волосами, с вваливщимися щеками, с закрытым уже одним глазом и, наоборот, с ненормально расширенным, округлившимся, но тоже ничего не выражающим и возможно уже плохо видящим — другим. В комнате маячило несколько фигур. Царила тишина. В соседней комнате заканчивали накрывать стол с закусками и выпивкой.

Впечатление ненужности того, что мы делаем, было очевидно. В газетных отчетах это состояние передано в таком „деликатном" виде: „Выражение симпатий утомило Дмитрия Наркисовича". Это очень слабо и неверно: Дмитрий Наркисович был не утомлен, он умирал и через пять дней уже лежал в той же самой комнате в гробу.

Не знаю, полностью ли разыграли комедию приветов наши предшественники, но наш председатель М. Коровин понял, очевидно, никчемность чтения адреса в таких условиях. Подойдя к сидящему Дмитрию Наркисовичу, он громким голосом отчетливо произнес два-три слова привета и отошел, передав обложку с адресом в руки кого-то из членов распорядительного комитета.

Официальная газетная версия гласит об этом моменте следующее. „Адрес от университетского землячества уже не пришлось читать. Студенты только в нескольких словах выразили свой привет".

Наступило тягостное состояние. Нужно было что-то делать, но делать было нечего. Повидимому, то же чувствовали и другие посетители, в сущности небольшая группа — члены распорядительного комитета, писатели, журналисты, репортеры. Из этого состояния присутствующих вывело приглашение Ольги Францевны „закусить". Все с облегчением поспешили перейти в столовую, где выпивке и традиционному пирогу было отдано, безусловно, большее внимание, чем юбиляру, несмотря на то, что председательствующий Семен Александрович Венгеров энергично стучал ножом о тарелку, приглашая сосредоточить внимание на оглашении приветственных телеграмм.

Оглашались только фамилии приветствующих, само содержание лишь тогда, когда того желал кто-либо из присутствующих, но это было лишь в исключительных случаях: редко кто-либо поднимал взгляд

с тарелки и отрывисто произносил традиционную фразу: Прошу огласить.

Я уехал, не дождавшись конца.

А 2 ноября мне принесли такую записку:

„Юльша! Приходи ко мне завтра — в субботу, 3 ноября, к 6 часам вечера для суждения о нашей позиции в деле воздания последнего долга умершему в ночь с 1 на 2 ноября Мамину-Сибиряку. Сообщи об этом Сергею Железнову. М. Коровин“.

Но с меня довольно было и юбилея...

Свердловск. 29 апреля 1936 г.

А. ИЗМАЙЛОВ

Д. Н. СИБИРЯК

Отмеченный ровно неделю назад юбилей Д. Н. Мамина-Сибиряка был репетицией похорон.

Кто знал действительное положение его, тот знал, что этим юбилейным статьям суждено было сыграть роль некролога. Их почти можно было писать так, как пишут некролог, без соображения о том, что юбиляр их прочтет. Мамин был жив, но сознание оставляло его.

Когда месяца полтора назад среди друзей Мамина возникла мысль ознаменовать его юбилей, Дмитрий Наркисович уже лежал, разбитый параличом.

— Скажите,— спросили доктора,—не окажется это чествование вредным для него?

— Наоборот,— говорил врач, — это его поддержит; он не так плох; от радости не умирают.

Так создалась та мысль о чествовании, которое потом прозвучало печальным сарказмом над писателем, так мало вкусившим меда славы при жизни и увидевшим почет тогда, когда мозг его уже не осмысливал зрительных впечатлений.

За неделю до юбилея большой, старый друг Мамина—Фидлер спросил его:

— Можно к тебе притти на именины поздравить тебя?

Мамин уже давно лежал на одре последней болезни. Временами он не узнавал самых близких, но Фидлера он узнал и ясно ответил:

— Всегда.

— Но я приду не один; придут и еще некоторые из твоих друзей.

— Всегда,— повторил Мамин, и было ясно, что полное сознание при нем.

Но потом положение ухудшилось. Мы, принесшие ему привет литературных собратий, не знали, удастся ли даже войти к нему. Но на наш вопрос жена Д. Н. ответила:

— Хорошо.

И мы вошли в его спальню, где пахло наркотиками. Ему впрыскивали морфий и кокаин. Боже мой, и это был юбиляр! На постели с приподнятой головой лежал Мамин,— тень прежнего Мамина,— больной старик с большой головой на тонкой, детской шее, на кото-

рой жалко обрисовывались мускулы, судорожно и напряженно двигающий брови, точно он хотел что-то вспомнить и понять и не мог. Тут были старые, прошедшие рядом с ним жизнь друзья его — Потапенко, Карпов, Венгеров, Овсянико-Куликовский. Он смотрел на нас, кажется, никого не узнавая. Фидлер бережно присел на его кровать и ласково, как ребенка, спросил его о здоровье.

— Можно тебе прочитать несколько слов?

Фидлер, потом Венгеров прочитали отрывки адресов. Он молчал, только напряженно поднималась и опускалась поседевшая бровь. Дошло ли до сознания его то, что ему говорили? Понял ли он, что его чествуют, что к нему слетелись сотни телеграмм? Ничего нельзя сказать. Только когда жена спросила его, не устал ли он, он ясно сказал:

— Очень устал.

Так кончилось это чествование, которое было репетицией похорон. Все вышли от него, все нескладно жались по углам. Кроме комитета, было здесь несколько редакторов-издателей, друзей его, знакомых дам, была группа свежей, веселой молодежи — депутация от сибирского студенческого землячества, пришедшая поздравить своего земляка. В соседней столовой был накрыт стол, но почти никому не шел кусок в горло; а телеграммы шли и шли, и росла их горка, и были здесь все имена: от Короленко, от Горького и от всевозможных учреждений, от Академии Наук и литературного фонда до далеких сибирских редакций.

Как жутко было смотреть на эти запоздалые приветы, которые были бы еще два года назад такой радостью для этого умирающего, а теперь звучали бессмысленной и злой насмешкой. Кому они были нужны? Ни ему, ни семье, ни свидетелям похоронного праздника...

— Вы изнемогли?—спросил я дочь писателя, ту Аленушку, с именем которой связана чудесная книжка трогательных сказок Мамина-Сибиряка.

— Мы мало спали, мы давно потеряли различие между днем и ночью,—отвечала она,— у нас давно бесконечный день.

Не могло быть юбилея печальнее. Мы расходились с него, как расходятся с похорон. Было ясно, что песня бедного Дмитрия Наркисовича спета. За последний день у близких к Мамину не было, однако, убеждения в безнадежности его положения.

Еще вчера постоянный его врач находил, что в этом состоянии Д. Н. может прожить еще одну-две недели, несмотря на то, что деятельность сердца была до последней степени ослаблена, приходилось делать до четырех впрыскиваний кокаина. Вчера к ночи состояние больного резко ухудшилось, дыхание стало затрудненным, но он не выражал ни беспокойства, ни боли.

Тихая агония продолжалась до часу ночи, когда после трех тяжелых вздохов Д. Н. отошел в вечность.

„Русское слово“ № 254.
3 ноября 1912 г.

МИХ. НЕВЕДОМСКИЙ

НА МОГИЛЕ МАМИНА-СИБИРЯКА

Неиспользованная сила — вот два грустных слова, которые всегда просились у меня на язык при мысли об этом крупном художнике. Неиспользованная — русской жизнью, русской культурой, а в связи с этим и благодаря этому — и самим обладателем силы, самим Маминым...

Лучше поздно, чем никогда, — повторю я поговорку, уже упомянутую кем-то на его могиле... Но невольно при мысли об этой писательской судьбе встает перед нами огромный и тяжелый вопрос: сколько их у нас было, есть и будет, таких явлений, недооцененных русской культурой, неиспользованных русской жизнью?.. Удивительно неэкономна эта жизнь, эта культура! Десятки огромных дарований задушены или придушены так называемыми „независящими обстоятельствами", погибли в ссылке, в каторге, в тюрьме, изныли в эмиграции... А тут еще эти бесконечные эпохи „разрух" и „неразберих", в которые русские люди проходят мимо крупных сил и талантов, и подлинные „самоцветы"-самородки остаются неограненными,— без оправы, предоставленные самим себе — случайностям одинокого развития...

И даже на самых похоронах его произошла грустная неразбериха; добрая половина толпы, наполнявшей церковь, где шло отпевание, воображала, что молится за умершего почти одновременно с Д. Н. митрополита Антония [1]... Даже у самой могилы его иные из толпы спрашивали соседей, видно ли им „владыку"... Вся скромная обстановка русских писательских похорон — ни этот студенческий хор, ни этот единственный священник в камилавке — не раскрыли этим наивным людям глаз на их недоразумение...

Та неразбериха русской жизни, которой посвятил Мамин свое творчество и жертвой которой он был, этот „уральский самоцвет", и провожала его, таким образом, до самой могилы.

(Из об. „Зачинатели и продолжатели", Петроград, изд. „Коммунист", 1919, стр. 336—340.

---

[1] Газеты 1912 г. за 1—5 ноября, даже некоторые и уральские, посвящая Антонию целые столбцы, писали о Мамине-Сибиряке лишь несколько строчек.

ОТ ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

РУКОПИСИ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Подлинные рукописи Д. Н. Мамина-Сибиряка были переданы им при отъезде из Екатеринбурга в 1891 г. в Музей Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), ныне Свердловский областной музей, где они до сих пор и хранятся. Общее количество их 90, в листах 4046.

Рукописи в очень хорошем состоянии: статьи сшиты в тетради; большая часть их имеет даты и подпись; четко написаны, с незначительным количеством пометок и исправлений.

Почерк Мамина-Сибиряка настолько характерен, что подлинность рукописей не вызывает сомнений, из всех рукописей только две-три написаны не его рукой но скреплены его подписью.

Надлежащей, углубленной работы над рукописями Мамина-Сибиряка пока еще не производилось. Помещаемый ниже список является результатом лишь первоначального просмотра их, имеющего целью установить, какие именно рукописи имеются в музее. Среди этих рукописей имеются и такие, которые до сих пор не были напечатаны (в полное собрание сочинений Мамина-Сибиряка в изд. Маркса они не вошли), и таким образом представляют особую ценность как для широкого читателя, так и для исследовательской работы в области изучения Мамина-Сибиряка.

Большой ценности материалом для изучения творческой лаборатории Мамина-Сибиряка являются также нигде не опубликованные, первоначальные редакции и фрагменты „Приваловских миллионов“, „Бойцов“, повестей „Нужно поощрять искусство“ и „Из далекого прошлого“.

Рукописи Д. Н. Мамина-Сибиряка

Название	Колич листов	Подпись	Дата, место	Примечание
„Легкая рука“ Первоначальная рукопись „Бойцов“.	26	Нет	Нет	
1881 г.				
„Сестры“. Очерк из жизни Среднего Урала.	68	Не его рука	Карандашом пометка сверху: „4 марта 1881 г. „Екб.“	

Название	Колич листов	Подпись	Дата, место	Примечание
1882 г.				
„На рубеже Азии". Из воспоминаний одного доктора.	70	Нет	1882 г. Март. Пометка „Устои".	
„В хуных душах".	18	Нет	Даты нет	1882 г. „Вестник Европы". 12 кн.
1883 г.				
„На реке Чусовой".	39	Нет	15 марта 1883 г. Екатеринбург	
„Толстушка" Из рассказов о золоте.	44	Нет	Даты нет	1883 г. „Переволчица на приисках" „Вестник Европы", 4 кн.
„Жилка".	219	Нет	1883 г. Начата в ноябре, кончена 17 декабря и 5 февраля 1884 г. Екб.	
„Бойцы".	97	—	Даты нет	1883 г. „Отечественные записки", 7 кн.
„Золотуха".	66	—	—	
1884 г.				
„Родительская кровь". Очерк.	32	Д. Сибиряк	12 декабря 1884 г. Екатеринбург	
„Золотая ночь" Из рассказов о золоте.	34	—	15 мая 1884 г. Екб.	
„Башка". Из рассказов о погибших детях	23	Д. Сибиряк	24 августа 1884 г. Екб. 5 сентября 1884 в Екб.	
„Летные". Из летних рассказов.	43	Д. Сибиряк	Даты нет. Вверху рукописи написано: „Дмитрий Наркисович Мамин. Москва, Тверской бульвар, д. Ланской".	1886 г. „Наблюдатель" 2, 3 кн.
„На улице". Роман.	224	Д. Сибиряк	1 сентября 1884 г. Екб.	
„Горное гнездо". Роман	228	Д. Сибиряк	1884 г. 20 февраля Екб.	
„На Шихане". Из записной книжки охотника.	14	Нет	Даты нет	1884 г. „Вестник Европы", 10 кн.
„Авва". Очерки из жизни уральского духовенства.	46	Д. Сибиряк	Даты нет	1884 г. „Дело", 3, 4 кн.

Название	Колич листов	Подпись	Дата, место	Примечание
1885 г.				
„Павел Иванович Коробкин". Из летних рассказов.	18	Нет	24 июня. Екб. 3 августа 1885 г. Екб.	
„Блажные". Очерки из заводских нравов.	9	Д. Сибиряк	15 февраля 1885 г. Екб.	Издание Маркса, XI т.
„Ната". Из летних рассказов.	25	Д. Сибиряк	22 марта 1885 г.	
„Гроза". Из охотничьих рассказов.	17	Д. Сибиряк	10 января 1885 г. Екб.	
„Узелки". Из рассказов об уральской старине.	42	Д. Сибиряк	13 марта 1885 г. Екб. 15 апреля 1885 г. Екб.	„Из уральской старины", т. III. Уральские рассказы, изд. „Издатель".
„Осип Иванович".	13	Д. Сибиряк	11 сентября 1885 г. Москва. 16 сентября 1885 г.	Не вся. Нет части I главы и всей II главы.
„На золотом дне". Драма в 5 действиях.	60	Д. Сибиряк	Начата 13 февраля 1885 г. Екб. 16 мая 1885 г. Екб.	„Золотопромышленник" изд. „Наблюдатель" № 10.
„Штучка". Из ярмарочн. нравов.	13	Нет	22 января 1885 г. Екб.	Издание Маркса, т. XII, стр. 512.
„Последняя веточка". Из старообрядческих мотивов.	15	Д. Сибиряк	19 апреля 1885 г. Екб. 27 апреля 1885 г. Екб.	
„Елка". Сказка.	6	Нет	Екб. 2 февраля 1885 г.	
„Дешевка". Из летних экскурсий по Уралу.	7	Д. Сибиряк	Даты нет. Москва.	1885 г. „Журнал рассказов и повестей", 11 кн.
1886 г.				
„Нужно поощрять искусство". Повесть.	120	Д. Сибиряк	24 сентября 1886 г. Екб. 23 мая 1887 г. Екб.	
„Маляйка". Рассказ.	13	Д. Мамин-Сибиряк	Москва, 4 апреля 1886 года.	Первая редакция „Нужно поощрять искусство".
„Маляйка". Рассказ.	31	„	Вверху: Дмитрий Нар. Мамин, Екб. Колобовская, д. 43.	Вторая редакция „Нужно поощрять искусство".

Название	Колич листов	Подпись	Дата, место	Примечание
„Лес". Рассказ.	18	Д. Сибиряк	10 декабря 1886 г. Екб. Вверху: Дим. Нарк. Мамин. Москва, Тверской бульвар, д. Ланской	
„По Зауралью".	56	Нет	18 сентября 1886 г. Екб.	
1887 г.				
„Три конца". Роман.	269	Д. Сибиряк	1 сентября 1887 г. Екб.	
„Кум". Святочный рассказ.	8	Д. Сибиряк	11 декабря 1887 г. Екб.	
„Именинник". Из истории цивилизации Моховского уезда.	100	Д. Мамин-Сибиряк	1887 г. 18 февраля 22 апреля 1887 г.	
„Осенние листья".	24	Д. Сибиряк	25 августа 1887 г. Екб.	
„Первые студенты".	30	Д. Сибиряк	Даты нет	1887 „Северный вестник" I.
1888 г.				
„Старая Пермь". Путевые очерки.	43	Д. Сибиряк	Екб. 7 ноября 1888 г.	
„Сибирские орлы".	6	Д. Сибиряк	1888 г. Октябрь. Екб.	
„Варнаки".	7	Д. Сибиряк	10 ноября 1888 г. Екб.	
„Глупая Окся". Эскиз.	6	Д. Сибиряк	1888 г. Окт. Екб.	
„Поезда на Иремель". Из летних экскурсий.	17	Д. Сибиряк	1888 г. Сентябрь. Екб.	
„Доброе старое время".	37	Д. Сибиряк	1888г. ОктябрьЕкб.	
„На кумысе".	38	Д. Сибиряк	Даты нет	1888 г. „Русская мысль", 9, 10 кн.
1889 г.				
„Три подлеца".	13	Д. Сибиряк	13 января 1889 г. Екб.	
„Друг артистов".	6	Д. Сибиряк	28 марта 1889 г. Екб.	
„Ночь". Эскиз.	6	Д. Сибиряк	24 февраля 1889 г. Екб.	

Название	Колич листов	Подпись	Дата и место	Примечание
„По желанию публики“.	12	Д. Сибиряк	1889 г. 18 сентября.	
„Удивленный человек“.	6	Д. Сибиряк	17 ноября 1889 г. Екб.	
„Клад“. Рассказ.	13	Д. Сибиряк	1 мая 1889 г. Екб.	
„Правильные слова“.	6	Д. Сибиряк	14 августа 1889 г. Екб.	
„Дружки“.	8	Д. Сибиряк	1889 г. 7 февраля Екб.	
„Подснежник“. Очерк.	15	Д. Сибиряк	28 июля 1889 г. Екб.	
„Пустынька“.	32	Д. Сибиряк	11 сентября 1889 г. Екб.	
„Самоцветы“. Очерк.	52	Д. Мамин	25 октября 1889 г. Екб.	
„Комбинация“. Рассказ.	18	Д. Сибиряк	24 января 1889 г. Екб.	
„Счастливая мать“. Рассказ	10	Д. Сибиряк	11 августа 1889 г. Екб.	
„Мастерица“. Очерк.	6	Д. Сибиряк	13 марта 1889 г. Екб.	
„Кисейная барышня“.	48	Д. Сибиряк	Даты нет	1889 г. „Наблюдатель“, 11, 12 кн.
1890 г.				
„Маленькая правда“. Драма в 4 действиях.	Вместе с 6 тетр 64 л.	На одной тетради Д. Сибиряк	29 сентября 1890 г. Екб.	Опубликовано в журнале „Штурм“ 1935 г.
„Приисковый мальчик“. Рассказ.	12	Д. Сибиряк	1890 г. 21 октября Екб.	
„Буянка“. Повесть.	73	Д. Сибиряк	1890 г. 10 октября Екб.	
„Платина“. Очерк.	56+3	Д. Мамин-Сибиряк	20 декабря 1890 г. Екб.	К очерку сделана небольшая карта.
„Инфлуэнца“. Монолог.	6	Д. Сибиряк	10 декабря 1890 г. Екб.	
Рукописи разных лет				
„Семья и школа“.	50	Нет	Нет	Напечатано: „Из далекого прошлого“. 1902 г.
„Отрезанный ломоть“.	105	Нет	Нет	

Название	Колич листов	Подпись	Дата, место	Примечание
„Знаменитость“. Очерк.	9	Д. Сибиряк	Даты нет	Изд. Маркса, т. XII „Последний день“.
„На перевале“.	9	Д. Сибиряк	Даты нет	„Сибирскиерассказы“, 1895 г.
„Нимфа“. Повесть.	65	Нет	Нет	„Русское богатство“. 1908 г., II кн.
„Таинственный незнакомец“.	15	Д. Сибиряк	Нет. Екб.	Сибирские рассказы“, т. IV, М 1905г.
„Зверство“.	7	Нет	Даты нет	„Сибирские рассказы“. М. 1895 г.
„Юммя“. Эскиз.	6	Д. Сибиряк	Даты нет	Изд. Маркса, т. V.
„Седьмая труба“.	14	Д. Сибиряк	Даты нет	„Святочные рассказы“, 1899 г.
„Мирок“.	12	Д. Сибиряк	Даты нет	„Сибирские рассказы“. 1895 г.
„Неудача“.	22	Д. Рассказов	Даты нет. Д. Н., Мамин, Москва, Б. Кисловка, меб. комнаты Азанчевской.	„Дет. биб“. Сем. шк. М. 1912 г.
„По-просту“.	24	Д. Сибиряк	Даты нет	„Сибирские рассказы“, т. IV, М.1905 г.
Отрывок. Заметки о школах в Екб.	4	—	17 августа, года нет. Екб.	
Отрывок из большого романа (в гл. VIII).	7	—	—	
Запись „Старики сказывают пара лебедей к нам летала“.	1	—	—	

Приваловские миллионы

„Каменный пояс“. ч. I, II.	127	—	Даты нет. ВЦЭУ. Москва, Большая Кисловка, меблированные комнаты Азанчевской.	
„Семья Бахаревых“. Роман. ч. I, II, III, IV, V.	165	—	Даты нет. Д. Н. Мамин. Большая Вознесенская, дом Зубринской, против Вознесенской церкви.	

Название	Колич листов	Подпись	Дата и место	Примечание
„Каменный пояс“, ч. I.	121	Нет	Нет	
„Сергей Привалов“, ч. II	218	—	—	
Приваловские миллионы, ч. I. Роман.	70	—	1881 г. Ноябрь, первые числа. Д. Н. Мамин. Москва, Кисловка, меблир. комнаты Азапчевской	
„Последний из Приваловых“, ч. II.	92	—	Нет	
„Приваловские миллионы“, ч III.	90	—	—	В одной папке
„Последний из Приваловых“, ч. IV.	81	—	—	„Приваловские миллионы“ Д. Сибиряк
„Приваловские миллионы“ ч. V.	83	Д. Сибиряк	Кончена эта рукопись в г. Екб. в Колобовской ул. в д. Алексеевой, 1883 г. 2 сент. в 1 ч. 35 м. пополудни	1882 г.
2-ой отрывок из „Приваловских миллионов“.	5+10	—	—	

ПИСЬМА Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

1. Попову Веннамину Александровичу, 1873 г. 10 октября. (О покупке часов.)

2. Попову Ивану Васильевичу, 1885 г. 18 августа. (О приисках, которые Д. Н. хотел бы приобрести.)

3. Попову Ивану Васильевичу, 1885 г. 8 сентября. (О приисках, о некоторых темах для работы.)

4. Попову Ивану Васильевичу, 1885 г. 4 декабря. (О материалах из жизни суда. О своей работе.)

5. Николаю Васильевичу . . . . . 1888 г. 1 июля, Екатеринбург. (О поездке Д. Н. в Ныроб и Чердынь.)

6. Николаю Васильевичу . . . . . 1888 г. 10 августа, Екатеринбург. (Об участии адресата в составлении археологической карты.)

7. Клеру Онисиму Егоровичу, 1888 г. 6 мая, Екатеринбург. (О некрологе П. М. Вологодскому).

8. Клеру Онисиму Егоровичу, 1889 г. 3 февраля, Екатеринбург. (Деловая записка.)

9. Клеру Онисиму Егоровичу, 1891 г. 26 ноября, Петербург. (Об УОЛЕ, выражение личной симпатии.) Сведения о своей работе.

10. Клеру Онисиму Егоровичу, 1893 г. 10 февраля, Петербург. (По поводу смерти Н. Н. Клер.)

11. К Мане. (М. Я. Алексеевой. Даты нет. Интимное).

ПИСЬМА И ДОКУМЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К МАМИНУ-СИБИРЯКУ

1. От А. С. Маминой (матери Д. Н.— З. А. Анисимовой, 20 августа 1880 г.).
2. От. А. С. Маминой — Е. Н. Поповой, 5 сентября, года нет.
3. О. Ф. Маминой — О. Е. Клеру, 1 декабря 1915 г. (О рукописях, находящихся в Екатеринбурге.)
4. От О. Ф. Маминой — О. Е. Клеру, 17 октября 1916 г. (О присылке рукописей.)
5. От Б. Д. Удинцева — О. Е. Клеру, 30 ноября 1915 г., Петербург. (О модели памятника.)
6. От Б. Д. Удинцева — О. Е. Клеру, 5 февраля 1916 г., Петербург. (О рукописях, о поручении к Карпинскому.)

---

1. Выписка из домашнего духовного завещания Е. Д. Маминой от 17 апреля 1914 г.	19 декабря 1915 г. Нотариально засвидетельствованная.
2. Выписка из копии духовного завещания Д. Н. Мамина от 16 марта 1908 г.	19 декабря 1915 г. Нотариально засвидетельствована.
3. Служебная записка О. Е. Клера об этих копиях.	9 февраля 1916 г.
4. Записка (на французском яз. русским шрифтом на машинке) М. О. Клер — О. Е. Клеру — о передаче вещей Мамина в музей женой его О. Ф. Маминой.	Без даты.
5. От него же к тому же — о рукописях Мамина, о копиях с них.	13 марта 1916 г.

АДРЕСА И ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ПИСЬМА, ПОЛУЧЕННЫЕ КО ДНЮ ЮБИЛЕЯ МАМИНА-СИБИРЯКА 26 ОКТЯБРЯ 1912 ГОДА

Общее количество — 23.

Из них наиболее интересными являются:
1. Адрес от писателей-товарищей.
2. Приветствие от Горького и эмигрантов из Капри.
3. Адрес от екатеринбургского землячества при петербургском университете.
4. Адрес от московской литературной среды и т. д.

Сюда же можно отнести 178 телеграмм, полученных в этот день от различных редакций газет и журналов, библиотек, организаций писателей, художников и др. и частных лиц.

ФОТОГРАФИИ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Всего в музее имеется 19 фотографий. Из них, как наименее известные, следует отметить фотографии, относящиеся:
1. К 1868 году — Мамин-Сибиряк с отцом и братом.
2. К 1870 году — Мамин-Сибиряк-семинарист с ружьем и собакой (получена в феврале 1936 года от Августы Романовны Гельшевой. От нее получена фотография друга детства Мамина-Сибиряка — Кости Рябова).
3. К 1870 году — Мамин-семинарист, снимок того же времени, что и предыдущий, но несколько в другом виде.
4. К 1882 году — Мамин-Сибиряк-студент с матерью.
5. К 1887—1890 гг.— Мамин-Сибиряк у одного из своих знакомых в Екатеринбурге (получена в мае 1936 г. от А. И. Шубина).

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА МАМИНА-СИБИРЯКА

(Список представлен М. М. Ивановой, библиотекарем Свердловского областного музея)

Три полки книг, принадлежащих Д. Н., нужно считать, разумеется, только частью его книг; но тем не менее очень характерных для определения его интересов, вытекающих из его творческой работы.

Разнохарактерность этой небольшой библиотеки говорит о широком круге тем, над которыми ему приходилось работать.

Первое место нужно отвести книгам по экономике и статистике Пермской губернии, главным образом Екатеринбургского уезда; второе — книгам по истории раскола, историям святых, истории пермской семинарии и т. п.; третье — истории края (летописи Шишонко, труды Дмитриева и т. д.).

Некоторые из книг получены Д. Н. от их авторов — Ядринцева, Шишонко Дмитриева,— с соответствующими надписями.

На некоторых книгах имеются отметки М.-С.

Шкаф 3-й, полка 1-я

1—12. Книги житий святых на месяцы январь, февраль и др.— на весь год. Изд. Св. прав. синода. Москва.

13. Никольский К. Пособие к изучению устава богослужения православной церкви. СПБ. 1894.

14. Попов А. Типы духовенства в русской художественной литературе за последнее 12-летие. Изд. Казань — 1884.

15. Сборник статистических сведений по Екатеринбургскому уезду, Пермской губ. Народное образование. Изд. Стат. отд. Екатеринб. уездного земства. Екатеринбург. 1886.

16. Новосельский Н. Средства к подъему производительных сил России. СПБ. 188[illegible].

17. Гельмгольц Г. О взаимодействии сил природы. Изд. И. Юровского. СПБ. 1896.

18. Волков М. Отрывки из заграничных писем (1844—1848). Изд. Баландина. СПБ. 1857.

19. Щапов А. Русский раскол старообрядчества, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII века. Изд. Дубровина. Казань. 1859.

20. Шестаков И. Юбилейная памятная книга для духовенства. Пермь. 1899.

21. Кучин И. Рыболовство на Белоозере Марандском и других озерах Белоозерского и Кирилловского уездов. СПБ. 1902.

22. Словцов П. Историческое обозрение Сибири. Изд. И. Сибирякова. СПБ 1886.

23. Москва или исторический путеводитель по знаменитой столице, ч. 1. Москва. 1827.

24. Мартынов И. Соревнователь просвещения и благотворения. Изд. журн. „Соревнователь просвещения". СПБ. 1823.

25. Добронравов. Общая теория паровых машин и теория паровозов. СПБ. 1858.

26. Левитов И. Желтый Босфор. СПБ. 1903.

27. Гавриил, архимандрит. Сказание о жизни и чудесах св. праведного Симеона Верхотурского чудотворца и о чествовании св. мощей его. Изд. Верхотурск. монастыря Пермь. 1866.

28. Попов Я. Великопермская и Пермская епархия (1378—1879). Пятистолетие проповеди Св Стефана Пермского, почти столетие Перми. Пермь. 1879.

29. Беседы к глаголемому старообрядцу. СПБ.

30. и 30 а, б, в. Свиязев, архитектор. Руководство к архитектуре, ч. 1—4 в одной книге), ч. 2, 3, 4 (дублеты). Москва. 1839.

31. Паппенгейм А. Руководство к гигиене и медицинской помощи. СПБ. 1861.

32. Фохт К. Человек. Место его в мироздании. Изд. М. Вольфа. СПБ. 1865.

33. Аберкромби Д. Патологические и практические исследования болезней мозга. СПБ. 1836.

34. Жизнь, знаменитые деяния и достопамятнейшие изречения Имп. Александра I, ч. 1. Москва. 1826.

35. Жерард. О вкусе. Москва. 1803.

36. Порт (де-ла) Аббат. Всемирный путешественник или познание Старого и Нового света, т. V. СПБ. 1780.

37. Серебренников А. Основные теории паровых машин и котлов. СПБ. 1860.

38 а, б. Булгарин Ф. Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях, ч. 1 и 2. СПБ. 1837.

39. Первые основания минералогии.

40. Русский путеводитель за границей. СПБ. 1846.

Полка 2-я

1 а, б. Витевский В. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г., вып. I и II.

2. Путеводитель по великой Сибирской железной дороге. СПБ. 1900.

3. Белов В. Кустарная промышленность в связи с уральским горнозаводским делом. Изд. комиссии по исследованию кустарной промышленности в России. СПБ. 1887.

4. Кулибин С. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России в 1888 г. СПБ. 1891.

5. Сборник статей, касающихся Пермской губ. и помещенных в неоффициальной части Губ. Ведомостей в период 1842—1881 гг., вып. I, Пермь. 1882.

6. Календарь Пермской губ. на 1885 г. Изд. Пермск. губ. стат. комитета Пермь. 1884.

7. Шестаков И. Краткий исторический очерк столетия Пермской епархии (1799—Окт. 10—1899 г.).

8. Удинцев Д. Нефть на Ухте. Доклад, читанный в музее 6 октября 1907 г. Пермь. 1908.

9. Карышев Н. I. Материалы по русскому народному хозяйству, II. Двигатели на русских фабриках и заводах. III. Несколько предварительных данных переписи 28 января 1897 г. Товарищеское землевладение. Новь России. Москва. 1898.

10. Лаговский И. Открытие Пермской семинарии и история ее до преобразования, бывшего в 1818 г. Пермь. 1867.

11. Лаговский И. История пермской семинарии после преобразования ее, бывшего в 1818 г. Пермь. 1873.

12. Иероним, архимандрит. История Пермской духовной семинарии после преобразования 1840 г. позднейшего времени, ч. 3. Пермь. 1877.

13. а, б, в. Материалы для сельскохозяйственной статистики Пермской губ., вып. I, II, III. Пермь. 1879, вып. III. 2 экз.

14. Красноперов Е. Работы статистич. бюро. Сельскохозяйственные нужды Пермского края. Изд. Статистич. бюро при Пермской губернской земской управе. Пермь. 1881.

15 а, б. Красноперов Е. Кустарная промышленность Пермской губ. на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке в г. Екатеринбурге в 1887 г., вып. II и III. Пермь, 1889.

16. Красноперов Е. Двадцатипятилетие Пермского края со времени отмены крепостного права царем-освободителем Александром II. Пермь. 1886.

17. Дмитриев А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 г. Пермь. 1890.

18. Клер О. Уральское общество любителей естествознания. Исторический очерк (1870—1888 г.).

19. Поярков Ф. Дунгане-свадьба. Москва. 1908.

20. Поярков Ф. Дунгане селения Каракунуя, Пишпекского уезда, Семиреченской обл. Этнографич. очерки, I. Верный. 1907.

21. Чекановский А. Дневник экспедиции Александра Лаврентьевича Чекановского по рекам Нижней Тунгуске, Олекму и Лене в 1873—1885 гг. Из Зап. Импер. русск. географич. общества. 1896 г.

22. Лопатин И. Дневник Туруханской экспедиции. 1866 г., т. XXVIII, № 2, из записок русск. географич. общества по общей географии. СПБ. 1897.
23. Гикиш К. Орографический очерк Северной Сибири. Записки общества географ., т. XXXI, № 1. СПБ. 1897.
24. Коншин А. Разъяснение вопроса о древнем течении Аму-Дарьи по современным геологическим и физикогеографическим данным. Записки Русск. географич. общества по общей географии, т. XXXIII, № 1. СПБ. 1897.
25. Колюпанов Н. Колонизация Пермской губ. и распространение горного промысла. 1870 г.
26. Никольский Д. Из поездки к лесным башкирам. Москва.
27. Отчет Никопольской общественной библиотеки за 1908 г. (2-й год существования). Никополь. 1909.
28. Глинский Б. Николай Михайлович Ядринцев. Изд. Д. Тихомирова. Москва, 1895.
29. Ольхин А. Памяти Н. М. Ядринцева. 1894.
30. Красноперов Е. Очерк экономического быта Делюхинского заводского населения по данным посемейной переписи. Изд. статистич. бюро Пермской губернской земской управы. Пермь. 1886 г.
31. Землеведение. Книжка I. Изд. Географич. отд. общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Москва. 1895.
32. Сигов И. Санитарные условия горнозаводских работ на Урале. Изд. Пермского научно-промышленного музея. Пермь.
33. Варпаховский Н. Рыболовство в бассейне р. Оби. Изд. Мин. Землед. и Гос. Имущ. Д—та Землед. СПБ. 1898.
34. Ядринцев Н. Сибирь как колония. 1882.
35. Лахтин В. Сплав по реке Чусовой горнозаводских караванов.
36 а, б. Пермский сборник. Кн. I и II.
37. Ремезов Н. Очерки из жизни дикой Башкирии. Судебная ошибка или созданное преступление? (хроника). Владивосток. 1900.
38. Об учреждении Пермской ученой архивной комиссии, с состоящим при ней историческим архивом и музеем. Пермь. 1888.
39. Палладий, архимандрит. Обозрение пермского раскола, так называемого „старообрядства". СПБ. 1863.
40. Вологдин П. Пермский фосфорный завод бр. Тупицыных. Пермь. 1889.
41. Головачев Д. Библиографический указатель статей, корреспонденций и заметок в сибирской периодической печати и по вопросу о золотопромышленности Сибири. СПБ. 1890.
42. Котляревский И. Заметки об уральском горном хозяйстве. СПБ. 1870
43. а, б, в. г. Древняя российская Вивлиофика, ч. 13, 15, 18, 19. Изд. Новикова. Москва. 1790.
44. Малахов М. К антропологии Вятского края. Отд. От. Известий Русск. Географич. общества. СПБ. 1882.
45. Головачев П. Сибирь, природа, люди и жизнь. Изд. Ю. Базановой, Москва. 1902.
46. Спасский Г. Жизнеописание Акинфия Никитича Демидова. СПБ. 1833.
47. Об иерархах Пермской епархии с 1800 до 1860 г. СПБ. 1861.
48. Журналы заседаний Екатеринбургского съезда горнозаводчиков. 1880 г.
49. Журналы заседаний II съезда уральских горнопромышленников в Екатеринбурге с 8 по 15 декабря 1882 г. Екатеринбург. 1883.
50. Васильев С. и Бехтерев Н. История Вятского края с древних времен до начала XIX столетия. Т I. От прибытия новгородцев на Вятку до начала XVIII столетия. Вятка. 1870.
51. Науманн К. Основания минералогии. СПБ. 1860.
52. Камасинский Я. Околы Камы. Этнография, очерки и рассказы. Москва. 1905.
53. Кельцев С. Из поездки на Урал. I. Путешествие их и. в. в. к. Михаила Николаевича и Сергея Михайловича. II. От Москвы до Екатеринбурга. III. Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка. Москва. 1888.
54. Тарасенко-Отрешков. О золоте и серебре, ч. I. СПБ. 1856.
55. Калугин П. Мурзинские и Алабашинские копи цветных камней на Урале. Екатеринбург. 1887.
56. Заводы (Кыштымские горные) наследниц Расторгуева. Екатеринбург. 1881.
57. Хитров А. К истории г. Ирбита и Ирбитской ярмарки. Ирбит, 1872.

58. Описание мужского Долматовского Успенского монастыря и бывшего приписным к нему женского Введенского монастыря. Екатеринбург. 1836.

59. Шестаков И. Проект устава пермского епархиального церковно-археологического комитета. Москва. 1909.

60. Отчет попечительного совета Верх-Исетского сиротско-воспитательного дома С. А. Петрова за 1906 г. Екатеринбург. 1907.

61. Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия, ч. I и II.

62. Соколов-Костромской. Записки колонизатора Сибири. СПБ. 1903.

63. Дмитриев А. Верхотурские кремль и подчиненные ему крепости в XVII—XVIII вв. Пермь. 1885.

64. Д. Р. Памятник редкостей или описание самых редких и удивительных естественных и художественных произведений, находящихся во всех частях света. Гор. Св. Петра. 1793.

65. Дмитриев А. Очерки из истории г. Перми, ч. I, с основания поселения до 1812 г. Пермь, 1886.

66. Исаев А. Памяти Н. М. Ядринцева — друга переселенцев. СПБ. 1895.

67. Удинцев Д. Организация нефтяного дела в Печорском крае. Екатеринбург. 1908.

68. Смышляев Д. Источники и пособия для изучения Пермского края. Пермь. 1876.

69. Книжка (памятная) Пермской губ. Изд. Пермского статистич. комитета. Пермь. 1880.

70. Шишонко В. Историко-статистическое описание низших учебных заведений г. Соликамска с уездом его. Пермь.

71. Дмитриев А. Ф. А. Волегов как историк Строгановых. Спорные вопросы в древней истории рода Строгановых. Пермь. 1884.

Левая половина, полка 3-я, стопа 1-я

1. Апостол.
2 а, б. Пролог на церковно-славянском языке, ч. 1 и 2
3. Псалтырь.
4. Псалтырь на древне-славянском языке.

Стопа 2-я

1. Патерик Киево-Печерский.
2. Летопись, краткая, сибирская.
3. Краснов А. Травяные степи Северного полушария (труды Географ. отдел., вып. I). Москва. 1894.
4. Израилев А. Ростовские колокола и звоны. СПБ. 1884.
5. Зеленский С. Объяснительный словарь татарских, грузинских и армянских слов, вошедших в материалы для изучения экономического быта государственных крестьян Закавказского края.
6. а, б, в, г, д. Свод материалов по изучению экономического быта государственных крестьян Закавказского края, т. I, II, III, IV, V. Тифлис. 1887.
7. Записки Уральского общества любителей естествознания. Екатеринбург, т. XIII, вып. I, 1907 г., т. XXVII, 1908 г. т. XXX, 1910 г., т. XXXI, вып. II, 1912 г.

Правая половина, полка 3-я

1. Т. III, 1825 г.
2. Феоктист, инок Студийской обители. Служба пресвятой богородице.
3. Аристов Н. Устройство раскольничьих общин. Изд. „Всемирного труда“.
Андреев В. Исторические судьбы раскола.
Стебницкий М. С людьми древлего благочестия. (Первое письмо к редактору Б. для Ч.). Изд. „Библ для чтения“.
4. Феатран, Книга на славянском языке, конца XVII или нач. XVIII в. (наставления).
5. Шишонко В. Пермская летопись, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1—2 первый период, второй период, 3 — третий период, 4 — четвертый период, 5 — пятый период (часть первая), 6 — пятый период (часть вторая).

6. История о походе великого князя Дмитрия Иоанновича Донского против Мамая, царя тат ского, его же божией помощью на Куликовом поле до конца победиша (24 стр. и 24 рис. на кажд. странице).

ВЕЩИ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Свердловский литературный музей обладает большим количеством экспонатов принадлежащих уральскому писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку, поступивших в разное время от жены Мамина-Сибиряка — Ольги Францевны, а также и от ее родственников. Необходимо отметить следующие вещи писателя, поступившие еще в 1916 и 1917 гг. от Ольги Францевны.

Вещи с письменного стола писателя: ручки из мамонтовой кости и яшмы, блокнот с инициалами Д. Н. М.-С., любимый карандаш писателя в металлическом футляре, печати из изумрудов, горного хрусталя и именная, автограф писателя цинкографический, книги в переплете работы писателя с надписью „По Уралу" табакерка и т. д.

Кроме того, в том же 1917 г. поступила большая коллекция курительных трубок в количестве 11 штук, коллекция минералов из 66 образцов, при чем есть очень хорошие экземпляры минералов, большая коллекция различных исторических вещей, повидимому собиравшихся писателем, как кокошники, ковши и братина петровских времен, старинные старообрядческие медные кресты, иконы, кацея, старинные серьги, кинжал. Здесь нужно отметить и различные монеты (133 штуки) и археологические предметы — наконечники стрел, подвески медные и т. д.

Имеется также коллекция старинного фарфора и хрусталя в количестве 15 вещей и китайские вещи, статуэтки, трубка для опия, китайский несессер и т. д.

Уже в 1936 г. поступили от сестры Ольги Францевны из Ленинграда 9 картин, принадлежащих Д. Н., в числе их 2 картины художника Денисова-Уральского — друга Мамина-Сибиряка. Кроме того, поступили настольная лампа и чугунная фигура медведя.

Всего насчитывается до 165 инвентарных номеров, содержащих 359 предметов, принадлежащих писателю.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя 3
Д. Н. Мамин-Сибиряк о самом себе 5
Удинцев Б. Д.— Краткая летопись жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка 9

Д. Н. Мамин-Сибиряк на Урале

Удинцев Б. Д.— Уральский период жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка 13
Бирюков Е.— Д. Н. Мамин-семинарист 36
Остроумов И. Г.— Что читал Д. Н. Мамин, будучи учеником второго класса пермской духовной семинарии 40
Елпидин П. А.—Из бесед с теми, кто помнит Мамина 42
Ч—ин В.— Черты из жизни Д. Н. Мамина на Урале 46
Ляпустин В. А.— Встречи, которые забыть нельзя 63
П. Б.— Поездки Д. Н. Мамина-Сибиряка по приискам 70
Шубин А. И.— Д. Н. Мамин в Екатеринбурге 73
Луканин В. П.— Дядя Митя 82
Удинцев Д.— Из воспоминаний о Мамине-Сибиряке 85
Остроумов И. Г.— Мои встречи и отношения с Д. Н. Маминым 90
Гейнрих В. М.— Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке 98
Колосов Ю. М.— Из жизненных встреч 100

Д. Н. Мамин-Сибиряк в Петербурге

Б. Д.— Справки и воспоминания к петербургскому периоду жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка 109
Гейнрих В. М.— Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке 116
Елпатьевский С. Я.— Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк 120
Телешов Н. Д.— Из встреч 131
Горький М.— Из очерка „Чужие люди“ 133
Петров Г.— Заслуженный праздник 137
Батюшков Ф. Д.— Д. Н. Мамин-Сибиряк 139
Остроумов И. Г.—Мои встречи и отношения с Д. Н. Маминым-Сибиряком 142
Яковлев С.— Д. Н. Мамин-Сибиряк 145
Ворилье В.— Встречи с Д. Н. Маминым-Сибиряком 148
Булычев Г. А.— Поездка к Д. Н. Мамину-Сибиряку в 1909 году 153
Уральский П. (Заякин).— Из бесед и личных впечатлений 156
Тихомиров Д. И.— Из жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка 159
Удинцев Д.— Из воспоминаний о Мамине-Сибиряке 165
Куприянов Л.—Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке 166
Глинский Л.— Памяти Д. Н. Мамина-Сибиряка 167
Михайлов А. Т.— Д. Н. Мамин-Сибиряк 181
Колосов Ю. М.— Из жизненных встреч 187
Измайлов А.— Д. Н. Сибиряк 195
Неведомский Мих.— На могиле Мамина-Сибиряка 197

От Литературного музея

Рукописи Д. Н. Мамина-Сибиряка 201
Письма Д. Н. Мамина-Сибиряка 207
Письма и документы, имеющие отношение к Мамину-Сибиряку 208
Адреса и приветственные письма, полученные ко дню юбилея Мамина-Сибиряка 26 октября 1912 года . . . . . —
Фотографии Д. Н. Мамина-Сибиряка . . . . . —
Личная библиотека Мамина-Сибиряка 209
Вещи Мамина-Сибиряка 213

26065

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
СВЕРДЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО

Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке

*

Цена 4 р., переплет 1 р. 50 коп.

*

Редактор А. С. Ладейщиков
Технический редактор Н. Н. Вернер
Корректор О. Д. Березина

*

Сдано в набор 29/VII 1936 г. Подписано к печати 25/XII 1936 г. Объем $13^5/_8$ печ. л. Бум. л. $6^{13}/_{16}$. Авт. л. 13,2. Бумага Камской ф-ки Формат $62 \times 94^1/_{16}$. Серия худож. Индекс V—X—16 Огиз № 1326. Уполномоченный Свердлоблита Б—4431. Тир. 5000.

*

Отпечатано в Свердловской типографии Огиза РСФСР треста „Полиграфкнига“ г. Свердловск, Банковский пер., д. № 3. Заказ № 1134.

3 руб. 50 коп.